От лауреата Пулитцеровской премии

# ЭЛИЗАБЕТ СТРАУТ

## Когда все возможно



# Когда все возможно
# Элизабет Страут

Аннотация
Элизабет Страут. Когда все возможно
Вывеска
Ветряные мельницы
Вдребезги
Клин клином вышибают
Мэри из штата Миссисипи
Сестра
Гостиница «B&B»
Снежная слепота
Подарок

## Аннотация

Новая книга Элизабет Страут, как и ее знаменитая «Оливия Киттеридж», — роман о потерянном детстве. Каждая история в нем — напряженная драма, где в центре — мрачное прошлое и почти беспросветное настоящее.

Если детство прошло в домашнем аду, с отцом-насильником, как тяжело будет жить с этим секретом? Можно ли простить родную мать, не сумевшую защитить от жестокости? Одно неверно сказанное слово в детстве может вернуться бумерангом в настоящем, вызвав боль, стыд и отчаяние. Тайны, которые ты тщательно хранишь, в любой момент могут выплыть наружу.

В «Когда все возможно» все герои находятся в зависимости от собственного прошлого, а настоящее расставляет ловушки.

# Элизабет Страут
# Когда все возможно

**Elizabeth Strout**
**Anything is Possible**

Copyright © 2017 by Elizabeth Strout
© Тогоева И., перевод на русский язык, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2018
Художественное оформление М. Коняевой

* * *

*Посвящается моему брату*
*Джону Страуту*

# Вывеска

Когда-то у Томми Гаптилла была молочная ферма, которую он унаследовал от отца. Она находилась примерно в двух милях от городка Эмгаш, Иллинойс. С тех пор прошло много лет, но и сейчас еще Томми просыпался порой среди ночи, охваченный тем же ужасом, какой испытал, когда дотла сгорели и его ферма, и дом. Тогда дул сильный ветер, и пламя мгновенно перекинулось с амбаров и коровников на жилые постройки. Виноват в случившемся был он сам — он всегда считал, что это именно так, — ведь в тот вечер он не удосужился проверить, отключены ли доильные аппараты, а именно из-за них и возник пожар. И, едва успев начаться, сразу разгорелся и стал с яростью пожирать все вокруг. Они лишились всего, уцелела только бронзовая рама от зеркала, висевшего в гостиной; эту раму Томми нашел на следующий день, роясь на пепелище, да так ее там и оставил. Соседи организовали сбор средств — пару месяцев дети Томми ходили в школу в одежде, позаимствованной у одноклассников; но потом Томми взял себя в руки и,

собравшись с силами, как-то привел в порядок свои финансовые дела и продал землю соседу-фермеру, хотя особых денег это не принесло. Затем Томми с женой, маленькой хорошенькой женщиной по имени Ширли, смогли купить для себя и детей и новый дом, и новую одежду, и Ширли, надо сказать, все это время держала хвост пистолетом и вообще проявляла восхитительную стойкость духа. Но дом, к сожалению, они сумели купить только в Эмгаше, захудалом городишке, так что их детям теперь пришлось ходить в местную школу — раньше они учились в Карлайле, поскольку ферма Томми находилась как раз между Эмгашем и Карлайлом, где школа была гораздо лучше. Томми, недолго думая, устроился в эмгашской школе уборщиком, и эта спокойная и однообразная работа его совершенно устраивала; все равно наняться работником на чью-то чужую ферму он никогда бы не смог, да ему такое и в голову не приходило. В тот год ему исполнилось тридцать пять лет.

Теперь дети Томми давно стали взрослыми, и даже их собственные дети успели за это время повзрослеть, а Томми и Ширли по-прежнему жили в своем маленьком домике, буквально утопавшем в цветах, которые с самого начала

стала сажать Ширли, что для их города было явлением весьма необычным. После пожара Томми больше всего беспокоился о своих детях, жизнь которых столь резко изменилась и стала куда менее благополучной. Если раньше дом и ферма были предметом их гордости и служили местом ежегодных школьных экскурсий — например, пятиклассники карлайлской школы каждую весну целый день проводили у них на ферме, завтракали на свежем воздухе за деревянными столами, затем посещали коровники и наблюдали за тем, как доят коров и белое пенистое молоко течет по прозрачным пластмассовым трубкам, — то теперь их семья жила в Эмгаше, и детям было не слишком приятно видеть, как их отец без конца возит по полу шваброй, собирая грязь и пыль, которая «волшебным образом» тут же собирается снова, налипая на лужицы блевотины, если кого-нибудь стошнит прямо в коридоре. Томми теперь ходил всегда в одной и той же одежде — в серых штанах и белой рубашке, на которой красными нитками было вышито его имя: *Томми.*

Но ничего. Все они через это прошли, и все они это пережили.

* * *

А сегодня утром Томми неторопливо ехал в Карлайл за покупками, поскольку до восемьдесят второго дня рождения жены оставалось всего несколько дней. Этот субботний денек выдался на редкость солнечным, по-настоящему майским. По обе стороны от дороги расстилались поля, и на них уже зеленели всходы кукурузы и сои. Те поля, что были оставлены под паром, казались коричневыми пятнами на лоскутном одеяле, словно собранном из различных оттенков молодой зелени. Над головой ярко сияло высокое, почти безоблачное небо, и лишь у самого горизонта виднелись редкие белые клочки облаков. Томми миновал поворот на грунтовую дорогу, ведущую к дому Бартонов; на перекрестке все еще красовалась старая вывеска «Шьем и перешиваем», хотя Лидия Бартон, которая всем этим и занималась, умерла много лет назад. Бартоны считались изгоями даже в таком жалком городишке, как Эмгаш, и причиной тому была не только их невероятная бедность, но и непонятная замкнутость, обособленность. Теперь в старом домишке уединенно проживал в полном одиночестве старший сын Бартонов, Пит; их средняя

дочь жила неподалеку, через два таких же, как Эмгаш, городка отсюда; а вот младшая из детей, Люси Бартон, давным-давно из Эмгаша сбежала и поселилась не где-нибудь, а в Нью-Йорке. Томми частенько вспоминал Люси. После уроков эта девочка никогда домой не спешила, предпочитая в полном одиночестве сидеть в классе чуть ли не до вечера, и поступала так с четвертого класса и до выпускного. И лишь через несколько лет она впервые осмелилась поднять на Томми глаза и посмотреть ему в лицо.

Впрочем, поворот к дому Бартонов Томми уже проехал, и сейчас перед ним расстилались бескрайние поля, совершенно поглотившие то место, где когда-то стоял его собственный дом. Теперь от него и следа не осталось, а потому в голову Томми, как всегда, полезли грустные мысли о той прежней благополучной жизни, которая была у них на ферме. Да, жизнь у них здесь была хорошая, но Томми не жалел о случившемся. Не в его характере было о чем-то сожалеть. Даже в ту страшную ночь, когда на ферме полыхал пожар, а душу Томми охватил все нараставший страх, он прекрасно понимал, что самое главное для него в этом мире — это его жена и дети. Он еще подумал тогда, что некоторые люди ухитряются прожить

целую жизнь, так и не поняв, в чем ее истинная ценность. Сам он всегда очень остро это сознавал и считал, что тот пожар был ему неким знаком свыше, лишний раз подсказавшим, как бережно он должен хранить доставшийся ему дар. Впрочем, подобные мысли Томми держал при себе и ни с кем ими не делился, не желая прослыть выдумщиком, стремящимся найти оправдание для случившейся с ним трагедии — и, возможно, случившейся по его вине; ему не хотелось, чтобы хоть кто-то, даже горячо любимая жена, заподозрил, что он способен на подобные фантазии. Однако в ту ночь ему действительно довелось почувствовать и понять многое. Когда они выскочили из дома, Ширли сразу постаралась увести детей подальше от пожара, на ту сторону дороги, а Томми бросился к коровнику и увидел, что тот весь охвачен огнем. Огромные языки пламени вздымались в ночное небо, страшно кричали гибнущие в огне коровы, и Томми в те минуты действительно испытал множество самых различных чувств, но лишь когда внутрь провалилась крыша его дома — прямо туда, где раньше у них была спальня и гостиная, где стояли фотографии его детей и родителей, — он понял, понял по-настоящему, что все это происходит на самом

деле, и единственное, что он в этот момент абсолютно отчетливо почувствовал, это присутствие Господа. А еще понял, почему ангелов всегда изображают крылатыми. Он прямо-таки ощущал эту их крылатость, слышал стремительное шуршание их крыл, хотя, возможно, это ему просто казалось; но потом он почувствовал, именно *почувствовал*, как Бог — лица Его он не различил, а может, у него и не было лица, но это совершенно точно был Он, — слегка его коснулся и этим мимолетным прикосновением, без слов, мгновенно дал ему понять: *Все будет хорошо, Томми.* И тогда Томми понял, что все действительно будет хорошо. Случившееся было выше его понимания, но это и не важно. Важно было то, что он успокоился. И потом все действительно было хорошо. Он часто думал о том, например, что после пожара его дети стали проявлять куда больше сочувствия и сострадания к другим, ведь теперь они были вынуждены учиться вместе с детьми из куда более бедных семей, никогда не живших в таком доме, каким семейство Гаптилл владело раньше. С тех пор Томми порой чувствовал рядом присутствие Бога как возникновение легкого золотого отсвета, а вот ощущения, что Господь не только сам к нему явился, но и мимолетно его коснулся,

как это было в ту страшную ночь, у него больше никогда не возникало; и, прекрасно понимая, как отреагируют люди, если он вздумает кому-то об этом поведать, он молчал, но точно знал, что до самого смертного часа будет бережно хранить и в памяти, и в сердце тот тайный знак, который тогда подал ему Господь. Но сегодня утро выдалось такое теплое, весеннее, и запах земли пробудил в памяти Томми запах коров, их влажные ноздри, их теплые животы, и он вспомнил свои замечательные коровники — у него тогда их уже было два, — и перед его мысленным взором стали возникать быстро сменявшие друг друга картинки из прошлого. Возможно, это произошло из-за того, что он проехал мимо дороги, ведущей к дому Бартонов. Томми вспомнил Кена Бартона, отца тех бедных и вечно печальных детей, который в те времена иногда работал у него на ферме; а потом, естественно, вспомнил и Люси Бартон — о ней он вообще вспоминал чаще всего, — которая сперва уехала поступать в колледж, а в итоге оказалась в Нью-Йорке и стала писательницей.

Люси Бартон.

Продолжая вести машину, Томми задумчиво покачал головой. Больше тридцати лет проработав в школе уборщиком, он, разумеется, знал

множество разных тайн: знал о беременностях учениц, и о пьющих матерях, и о взаимных изменах родителей — ему не раз доводилось невольно подслушивать разговоры ребят, когда те изливали душу друзьям в душевой или возле школьного кафетерия, хотя сам он при этом оставался для них как бы невидимкой и прекрасно понимал это. Но отчего-то больше других его тревожила именно Люси Бартон. Люси, ее сестра Вики и брат Пит постоянно служили объектом безжалостных, даже злобных насмешек и презрения не только со стороны ребят, но и кое-кого из учителей. И все же именно потому, что Люси в течение многих лет почти каждый день оставалась в школе после занятий, Томми казалось — хотя разговаривала она с ним крайне редко, — что он знает ее лучше всех остальных учеников. А однажды — Люси тогда училась в четвертом классе, а он только первый год работал в школе, — он, войдя в класс после уроков, увидел, что девочка сдвинула вместе три стула, поставив их вплотную к батарее, улеглась на них и крепко спит, укрывшись своим пальто. Томми тогда долго смотрел на нее. Он видел, как слегка приподнимается и опускается в такт дыханию ее грудь, под глазами от усталости черные круги. Длинные ресницы Люси, похожие на лучи-

ки мерцающей звезды, прилипли к щекам, еще влажным от невысохших слез — она явно горько плакала, прежде чем уснула. И Томми, стараясь не шуметь, осторожно попятился и выбрался из класса, испытывая странную внутреннюю неловкость, словно совершил нечто недопустимое, случайно наткнувшись на спящую девочку и позволив себе несколько минут на нее смотреть.

Но однажды — Томми припомнил, что тогда Люси, должно быть, училась уже в средней школе, — он вошел в класс и увидел, как она что-то рисует мелом на доске. Впрочем, заметив, что он вошел, рисовать она сразу перестала.

— Да не дергайся ты, рисуй себе спокойно, — успокоил он.

На доске был изображен побег плюща с множеством мелких листиков. Но Люси уже отошла от доски. А потом вдруг сама с ним заговорила.

— Я мел сломала, — призналась она.

Томми заверил ее, что в этом нет ничего страшного.

— Но я это сделала *нарочно*, — возразила она, и в глазах ее промелькнула мимолетная улыбка; впрочем, глаза она сразу же отвела.

— Нарочно? — переспросил он, и она кивнула, и он снова заметил промельк той же улыбки.

Тогда Томми подошел к доске, взял кусок мела — это был целый, нетронутый кусок — сломал его пополам и подмигнул ей. Он и теперь еще хорошо помнил, что Люси тогда *почти* захихикала.

— Это ты нарисовала? — спросил он, указывая на плющ с мелкими листочками.

Она лишь неопределенно пожала плечами и отвернулась. Но вообще-то она обычно просто сидела за партой и читала книжку или делала уроки. Томми много раз это видел.

Томми остановился у знака «Стоп» и пробормотал себе под нос: «Люси Бартон, Люси Би, как дела твои, расскажи. Как сумела ты сбежать, позабыв отца и мать?»

Вообще-то он знал, как это произошло. Весной, когда Люси училась уже в выпускном классе, он как-то после занятий увидел ее в коридоре, и она сама повернулась к нему и, с неожиданной радостью глядя на него широко распахнутыми глазами, воскликнула: «Мистер Гаптилл, а я в колледж уезжаю, учиться!» А он сказал: «Так это же просто замечательно, Люси!» И тогда она его обняла; обняла и не отпускала, и он тоже ее обнял. И навсегда запомнил, как они тогда обнимали друг друга. Люси оказалась такой тоненькой и худенькой, что он чувствовал и каждую ее

косточку, и прикосновение маленьких грудей. Впоследствии Томми часто думал о том, как мало, должно быть, этой девочке досталось в жизни теплых объятий и ласки.

Почти сразу за знаком «Стоп» был въезд в город, а чуть дальше виднелась парковочная площадка. Томми заехал на парковку и, щурясь от яркого солнечного света, вылез из машины. «Томми Гаптилл!» — окликнул его кто-то, и Томми, обернувшись, увидел Гриффа Джонсона, который, как всегда сильно прихрамывая, направлялся прямо к нему. У Гриффа одна нога была короче другой, и даже ботинок со специальной, сильно утолщенной подметкой не спасал его от хромоты. Грифф еще на ходу протянул Томми руку, они обменялись рукопожатием и еще долго трясли друг другу руки, а мимо них по Мейн-стрит медленно одна за другой проезжали машины. В Карлайле Грифф занимался страховкой и после пожара здорово помог Томми. Он вообще тогда поступил невероятно благородно: узнав, что Томми застраховал свою ферму на сумму, значительно меньшую ее реальной стоимости, Грифф просто сказал ему: «Ну и ладно. Значит, я просто слишком поздно об этом узнал. Я ведь с тобой совсем недавно познакомился», и последнее,

кстати, было чистой правдой. У Гриффа была на редкость добродушная физиономия, а в последнее время он отрастил внушительное брюшко. Он и после всех тех неприятностей очень хорошо относился к Томми. Впрочем, Томми вряд ли сумел бы назвать хоть одного человека — ему самому, во всяком случае, казалось, что это именно так, — который относился бы к нему плохо или был бы недостаточно добр. А теперь они с Гриффом стояли на парковке, овеваемые ветерком от проносившихся мимо машин, и говорили о своих детях и внуках. Один из внуков Гриффа был наркоманом, и Томми очень сочувствовал другу. Он молча слушал его рассказ, горестно кивая, но поглядывал все же на деревья, что росли по обеим сторонам Мейн-стрит и были сейчас покрыты совсем юной, ярко-зеленой листвой. Затем Томми выслушал рассказ Грифа о его втором внуке, студенте медицинского университета, и радостно воскликнул: «Вот ведь как здорово! Ну, какой он у тебя молодец!», и после этого старики, хлопнув друг друга по плечу, двинулись дальше по своим делам.

Когда Томми вошел в магазин готовой одежды и дверной колокольчик возвестил о его приходе, он сразу увидел Мэрилин Маколей. Она приме-

ряла платье.

— Томми! А тебя каким ветром сюда занесло? — воскликнула она и тут же принялась объяснять, что подумывает, не купить ли ей это платье для своей внучки, у которой через пару недель, в воскресенье, конфирмация. Она то и дело одергивала на себе платье, надеясь, видимо, что так оно лучше сядет. Платье было симпатичное — по бежевому фону вились красные розочки. Мэрилин стояла на полу в одних чулках и толковала о том, что это, конечно, расточительство — покупать новое платье для одного лишь торжественного случая, но ей почему-то очень хочется. Томми — а он знал Мэрилин уже много лет, еще с тех пор, когда она студенткой проходила практику в старших классах школы в Эмгаше, — заметил ее смущение и сказал, что ему совсем не кажется расточительством покупка для девочки нового платья по случаю ее конфирмации, а потом прибавил:

— Слушай, Мэрилин, у тебя не найдется пары минут? Я хочу тут подыскать что-нибудь для жены, так что мне бы твой совет очень кстати пришелся.

Он сразу заметил, как приободрилась Мэрилин. Разумеется, она согласилась ему помочь и по-

спешила в примерочную переодеваться, а потом предстала перед ним в своей обычной одежде — черной юбке, голубом свитере и черных туфлях на низком каблуке. Она сразу же повела Томми туда, где висели шарфы и платки, и сказала, вытаскивая красный шарф со сложным рисунком, вытканным золотой нитью:

— Вот, взгляни.

Томми полюбовался шарфом и, держа его в одной руке, вытащил нечто совсем иное: легкий шарф с цветочным принтом.

— Может, лучше этот? — спросил он. И Мэрилин тут же согласилась:

— Да, пожалуй. Этот Ширли как раз подойдет.

И Томми понял, что красный шарф очень нравится самой Мэрилин, но она никогда не позволит себе его купить.

В тот год, когда Томми еще только начал работать в школе уборщиком, Мэрилин была прелестной девушкой и всегда, едва завидев его, здоровалась первой: «Здравствуйте, мистер Гаптилл!» Теперь же перед ним стояла пожилая женщина, нервная, худая, со странным, каким-то ужасно напряженным выражением лица. Томми, как и многие другие, полагал, что она стала такой, потому что ее муж воевал во Вьетнаме и

вернулся совсем другим человеком. Томми иной раз встречал в городе Чарли Маколея, и взгляд у того всегда был какой-то отрешенный, отсутствующий. Вот бедолага, думал Томми. Бедная-бедная Мэрилин. Вот потому-то он, с минуту подержав в руках красный, расшитый золотой нитью шарф и словно размышляя, не купить ли его, все же произнес:

— Думаю, ты права. Этот Ширли больше подходит. — И, поблагодарив Мэрилин за помощь, взял цветастый шарф и пошел с ним к кассе.

— По-моему, он ей непременно понравится, — сказала Мэрилин, и Томми подтвердил: ну, конечно, понравится.

Снова оказавшись на тротуаре, Томми решил дойти еще и до книжного магазина, надеясь, что там, возможно, сумеет найти что-нибудь по садоводству — такая книга, безусловно, доставила бы Ширли удовольствие. В книжном он неторопливо двигался вдоль стеллажей и вскоре увидел новую книгу Люси Бартон, выставленную в самом центре. Он взял ее и стал рассматривать: на обложке было изображено какое-то городское здание, а на заднем клапане имелась фотография самой Люси. Пожалуй, подумал Томми, я бы сейчас ее и не узнал, если б случайно где-нибудь

встретил. Лишь зная, что на снимке именно она, он и сумел разглядеть в ней что-то знакомое. Впрочем, улыбка у нее осталась прежней, все такой же застенчивой. И Томми снова вспомнил тот день, когда Люси призналась ему, что сломала мел нарочно, и по лицу ее скользнула та странная, мимолетная улыбка. А теперь на него с фотографии смотрела пожилая женщина с гладко зачесанными назад волосами, но, как ни странно, чем дольше он разглядывал этот снимок, тем ясней представлял себе ту девочку, какой Люси была когда-то. Томми посторонился, пропуская мать с двумя маленькими детьми, которая, проходя мимо него, скороговоркой пробормотала: «Ох, извините-простите», и он сказал: «Ну что вы!», а потом стал размышлять — с ним это частенько бывало — как же ей, Люси, живется в таком далеком и большом городе, как Нью-Йорк.

Томми положил книгу Люси Бартон на прежнее место и пошел искать продавщицу, чтобы спросить, какие книги по садоводству у них есть.

— У нас, возможно, есть как раз то, что вам нужно. Мы эту книгу *только что* получили. — И эта девушка — которая вообще-то давно уже девушкой не была, но теперь все относительно молодые женщины казались Томми девушками

— принесла ему книгу с гиацинтами на обложке. Томми обрадовался:

— О, это просто замечательно!

Продавщица спросила, не хочет ли он, чтобы книгу красиво упаковали, и он ответил, да, это было бы здорово, и стал смотреть, как ловко она заворачивает будущий подарок в серебряную бумагу. Ногти у нее на руках были покрыты синим лаком, и она так старалась, что даже язык чуточку высунула. Наконец девушка заклеила сверток скотчем и широко улыбнулась Томми, явно довольная собой.

— Просто замечательно! — повторил он, а она сказала:

— До свидания. Удачного дня!

И он пожелал ей того же.

Выйдя из магазина, Томми пересек улицу, залитую ярким солнечным светом, и подумал, что непременно расскажет жене о книге, которую написала Люси. Ширли очень любила Люси, потому что и он, Томми, ее очень любил. Он сел в машину, включил двигатель и, аккуратно выехав с парковки, двинулся по улице в сторону дома.

По дороге ему вспомнился тот парнишка, внук Гриффа Джонсона, который, по словам деда, никак не может соскочить с наркотиков. Затем его

мысли переметнулись к Мэрилин Маколей и ее мужу Чарли, потом, естественно, он вспомнил своего старшего брата, умершего несколько лет назад, и вдруг подумал: а ведь и его брат — он был на фронте во время Второй мировой и после победы вместе с другими американцами выпускал из концлагерей пленных — вернулся с войны совсем другим человеком; у него и брак развалился, и родные дети его не любили. А незадолго до смерти он рассказал Томми о том, что видел в концлагерях, и о том, как ему и еще кое-кому из американских военных довелось водить по лагерям обычных горожан. Однажды из города в лагерь приехала большая группа женщин, и военные повели их по лагерю, полагая, что теперь люди поймут, какие ужасы творились буквально с ними рядом. По словам брата, американцев очень удивило, что лишь некоторые женщины заплакали, а многие, наоборот, даже рассердились и стали гордо задирать нос, явно не желая, чтобы их заставляли «смотреть на всякие гадости». Эти образы Томми навсегда сохранил в памяти, однако сейчас его несколько озадачило, с чего это он вдруг снова вспомнил о тех женщинах. Он до предела опустил оконное стекло и подумал, чем старше становится — он и так был

уже очень стар, — тем отчетливее понимает, что не в силах разобраться в вечной, смущающей его душу борьбе добра и зла. А еще он вдруг решил: наверное, люди и не созданы для того, чтобы здесь, при жизни, в таких вещах разбираться.

Вновь подъехав к вывеске «Шьем и перешиваем», Томми притормозил и свернул на длинную грунтовую дорогу, ведущую к дому Бартонов. Он давно уже взял себе за правило время от времени проверять, как там поживает Пит Бартон. Он, конечно, давно уже стал взрослым, даже, пожалуй, пожилым мужчиной, и все же после смерти отца, Кена Бартона, Томми постоянно старался его навещать. Пит ведь тогда остался в их старом доме один-одинешенек, и Гаптилл вот уже месяца два как его не видел.

Томми тащился по длинной ухабистой дороге, чувствуя, до чего же здесь пустынно, — они с Ширли много раз говорили о том, как плохо жить в такой изоляции, особенно детям. С одной стороны дороги тянулись бесконечные кукурузные поля, с другой — поля сои. Единственное дерево — поистине громадное, — росшее посреди кукурузных полей, несколько лет назад сильно пострадало от удара молнии, а теперь рухнуло на землю, и его длинные ветви, голые и изломан-

ные, торчали в небо, точно обломки костей.

Грузовичок Бартонов, как всегда, был припаркован возле дома, стены которого так давно не красили, что они казались выгоревшими почти до белизны; даже черепица на крыше побледнела, а кое-где и вовсе отсутствовала. Жалюзи на окнах были опущены — тоже как всегда. Томми вылез из машины, подошел к двери и постучался. Стоя на солнцепеке, он снова вспомнил Люси Бартон. Господи, какой же это был тощий ребенок! Просто больно смотреть. А какие у нее были красивые длинные светлые волосы! Вот только в глаза она ему почти никогда не смотрела. Однажды, когда она была еще совсем девочкой, он вошел после уроков в классную комнату и увидел, что она сидит там в полном одиночестве и что-то читает. Она тогда ужасно перепугалась — он заметил, как сильно она вздрогнула, прямо-таки подскочила на месте, — и Томми поспешил ее успокоить: «Нет-нет, все в порядке, не бойся». Но именно в тот день, заметив, *как* Люси подскочила от испуга, увидев, какой *ужас* плещется в ее глазах, он догадался, что эту девочку наверняка дома бьют. Да, наверняка. Иначе она бы так сильно не испугалась всего лишь из-за того, что кто-то дверь в класс приоткрыл. И когда Томми кое-что

понял о Люси Бартон, он стал внимательней к ней присматриваться и порой замечал у нее синяки — то на шее, то на руках, иногда совсем свежие, а иногда уже пожелтевшие. Когда он рассказывал об этом жене, Ширли огорченно всплескивала руками и говорила: «Но что мы можем поделать, а, Томми? Чем мы-то ей можем помочь?» Они оба много об этом думали, но все же решили ничего не предпринимать. А когда они окончательно обсудили этот вопрос, Томми рассказал жене, как несколько лет назад застал Кена Бартона, отца Люси, за нехорошими делами. Это случилось еще в те времена, когда у Томми была молочная ферма, а Кен, неплохой механик, иногда выполнял там кое-какие работы, например, чинил доильные аппараты. В тот день Томми, случайно заглянув за один из коровников, застал там Кена Бартона в спущенных до колен штанах, который занимался онанизмом и при этом грязно ругался — отвратительное зрелище, надо же было на такое наткнуться! Томми сказал ему просто: «Чтобы я ничего подобного тут больше не видел, Кен», и Кен, резко повернувшись, мгновенно запрыгнул в свой грузовик и умчался, а потом целую неделю на работу не выходил.

— Почему же ты мне раньше об этом не расска-

зал, Томми? — Голубые глаза Ширли с ужасом смотрели на него.

И Томми признался, что просто побоялся говорить о таких мерзких вещах.

— Но Томми, с этим действительно нужно что-то делать! — воскликнула тогда жена. И они снова и снова это обсуждали, но каждый раз приходили к выводу, что ничего поделать не могут.

* * *

Жалюзи слегка шевельнулись, потом открылась дверь, и на пороге возник Пит Бартон.

— Привет, Томми, — сказал он и шагнул с крыльца на солнцепек, тщательно прикрыв за собой дверь. Он остановился рядом с Томми, и тот понял, что впускать его в дом Пит не хочет. Впрочем, Томми уже и так почувствовал знакомый гнилостный запах, который, возможно, исходил от самого хозяина.

— Я тут как раз мимо ехал, — как ни в чем не бывало пояснил Томми, — вот и решил, что надо бы к тебе заглянуть, узнать, как дела.

— Спасибо, я в полном порядке. Но все равно спасибо.

При ярком солнечном свете лицо Пита казалось ужасно бледным, волосы у него почти совсем

поседели, но в целом цвет у них был довольно странный, такой бледно-серый, как бы в тон выгоревшей черепице на крыше его дома.

— По-прежнему у Дарра работаешь? — спросил Томми.

Пит кивнул. Потом сообщил, что там он работу почти завершил, однако у него на очереди другое предложение, в Хэнстоне.

— Это хорошо. — Томми, прищурившись, смотрел куда-то вдаль. До самого горизонта перед ним расстилались бесконечные соевые поля, и яркая зелень молодых растений красиво выделялась на коричневой земле. А на горизонте виднелись хозяйственные постройки фермы Педерсона.

Они с Питом поговорили немного о разных сельскохозяйственных механизмах, а заодно обсудили и те ветряки, что недавно установили между Карлайлом и Хэнстоном.

— Хотя мы, пожалуй, к ним уже и попривыкли, — заметил Томми. И Пит сказал, что тут Томми, должно быть, прав. То единственное дерево, что росло рядом с их подъездной дорожкой, уже покрылось молодой листвой, трепетавшей от легких порывов теплого ветерка.

Пит прислонился к автомобилю Томми, сложив руки на груди. Он был высокий, но какой-то

ужасно худой, и грудь совсем впалая.

— Ты был на войне, Томми? — спросил он вдруг.

Томми удивил этот вопрос.

— Нет, я тогда был еще слишком мал, так что войну, можно сказать, пропустил. А вот мой старший брат воевал.

Ветви дерева слегка качнулись, быстро вверх-вниз взметнулась листва — казалось, только дерево ощутило легкое дыхание ветерка, а вот Томми этого дыхания совсем не почувствовал.

— А где он воевал?

Томми колебался: ему не очень хотелось говорить об этом. Потом все же сказал:

— Под конец войны он получил назначение в лагеря — то есть он был в тех войсках, которые освобождали концлагерь Бухенвальд. — Томми посмотрел в небо, покопался в кармане, извлек оттуда темные очки и надел. — И после этого он стал совсем другим человеком. Не могу сказать, как именно он переменился, но точно стал совсем другим.

Он подошел к Питу и встал рядом, тоже прислонившись к боку автомобиля.

Некоторое время оба молчали, потом Пит Бартон повернулся к Томми и очень миролюбивым,

даже, пожалуй, извиняющимся тоном произнес:

— Слушай, Томми, мне бы хотелось… в общем, лучше бы ты перестал без конца сюда ездить. — Он то и дело облизывал бледные, потрескавшиеся губы. Смотрел Пит в землю. Томми даже как-то не сразу его понял и решил, что, наверно, ослышался. Но едва он начал объяснять: «Я же только…», как Пит, быстро на него глянув, продолжил: — Ты ведь специально это делаешь, чтобы меня мучить, и, по-моему, пора бы тебе это прекратить, ведь времени-то уже достаточно прошло.

Томми с силой оттолкнулся от машины, выпрямился и с изумлением уставился на Пита сквозь темные очки.

— Чтобы тебя мучить? — переспросил он. — Пит, я приезжаю вовсе не за этим!

Неожиданно налетел более сильный порыв ветра и даже поднял маленький пылевой смерч над пересохшей дорогой, возле которой они стояли. Томми даже свои темные очки снял, чтобы Пит мог видеть его глаза, в которых читалась искренняя тревога, и голова Пита стыдливо поникла.

— Извини, — пробормотал он. — И забудь, что я сказал.

— Я просто стараюсь время от времени проверять, как ты тут. Чисто по-соседски. Ты ведь

совсем один остался. По-моему, соседям стоит иногда друг к другу заглядывать.

Пит посмотрел на Томми, криво усмехнулся и сказал:

— Ну, так ты единственный, кто ко мне заглядывает. Больше ко мне никто из соседей и носа не кажет. — Пит засмеялся, и от этого смеха Томми стало не по себе.

Они продолжали стоять рядом, только теперь Томми расцепил скрещенные на груди руки и сунул их в карманы. Пит тоже сунул руки в карманы, затем поддел ногой камешек, с силой его отшвырнул и, отвернувшись от Томми, стал смотреть куда-то вдаль.

— Педерсону надо бы убрать это дерево. Не знаю, почему он до сих пор этого не сделал, — сказал Пит. — Одно дело пахать вокруг него, пока оно еще живое было, а теперь-то уж что…

— Да он и собирался его убрать, я сам слышал, как он об этом говорил. — Томми как-то не совсем понимал, что ему теперь делать. Для него это было очень необычное ощущение.

А Пит, по-прежнему не сводя глаз с рухнувшего дерева, вдруг произнес:

— Мой отец был на войне. Всю душу ему там изуродовали. — Пит повернулся и посмотрел на

Томми, щурясь от яркого солнечного света. — Он только перед смертью мне об этом рассказал. Просто ужасно, что с ним сотворили. А потом… потом он застрелил двух немецких парней, хотя знал, что они даже и не солдаты, и вообще еще почти дети… И он мне признался, что всю жизнь, каждый божий день, чувствовал, что после этого он должен был сразу же убить и себя. Во искупление.

Томми слушал, глядя этому мальчику прямо в глаза — да нет, какому мальчику, взрослому мужчине, причем уже немолодому! — и темные очки он не надел, продолжая сжимать их в кармане.

— Ты извини, я и не знал, что твой отец тоже был на войне.

— Мой отец… — И тут Томми заметил — нет, он не мог ошибиться! — что в глазах у Пита стоят слезы. — Мой отец был *порядочным* человеком, Томми.

Томми медленно склонил голову в знак согласия.

— А всякими гадостями он занимался просто потому, что не мог себя контролировать. Потому-то он и… — Пит не договорил и отвернулся. Но довольно скоро, снова отчасти повернувшись к Томми и стоя к нему боком, закончил фразу:

— Потому-то он и включил в ту ночь в коровнике доильные аппараты. И там из-за этого начался пожар, и все сгорело. И я никогда-никогда об этом не забывал, Томми, и мне казалось, что я *совершенно точно знаю*: это сделал он. Да, по-моему, и ты это знаешь.

Томми почувствовал, что от ужаса у него волосы встают дыбом, а по шее ползут мурашки. И это ощущение не проходило, мурашки так и продолжали ползать по шее и под волосами. И хотя солнце ярко светило и было очень теплым, Томми казалось, что светит оно на всех, кроме него, а на него надет какой-то непроницаемый для солнечных лучей конус. Немного помолчав, он сказал:

— Сынок… — это слово вырвалось у него невольно, — ты не должен так думать.

— Послушай, — начал Пит, и Томми показалось, что с его лица исчезла смертельная бледность, — отец ведь прекрасно знал, что твои доильные аппараты ненадежны, что с ними и до беды недалеко — он и нам не раз об этом говорил. А еще он говорил, что доильный аппарат — устройство весьма примитивное и легко перегревается, если не давать ему передышки.

— Да, тут он был совершенно прав, — согласил-

ся Томми.

— Он был страшно зол на тебя за что-то. Вообще-то он вечно на кого-нибудь сердился, но на тебя он был прямо-таки страшно зол. Я не знаю, что там у вас случилось, но ведь он работал у тебя на ферме, а потом вдруг перестал. Правда, он, по-моему, вскоре вернулся, но с тех пор явно тебя недолюбливал. С тех самых пор, как между вами случилось то, что случилось.

Томми снова надел темные очки. И сказал, тщательно подбирая слова:

— Я случайно наткнулся на него, когда он, спустив штаны, дрочил за коровником, ну то есть онанизмом занимался. И я, конечно, сказал, чтобы впредь он ничего такого здесь делать не смел.

— О господи… — Пит рукой вытер у себя под носом, — господи… — Подняв голову, он некоторое время смотрел куда-то в небо, потом быстро глянул на Томми. — Но он действительно тебя недолюбливал. А в ту ночь перед пожаром он куда-то ушел — с ним, правда, такое бывало — уйдет и никому ничего не скажет; хотя пьяницей он не был, а вот из дома уйти куда-нибудь ему иногда хотелось… И тогда он тоже куда-то ушел, а вернулся поздно, где-то около полуночи — я это хорошо помню, потому что моя сестра никак не

могла уснуть, все жаловалась, что ей холодно, а мать… — Пит вдруг умолк, словно ему не хватило дыхания, но вскоре снова заговорил: — В общем, мать была вместе с Люси наверху. Я помню, как она ее уговаривала: *ложись спать, Люси, уже полночь*! Тут как раз отец домой и вернулся. А на следующее утро, когда я был в школе… в общем, утром мы узнали о пожаре. И я сразу все понял. Просто понял, и все.

Томми понадежней прислонился к машине и молчал, пытаясь успокоиться.

— Ты ведь тоже сразу все понял, да? — закончил рассуждать Пит. — Поэтому ты и приезжаешь сюда постоянно, чтобы меня мучить!

После этих слов оба довольно долго молчали, по-прежнему стоя возле машины. Ветерок совсем разгулялся, и Томми чувствовал, как он треплет рукава его рубашки. Наконец Пит повернулся и двинулся к дому. Но, когда он со скрипом отворил дверь, Томми окликнул его:

— Пит! Пит, постой, послушай меня. Я приезжаю сюда вовсе не для того, чтобы тебя мучить. И я до сих пор не знаю — даже после того, что ты мне сейчас рассказал, — что случилось на самом деле.

Пит снова повернулся к нему, помедлил секун-

ду, закрыл дверь и, сойдя с крыльца, направился к Томми. На глазах у него стояли слезы — то ли от душевной боли, то ли просто от резкого ветра, этого Томми не знал.

— Послушай, Томми, — как-то почти устало промолвил Пит, — вот что я тебе скажу. Ему вовсе не обязательно было идти на войну и делать все то, что ему там делать пришлось. Людям вообще *не обязательно* убивать других людей. Они не для этого *предназначены*. А он и убивал, и совершал другие страшные поступки, и с ним самим ужасно поступали, а жить только *внутри себя* он так и не научился, не сумел. Вот что я тебе, Томми, втолковать пытаюсь. Другие сумели, а он нет. И попытки так жить окончательно разрушили его душу, и он…

— А как же твоя мать? — неожиданно прервал его Томми.

Выражение лица Пита сразу стало иным: замкнутым, даже каким-то туповатым.

— А что моя мать? — спросил он.

— Как она все это восприняла?

Пит, казалось, был сражен этим вопросом. Он медленно покачал головой, потом сказал:

— Не знаю. Я вообще не знаю, какой она была, моя мать.

— Да и я ее никогда толком не знал, — признался Томми. — Мы встречались, конечно, иной раз, да как-то все больше мимоходом. — И тут его вдруг осенило: он ведь ни разу в жизни не видел, чтобы эта женщина, мать Пита, хотя бы улыбнулась.

Пит молчал, глядя в землю. Потом, пожав плечами, повторил:

— Не знаю я насчет матери.

И Томми наконец-то почувствовал, что мысли у него в голове прекратили свое кружение и вновь обрели порядок. Окончательно придя в себя, он сказал Питу:

— А знаешь, я очень рад, что ты рассказал мне об отце, о том, что он воевал. И я тебя *услышал.* Вот ты сказал, что твой отец был порядочным человеком, и я тебе верю.

— Но это *действительно* так! — буквально взвыл Пит, уставившись на Томми бледными глазами. — Если он даже и совершал что-то плохое, то потом всегда ужасно из-за этого мучился. А после твоего пожара он был настолько… *взволнован, возбужден*… и это *возбуждение* все никак не проходило, оно много недель подряд продолжалось, и ему было ужасно плохо, гораздо хуже, чем когда- либо.

— Ничего, Пит. Теперь все в порядке.

— Да ничего *не в порядке*!

— Нет, в порядке. — Это Томми произнес непререкаемым тоном. А потом подошел к Питу, положил руку ему на плечо и ласково прибавил: — Короче, я в любом случае не думаю, что это его рук дело. Мне кажется, я сам в тот вечер доильные аппараты выключить забыл. А твой отец и впрямь на меня тогда злился. Может, ему от этого и было не по себе. Он ведь никогда тебе не говорил, что пожар — это его рук дело? Не говорил ведь? Хотя перед смертью смог, например, честно признаться, что тогда, во время войны, убил тех ни в чем не повинных парней, а вот в том, что это он мои коровники сжег, признаваться и не подумал, так или нет? — Пит кивнул. — Так, может, ему и признаваться было не в чем?

Пит только головой покачал.

— А раз так, — продолжал Томми, — то я предлагаю тебе выбросить это из головы. У тебя и без того недоброжелателей хватает, есть с кем бороться.

Пит провел рукой по волосам, и одна непокорная прядь тут же встала дыбом. Явно смущенный, он все же спросил:

— Как это — бороться?

— Я же видел, как к тебе относились в городе, Пит. И к твоим сестрам тоже. Я много чего замечал, когда уборщиком в школе работал. — И у Томми вдруг слегка перехватило дыхание.

Пит снова смущенно пожал плечами. Похоже, он пока еще не сумел в этом разобраться.

— Ну, тогда ладно. Как скажешь.

Они еще немного постояли на ветерке, и Томми сказал, что ему пора ехать.

— Погоди, — отозвался Пит. — Можно мне доехать с тобой до развилки? Я давно собираюсь от старой материной вывески избавиться, да все никак не соберусь. Зато сейчас я точно ее сниму. Ты подожди меня минутку, хорошо? — Он ушел в дом, а Томми остался ждать его у машины. Пит скоро вернулся, неся увесистую кувалду, и они уселись в автомобиль — Томми на водительское кресло, а Пит на пассажирское. Как только они двинулись в сторону шоссе, тот омерзительный запах, который Томми учуял, едва увидев Пита, стал чувствоваться гораздо сильнее, ведь теперь Пит был рядом. Впрочем, Томми сделал вид, что ничего не замечает, и вдруг вспомнил, как однажды специально подложил на ту парту, где обычно после уроков сидела Люси, монетку, четвертак. Она тогда училась уже в средней школе и

предпочитала оставаться в классе мистера Хейли. Он преподавал социальные дисциплины, хотя у них в школе и успел проработать недолго, что-то около года, а потом его забрали в армию. Похоже, к Люси он относился хорошо, потому что она, даже когда его класс преобразовали в кабинет естественных наук, все равно любила оставаться после уроков именно там. И Томми, зная об этом, оставил четвертак на ее излюбленной парте. В школе не так давно установили торговый автомат, и за четвертак можно было купить, например, мороженое с вафлями. Томми надеялся, что Люси сразу заметит монетку и возьмет ее. Но вечером, уже после того, как девочка ушла домой, он снова заглянул в тот класс и увидел, что четвертак лежит там же, где он его оставил.

Ему очень хотелось расспросить Пита о Люси, узнать, поддерживают ли они связь друг с другом, но он не успел: старая вывеска «Шьем и перешиваем» уже возникла прямо перед ними, и Томми остановил машину.

— Ну, вот и приехали. Будь здоров, Пит.

Пит поблагодарил его и вылез из машины.

А через минуту Томми глянул в зеркало заднего вида и увидел, что Пит Бартон с размаху бьет по вывеске кувалдой. И было в этом что-то такое

— особенно Томми поразило то, с какой силой Пит наносил удары, — отчего Томми остановил машину и повнимательней пригляделся к этому парню — да нет, немолодому уже мужчине! — который с невероятной, все возраставшей яростью крушил несчастную вывеску. Потом Томми снова тронулся с места, съехал под горку и на мгновение потерял Пита из виду, зная, что сейчас снова его увидит, как только опять взберется на пригорок. Там он посмотрел в зеркало и увидел, как этот парень — да нет, немолодой уже мужчина — машет кувалдой, с какой-то, пожалуй, даже жестокостью превращая старую вывеску в труху. Эта ярость и эта жестокость не просто удивили Томми. Он был потрясен до глубины души. Ему даже показалось, что с его стороны неприлично было подсматривать за этой мучительной вспышкой застарелой боли, горечи, муки. Не следовало ему становиться свидетелем чего-то столь личного, даже интимного, как не следовало видеть и то, чем несчастный отец этого мальчика — нет, немолодого уже мужчины — занимался в тот злополучный день за коровниками. И лишь когда Томми поехал дальше, до него вдруг дошло: вот оно что! Дело, оказывается, было в матери Пита. Ну конечно, все дело в его матери! Она-то

и была, должно быть, человеком по-настоящему опасным.

Томми притормозил, развернулся и поехал назад. Он еще издали заметил, что Пит перестал лупить по вывеске и теперь с усталым презрением лишь пинал обломки. Услышав приближавшуюся машину, Пит поднял голову, и на его лице отразилось откровенное изумление. Томми перегнулся через пассажирское сиденье, покрутил ручку, опуская стекло, и позвал:

— Садись-ка, Пит. — Тот колебался. Его лицо покрылось крупными каплями пота. — Ну, залезай же, — снова пригласил его Томми.

Пит уселся на пассажирское сиденье, и они опять поехали к дому Бартонов. Наконец Томми остановился и выключил двигатель.

— Пит, я хочу, чтобы ты очень-очень внимательно меня выслушал.

На лице Пита промелькнул страх, и Томми, желая ободрить Бартона, легонько коснулся рукой его колена. Точно такой же страх читался когда-то и в глазах Люси, если Томми неожиданно заставал ее в классе после уроков.

— Я хочу рассказать тебе нечто такое, о чем никогда и никому еще не рассказывал и даже не собирался. Но в ту ночь, когда случился по-

жар… — И Томми очень подробно описал Питу, что он чувствовал, когда к нему снизошел Господь и дал ему, Томми, понять, что все будет хорошо. Закончив рассказ, он увидел, что Пит, все время жадно его слушавший, но до этого смотревший в основном в пол и лишь изредка поднимавший на Томми глаза, сейчас смотрит прямо на него с интересом и нескрываемым изумлением.

— И ты в это веришь?

— Я не просто верю, — ответил Томми, — я это *знаю*.

— И ты никогда и никому об этом не рассказывал? Даже жене?

— Нет, никогда и никому.

— Но почему?

— По-моему, у каждого в жизни случается такое, чем ни с кем не стоит делиться.

Пит сидел, потупившись, изучая собственные руки. Томми тоже посмотрел на его руки и был удивлен тем, какие это крупные руки с длинными сильными пальцами — руки взрослого мужчины.

— Значит, ты говоришь, что мой отец действовал по велению Господа? — усомнился Пит, медленно качая головой.

— Нет. Я всего лишь рассказал тебе о том, что

со мной случилось в ту ночь.

— Знаю. Я же слышал, о чем ты толковал… — Пит смотрел не на Томми, а куда-то вдаль сквозь ветровое стекло. — Вот только я не знаю, что мне теперь делать с тем, что я от тебя услышал.

Томми посмотрел на грузовик, стоявший возле дома, — его крыло блестело в ярких солнечных лучах. Грузовик был старенький, серовато-коричневый, словно поседевший от старости, почти того же оттенка, что и выцветшие стены дома. И Томми вдруг показалось, что он сидит так уже очень давно, глядя на этот грузовик и думая о том, насколько его цвет соответствует цвету дома.

— Скажи, а как поживает Люси? — спросил он вдруг, разминая затекшие ноги и слыша, как они скребут по грязному резиновому коврику на полу. — У нее новая книжка вышла, я в магазине видел.

— У нее все хорошо, — ответил Пит, и лицо его сразу просветлело. — У нее все хорошо, и книга у нее получилась очень хорошая. Она мне сразу сигнальный экземпляр прислала. Я очень ею горжусь, нет, правда.

— А знаешь, я как-то нарочно положил ей на парту четвертак, так она даже не подумала его взять. — И он рассказал Питу, как потом нашел

свою монетку на том же месте, где и оставил.

— Ну что ты, Люси и пенни бы чужого не взяла, — сказал Пит и прибавил: — А вот моя вторая сестра, Вики… совсем другое дело. Спорить готов, уж она бы этот четвертак не только взяла, но и еще потом попросила. — Он посмотрел на Томми. — Да уж. Вики точно бы его взяла.

— А по-моему, в человеке всегда происходит борьба между тем, что можно сделать, и тем, чего ни в коем случае делать нельзя, — попытался пошутить Томми.

— Что? — растерянно переспросил Пит, и Томми повторил.

— Правда? Как интересно!

И Томми был потрясен: у него вновь возникло ощущение, что перед ним ребенок, а не взрослый мужчина. И, чтобы проверить себя, он снова посмотрел на руки Пита.

Некоторое время оба молчали, потом в двигателе автомобиля что-то застучало, и Пит произнес:

— Вот ты меня спросил о моей матери. Никто меня о ней никогда не спрашивал. Но правда в том, что я так и не знаю, любила ли она нас, своих детей, или же совсем не любила. Если честно, то по-настоящему я о ней почти ничего не знаю. — Он посмотрел на Томми, и тот пони-

мающе кивнул. — А вот отец нас действительно любил. Я знаю, что любил. Просто у него душа была истерзана. Ох, как же сильно у него была истерзана душа! Но нас он любил.

Томми снова кивнул.

— Расскажи мне еще о том, о чем только что говорил, — попросил Пит.

— О чем? Что я только что говорил?

— О том… что нужно бороться. Разве ты этого не говорил? И еще о том, что нам следует выбрать между тем, что нам следует сделать, и тем, чего мы делать ни в коем случае не должны.

— Ах, вот ты о чем. — Томми посмотрел сквозь ветровое стекло на дом, такой безмолвный и обветшалый. От яркого солнечного света жалюзи на окнах были похожи на устало опущенные веки дряхлого старика. — Ну, вот тебе, пожалуйста, более широкий пример. — И Томми рассказал Питу о том, что его старший брат видел на войне, и о тех женщинах, которых привели на экскурсию в только что освобожденный концлагерь, и о том, что некоторые из этих женщин горько плакали, зато другие были разгневаны тем, что их душевное спокойствие нарушают столь прискорбным зрелищем. — Думается, эта борьба, подобное соперничество добра и зла продолжает-

ся постоянно. И человека в нас сохраняет только наша способность испытывать угрызения совести, способность искренне сожалеть о том, что ты причинил страдания другим людям, и умение показать, что ты действительно раскаиваешься в совершенном. — Томми даже слегка прихлопнул рукой по рулю. — Вот как я думаю.

— Я-то видел, что отец испытывает тяжкие угрызения совести, — сказал Пит. — В нем все это как раз было — то, о чем ты говоришь: и борьба, и проблема выбора, и угрызения совести. Все в одном человеке.

— Полагаю, ты прав.

Солнце поднялось уже так высоко, что увидеть его, сидя в машине, было невозможно.

— Я никогда и ни с кем так не разговаривал, как с тобой сегодня, — признался Пит, и Томми в очередной раз был потрясен тем, каким все-таки юным кажется ему этот взрослый мужчина с душой ребенка. И непосредственно с Питом была почему-то связана странная, пока еще несильная, боль, возникшая глубоко у Томми в груди.

— Я старый человек. И, по-моему, если мы с тобой собираемся и впредь вести подобные разговоры, то мне стоило бы почаще сюда заезжать. Как насчет того, чтобы снова встретиться суббо-

ты через две?

И Томми с удивлением увидел, что руки Пита превратились в кулаки, и он, с силой ударив по коленям, выпалил:

— Нет! Нет, ты вовсе не обязан!.. Нет!

— Но я сам этого хочу, — возразил Томми и почти сразу подумал, а потом и понял, что это неправда. Но разве то, что он подумал, имеет какое-то значение? Никакого.

— Мне вовсе не нужно, чтобы кто-то навещал меня по обязанности, — тихо сказал Пит.

И Томми, чувствуя, что боль у него в груди заметно усилилась, откликнулся:

— И я ни в коем случае не стал бы тебя за это винить.

Они продолжали сидеть в машине, хотя она так нагрелась на солнце, что жуткий запах можно было, казалось, запросто пощупать.

Помолчав еще пару минут, Пит напомнил:

— Но я ведь и впрямь считал, что ты приезжаешь только для того, чтобы меня мучить. Получается, я и тут ошибался. Так, может, я и теперь ошибаюсь, думая, будто ты просто хочешь заставить меня быть тебе благодарным?

— Да, по-моему, ты снова ошибаешься.

Томми опять ясно почувствовал, что говорит

неправду. Потому что правда заключалась в том, что ему не так уж и хотелось снова навещать этого сидящего рядом бедолагу с руками взрослого мужчины и душой ребенка.

Они еще немного помолчали, потом Пит повернулся к Томми, решительно кивнул и вылез из машины, бросив на прощание:

— Ладно. Тогда, значит, приезжай, как сказал. И спасибо тебе, Томми. — А тот откликнулся:

— Это *тебе* спасибо.

* * *

Томми ехал домой, чувствуя себя старым спущенным колесом — словно всю жизнь он был колесом упругим, хорошо накачанным, а теперь лопнул, и весь воздух из него вышел. И, хотя он продолжал вести машину, его все сильней охватывало чувство страха. Он никак не мог понять, с чего бы это. Но, с другой стороны, он ведь рассказал Питу то, о чем самому себе поклялся никому и никогда не рассказывать — как сам Господь приходил к нему в ту ночь, когда случился пожар. Почему же он все-таки поделился с Питом? Наверное, потому что хотел хоть что-то подарить ему, этому бедному парнишке, с такой яростью разносившему вдребезги кувалдой старую вы-

веску своей матери. Но разве так уж важно, что он все рассказал Питу? В этом у Томми особой уверенности не было. И все же ему казалось, что когда-то он сам себе всунул в рот кляп, наложил на себя запрет, внушил себе: если расскажет то, о чем никому и никогда не должен рассказывать, то унизится так, что ему не будет прощения. Вот что действительно пугало его. «*И ты в это веришь?*» — спросил у него Пит Бартон.

Томми просто сам себя не узнавал.

«Боже, что я сделал?» — пробормотал он себе под нос, и ему показалось, что он действительно задает этот вопрос Богу. «Где Ты, Боже?» Но в салоне автомобиля все оставалось по-прежнему — там было очень тепло и все еще не выветрился дурной запах, оставшийся после Пита Бартона; и сам он, Томми, по-прежнему тащился по знакомой дороге к дому.

На самом деле он вовсе не тащился, а ехал как раз быстрее обычного. За окном так и пролетали поля сои и кукурузы, перемежавшиеся коричневыми участками земли, лежавшей под паром, но ничего этого Томми почти не замечал.

Вот и его дом, и на ступеньках крыльца сидит Ширли. Ее очки поблескивают в солнечном свете, она машет ему рукой, заметив, что он уже выехал

на подъездную дорожку. «Ширли! — крикнул он, вылезая из машины. — Ширли!» Она с трудом поднялась и, держась за перила, спустилась с крыльца. Подошла к нему, и на лице у нее было написано искреннее беспокойство. «Ширли, — сказал он, — я должен кое-что тебе рассказать».

Они устроились в своей маленькой кухоньке за маленьким столиком, на котором в высоком стеклянном кувшине стоял букет еще не совсем распустившихся пионов. Ширли сдвинула кувшин в сторону, и Томми принялся рассказывать ей о том, что с ним произошло этим утром в доме Бартонов, а она все качала головой, то и дело поправляя тыльной стороной ладони сползавшие очки.

— Ох, Томми! — приговаривала она. — Ох, Пит, бедный мальчик!

— В том-то и дело, Ширли, все гораздо сложнее. Мне еще кое-что важное нужно тебе поведать.

И Томми, внимательно посмотрев на жену — прямо в ее голубые глаза, которые за стеклами очков стали теперь гораздо бледнее, и в них поблескивали крошечные точки-шрамики после оперированной катаракты, — стал в тех же подробностях, что и Питу Бартону, рассказывать, как он в ночь пожара *почувствовал*, что к нему

приходил сам Господь.

— Но сейчас мне кажется, что я, должно быть, просто все это себе вообразил. Такого просто быть не могло, я наверняка все это придумал. — И он, то ли сдаваясь, то ли в изумлении, широко развел поднятыми руками и сокрушенно покачал головой.

Жена некоторое время молча на него смотрела, и он чувствовал, что она внимательно за ним наблюдает. Потом он увидел, как удивленно расширились и потеплели ее глаза, источая такую знакомую доброту и нежность, и Ширли, наклонившись к нему, взяла его за руку.

— Но, Томми, почему ты считаешь, что этого не могло быть? Почему все не могло произойти именно так, как тебе показалось в ту ночь?

И Томми понял: то, что он так тщательно от нее скрывал в течение всей их жизни, было на самом деле вполне для нее приемлемым. И теперь ему придется скрывать от Ширли новую тайну — свои сомнения (свою внезапно возникшую уверенность в том, что Бог к нему вовсе и не приходил) — и эта новая тайна займет место первой. Он осторожно вынул руку из пальцев Ширли и сказал:

— Наверное, ты права. — И прибавил привыч-

ный пустячок, хоть это и была чистая правда: — Я люблю тебя, Ширли.

А потом некоторое время ему пришлось смотреть в потолок, потому что сразу опустить глаза и посмотреть на жену он бы не смог.

# Ветряные мельницы

Несколько лет назад солнечным утром Пэтти Найсли включила телевизор, но вскоре, перемещаясь по спальне, поняла, что из некоторых мест при таком ярком свете на экране почти ничего невозможно разглядеть. Себастьян, муж Пэтти, был тогда еще жив, а сама она собиралась на работу, заранее приготовив все, что могло бы понадобиться мужу в течение дня. Болезнь Себастьяна только начинала развиваться, и Пэтти не знала толком — и никто из них не знал, — чем все это может закончиться. По телевизору шло обычное утреннее шоу, и Пэтти время от времени рассеянно поглядывала на экран. Она как раз вдевала в ухо жемчужную сережку, когда услышала, как ведущая объявила: «А после перерыва к нам присоединится Люси Бартон!»

Пэтти сразу же не только подошла к телевизору вплотную, но даже прищурилась, чтобы лучше видеть, и через несколько минут в студии действительно появилась Люси Бартон — она, как выяснилось, написала новый роман, — и Пэтти пробормотала: «Боже мой...», а потом, высунув-

шись из дверей спальни, позвала мужа: «Сибби!» Себастьян, конечно, тут же пришел, и она, приговаривая: «Ох, Сибби, милый…», помогла ему улечься на кровать и ласково погладила по лбу. И вот сегодня она все это вдруг вспомнила: и то утро, и выступление Люси Бартон, о которой она несколько дней назад как раз рассказывала Себастьяну. Люси Бартон росла в ужасающей бедности, их жалкий домишко находился на задворках городка Эмгаша в штате Иллинойс. «Я их почти совсем не знала, я ведь в Хэнстоне училась, но помню, что при виде детей Бартонов люди брезгливо говорили: „Фу, вшивые!“ и старались держаться от них подальше», — объясняла Пэтти мужу. Однако потом ей все же пришлось с этим семейством познакомиться, потому что мать Люси Бартон была портнихой, а мать Пэтти время от времени пользовалась ее услугами и несколько раз брала с собой Пэтти и ее сестер. Домишко у Бартонов был совсем крошечный, и до чего ужасно там *пахло*! А вот теперь смотри-ка, Люси Бартон по телевизору показывают, она писательницей стала и живет в Нью-Йорке! «И, по-моему, — заметила Пэтти, обращаясь к мужу, — она очень мило выглядит, правда, дорогой?»

Себастьяна очень заинтересовала эта история. Пэтти видела, как он оживился, слушая ее, и уже через несколько минут принялся задавать ей множество разных вопросов: спросил, например, не казалось ли Пэтти уже тогда, что Люси несколько отличается от брата и сестры? Пэтти с ответом затруднилась и сказала, что в то время и впрямь ни с кем из них толком знакома не была. *Однако* — и вот это, по словам Пэтти, действительно было странно — родителей Люси неожиданно пригласили на свадьбу старшей сестры Пэтти, Линды. Пэтти так и не сумела понять, почему. Она просто представить себе не могла, чтобы у отца Люси нашелся для такого случая приличный костюм. И с чего вообще понадобилось приглашать этих Бартонов на свадьбу Линды? Но Себастьян сказал так: «А что, если твоей матери на этой свадьбе больше и поговорить-то было не с кем?» И Пэтти поняла: он совершенно прав. И ужасно покраснела, поняв это. «Ну что ты, милая», — успокоил ее муж, нагнулся и поцеловал ей руку.

А через несколько месяцев Себастьяна не стало. Они познакомились, когда обоим было уже под сорок, так что вместе им довелось прожить всего восемь лет. Детей у них не было. И за всю жизнь Пэтти не встречала человека лучше Себастьяна.

* * *

Сев сегодня за руль, Пэтти сразу включила кондиционер на полную мощность. Она сильно располнела — ей все время было жарко, а сейчас, в конце мая, стояла чудная теплая погода — все вокруг только и говорили, какая чудная стоит погода, — и Пэтти просто изнемогала от зноя. Сперва она ехала мимо полей — на одних кукуруза успела подняться над землей на несколько дюймов, на других едва виднелись ярко-зеленые побеги сои, — потом нырнула в город и долго петляла по извилистым улочкам, наслаждаясь видом пышных, цветущих кустов пионов возле крылечек — Пэтти пионы обожала! Наконец она подъехала к школе, где работала «консультантом по профориентации старшеклассников», или попросту школьным психологом, припарковалась, посмотрелась в зеркало заднего вида, поправила на губах помаду, слегка взбила пальцами волосы и выгрузилась из машины, заметив, что на противоположном конце стоянки из авто вылезает Анджелина Мамфорд — преподавала в средней школе общественные науки. Пэтти знала, что от нее совсем недавно ушел муж. Она принялась приветственно махать рукой, и Анджелина, за-

метив ее, помахала в ответ.

Стеллажи в кабинете у Пэтти были сплошь уставлены папками с документами, а на письменном столе красовался выводок фотографий в рамках — ее племянницы и племянники; на верхних полках и на столе лежала груда подаренных коллегами брошюр и авторефератов. Но самое видное место занимал ее ежедневник, открыв который Пэтти поняла, что ученица Лайла Лейн вчера пропустила назначенную ей заранее встречу. Буквально в ту же минуту раздался стук в дверь — хотя дверь была открыта настежь, — и на пороге возникла высокая хорошенькая девушка.

— Входите, — пригласила Пэтти. — Вы Лайла?

Казалось, вместе с девушкой в комнату вошло и ее смущение. Послушно опустившись в кресло, она неловко ссутулилась и одарила Пэтти таким взглядом, что той стало не по себе. У Лайлы Лейн были длинные светлые волосы, которые она, приподняв, перебросила через плечо, и во время этого движения Пэтти заметила у нее на руке татуировку — что-то вроде колючей проволоки, обвивавшей тонкое девичье запястье.

— Какое у вас красивое имя — Лайла Лейн.

Девушка сообщила:

— Вообще-то меня сперва хотели в честь тетки

назвать, но в последнюю минуту мать передумала и решила: «Да пошла она!»

Пэтти вытащила из папки документы и старательно распрямила загнувшиеся уголки, проведя листами бумаги по ребру столешницы.

А девушка, сев прямее, вдруг выпалила:

— Да она просто сука, тетка моя! Считает, что она лучше всех! А я с ней даже и *не знакома.*

— Вы не знакомы с родной тетей?

— Не-а. Она сюда приезжала, только когда их отец умер — ее и моей матери, — а потом снова уехала, так что я с ней никогда не встречалась. Она в Нью-Йорке живет и считает, наверно, что ее дерьмо не воняет.

— Ну что ж, давайте посмотрим, каковы ваши успехи… Ну, все очень хорошо. И оценки высокие. — Пэтти всегда страшно не любила, когда ученики сквернословят, считая это проявлением неуважения. Она быстро посмотрела на девушку и снова принялась перебирать бумаги. — Да просто отличные оценки! — повторила она.

— А в третьем классе я вообще не училась, меня сразу из второго в четвертый перевели, — сказала Лайла тоном глубочайшего равнодушия, в котором Пэтти все же расслышала явные нотки гордости.

— Молодец! — похвалила ее Пэтти. — Видно, вы всегда очень хорошо успевали. Вряд ли кому-то разрешили бы просто так целый класс пропустить, верно? — И она, с ласковым удивлением приподняв брови, посмотрела на девочку, но обнаружила, что Лайле не до нее: та изучала обстановку — читала названия брошюр, рассматривала фотографии племянников и племянниц Пэтти и довольно долго любовалась прикрепленным к стене постером: котенок, свисающий с ветки дерева, под которым крупными буквами написано: «Держись там».

— Что? — Лайла явно не расслышала слова Пэтти, и той пришлось повторить:

— Я сказала, что вряд ли кому-то разрешили бы просто так целый класс пропустить.

— Да господи, нет, конечно! — Лайла повозилась в кресле, передвинула в другую сторону вытянутые длинные ноги и снова ссутулилась.

— Ну, хорошо, с этим все ясно, — кивнула Пэтти. — А как вы себе представляете ваше будущее? У вас очень хорошие оценки, прекрасные показатели…

— Это ваши детишки? — Девушка, скосив глаза, указала на фотографии.

— Это мои племянницы и племянники.

— Знаю, своих-то детей у вас нет, — ухмыльнулась Лайла. — А как это получилось?

Пэтти почувствовала, что невольно заливается румянцем.

— Да просто не случилось — и все. Но давайте все же вернемся к вопросу о вашем будущем.

— Потому что вы с мужем никогда *этим* не занимались? — рассмеялась Лайла, показывая скверные зубы. — Все так говорят! А знаете, что еще люди говорят? Что Толстуха Пэтти — девственница и никогда не занималась *этим* ни со своим мужем, ни с кем-либо другим.

Пэтти аккуратно положила бумаги на стол, чувствуя, что щеки у нее буквально пылают, а перед глазами плывет пелена. В кабинете было так тихо, что Пэтти отчетливо слышала тиканье настенных часов. Даже в самых диких снах она не смогла бы предвидеть того, что через несколько секунд сорвалось у нее с языка. Она в упор посмотрела на Лайлу Лейн и вдруг услышала, как ее собственный голос произносит: «Немедленно вон отсюда, ты, кусок вонючего дерьма!»

Девушка, похоже, на мгновение оцепенела от изумления, потом усмехнулась.

— Ого, *ничего себе!* Значит, верно люди говорят. Господи ты боже мой! — И откровенно расхохо-

талась, прикрывая рот рукой. Она смеялась все громче, все сильней, и у Пэтти возникло жуткое ощущение, что смех брызжет у этой девицы изо рта, как ядовитая желчь из пасти чудовищного существа из фильма ужасов. — Извините, — вдруг торопливо сказала Лайла, — извините меня.

И Пэтти вдруг непонятным образом поняла, кто эта девушка.

— Твоя тетка — Люси Бартон. Ты очень на нее похожа.

Лайла Лейн тут же вскочила и выбежала из кабинета.

Пэтти закрыла за ней дверь и позвонила своей сестре Линде, которая жила в одном из пригородов Чикаго. Она чувствовала, что лицо у нее мокрое от пота и одежда под мышками и на спине прилипла к телу.

Сестра сняла трубку и официальным тоном заявила:

— Линда Петерсон-Корнелл слушает.

— Это я.

— Я догадалась. У меня на экране телефона светится твое школьное прозвище.

— Тогда зачем же ты… Послушай, Линда… — И Пэтти рассказала сестре о том, что произошло у нее в кабинете несколько минут назад. Говорила

она, торопясь и как бы оставляя за скобками те слова, которые сама сказала Лайле Лейн. — Нет, ну ты представляешь?! — возмущенно завершила она свою тираду и услышала, как Линда сперва тяжко вздохнула, а потом в очередной раз принялась рассуждать о том, что ей всегда было непонятно, как Пэтти вообще может работать с подростками. Пэтти возразила, что дело вовсе не в этом, что Линда не поняла самого главного, но сестра стояла на своем:

— Нет, как раз в этом! И все я прекрасно поняла! Ты все талдычишь — Лайла Лейн, Люси Бартон, Лайла то, Люси это… Да какое кому до них дело? — Линда немного помолчала и продолжила: — Ей-богу, Пэтти, разве удивительно, что племянница Люси Бартон оказалась такой дрянью? По-моему, уж это никого удивлять не должно.

— Почему ты так говоришь?

— Потому! Ты что, их не помнишь? Да все они просто *дрянь*, Пэтти! Господи, я сейчас вспомнила, что у них еще и родня соответствующая имелась… эти, как их, двоюродные братья и сестры, наверно. Мальчика, помнится, звали Абель. Ну и тип, скажу я тебе! Боже мой! Вечно торчал возле мусорного бака за кондитерской лавкой Четвина и в отбросах копался — искал, что бы

съесть. Неужели *настолько* голодный был? А если нет, то почему он постоянно этим занимался? Причем, помнится, без малейшего смущения. Между прочим, и Люси туда с ним ходила, это я тоже помню. Меня от этого трясти начинало. Да и сейчас, если честно, от одних воспоминаний об этом трясет. А сестрицу Абеля звали Дотти. Тощая такая. Ну да, Дотти и Абель Блейн. Вот ведь странно: я так хорошо их помню. Но разве такое можно забыть? До них я ни разу не видела, чтобы у нас кто-то в мусорном баке в поисках еды копался. Кстати, этот Абель был очень даже симпатичным мальчишкой.

— Боже мой… — пробормотала Пэтти, чувствуя, как жар отливает у нее от лица. Она помолчала немного, потом спросила: — Кажется, родители Люси у тебя даже на свадьбе были? На твоей *первой* свадьбе?

— Не помню.

— Да прекрасно ты все помнишь! Интересно, как им удалось оказаться у тебя *на свадьбе*?

— Потому что *она* их пригласила! Ей хотелось, чтобы пришел хоть кто-нибудь, кто станет с ней разговаривать. Ради бога, Пэтти, прекрати! Просто забудь об этом — и все. Я, например, уже забыла.

— Ну, ты, может, и забыла, однако фамилию первого мужа по-прежнему носишь. Ты ведь все еще Петерсон, да? Хотя ваш брак лишь год продержался.

— Да, господи, — взвилась Линда, — с какой стати я должна была возвращать эту дурацкую фамилию Найсли?! Никогда не могла понять, зачем ты ее сохранила! «Хорошенькие девушки Найсли[1]»! *Ужас какой!* Вот уж идиотское прозвище нам приклеили!

И ничего ужасного в этом прозвище нет, подумала Пэтти. А Линда продолжала:

— Ты, кстати, в последнее время нашу мамулю не навещала? Она в рай еще не собирается? И все такая же сумасшедшая?

— Я как раз сегодня хотела к ней заглянуть, — спокойно ответила Пэтти. — В последний раз была у нее несколько дней назад. Так что пора проверить, принимает она лекарство или нет.

— Мне абсолютно все равно, принимает она его или нет, — с вызовом заявила Линда, и Пэтти сказала, что ей это известно.

Потом Пэтти спросила:

— У тебя сегодня дурное настроение или что-то

---

**[1] Примечания: 1**

Nicely *(англ.)* — хорошо, мило, приятно. — *Здесь и далее прим. перев.*

случилось?

— Нет, у меня все отлично.

* * *

Поскольку была пятница, то Пэтти, оказавшись днем в городе, сперва заглянула в банк, чтобы обналичить чек, а потом, пройдя чуть дальше по тротуару, еще и в книжный магазин. И прямо напротив входа на центральном стенде увидела новую книгу Люси Бартон. «Боже мой», — пробормотала Пэтти. И почти сразу заметила в магазине Чарли Маколея. И чуть не повернула к выходу, потому что Чарли был единственным мужчиной — не считая Себастьяна, конечно, — которого Пэтти любила. Она действительно уже давно любила его. Собственно, он и раньше ей очень нравился, хотя знакомы они толком не были — так часто бывает в маленьких городках: люди вроде бы и знают друг друга в лицо, но знакомыми их назвать трудно. Все произошло во время похорон Сибби. Пэтти случайно обернулась, увидела Чарли, в одиночестве стоявшего в заднем ряду, и у нее в душе что-то вдруг перевернулось вверх тормашками — вот тогда она в него окончательно и влюбилась, да так до сих пор и была в него влюблена. В магазин Чарли пришел не один,

а со своим внуком, учеником начальной школы. Встретившись с Пэтти взглядом, Чарли улыбнулся, лицо его сразу просветлело, и он приветливо кивнул ей. «Привет, Чарли», — поздоровалась она и попросила у хозяина магазина книгу Люси Бартон.

Оказалось, что это мемуары.

Мемуары? Пэтти перелистывала книгу, но слова так и прыгали у нее перед глазами — уж больно близко был от нее Чарли. Кончилось тем, что она вытащила кошелек и пошла с книгой к кассе. Сунув купленную книгу под мышку и уже выходя из магазина, Пэтти еще раз оглянулась на Чарли, и он помахал ей. По возрасту Чарли Маколей вполне годился Пэтти в отцы, но выглядел, пожалуй, гораздо моложе, чем выглядел бы сейчас ее отец, если бы был жив. И все же Чарли был по крайней мере лет на двадцать старше Пэтти. В молодости он воевал во Вьетнаме. Как Пэтти об этом узнала, она и сама толком не помнила. Жену Чарли Маколея она тоже знала: на редкость некрасивая особа, простенькая и тощая как щепка.

* * *

Чтобы добраться домой из центра города, Пэтти нужно было миновать несколько улиц. Дом они когда-то покупали вместе с Сибби. Он был не слишком большой, но и не маленький, с красивым парадным крыльцом и симпатичным боковым крылечком, возле которого Пэтти выращивала пионы. Они сейчас распустились и клонились под тяжестью пышных цветов. А еще можно было полюбоваться ирисами, которые Пэтти посадила под окнами кухни. На них она как раз и смотрела, доставая из кухонного буфета коробку печенья — собственно, это было даже не печенье, а вафли «Нилла», и коробка уже наполовину опустела. Прихватив с собой коробку, Пэтти прошла в гостиную, плюхнулась в кресло и доела все вафли до единой. Затем вернулась на кухню, выпила стакан молока, позвонила матери и предупредила, что заедет к ней примерно через час. Мать, конечно, обрадовалась: «Ну и чудесно!»

Наверху в окна спальни вовсю светило солнце, заглядывая и в коридор. В солнечных лучах плясали пылинки. Пэтти заметила, что на полу тоже полно пыли, и кое-где она собралась маленькими комочками. «О, господи, — вздохнула Пэтти, са-

дясь на кровать, и снова повторила: — О, господи, господи…»

До Хэнстона ехать было миль двадцать, и пока Пэтти ехала меж полей, солнце по-прежнему светило вовсю. На некоторых полях виднелись небольшие ростки кукурузы, на других еще ничего не взошло, и они оставались коричневыми, а одно поле как раз распахивали. Затем Пэтти проехала мимо того места, где лет десять назад установили ветряные мельницы — теперь над горизонтом высилось больше сотни огромных белых ветряков, вид которых всегда прямо-таки завораживал Пэтти. Особенно она любила следить за движением их длинных белых «рук», месивших воздух с одинаковой скоростью, но не синхронно. Она припомнила, что против ветряных мельниц вроде бы возбужден судебный процесс, впрочем, подобные судебные процессы то и дело возникали в связи с нанесением экологического ущерба — то птицам, то оленям, то фермерским угодьям. Сама Пэтти в данном случае была на стороне этих огромных белых штуковин, тощие «руки» которых вразнобой, как у подвыпивших людей, мелькали на фоне небес, вырабатывая энергию. Потом ветряки остались позади, и снова вдоль дороги потянулись поля с

низенькой, едва взошедшей кукурузой и совсем юными ярко-зелеными ростками сои, только-только проклюнувшимися из земли. На этих полях — в пору летней спелости кукурузы — пятнадцатилетняя Пэтти позволяла мальчишкам тискать и целовать ее, и мальчишеские губы были какими-то странно распухшими, словно резиновыми, а их затвердевшие причиндалы, казалось, были готовы вот-вот прорвать штаны. Впрочем, она сама, задыхаясь от их неумелых ласк и поцелуев, подставляла шею и крепко к ним прижималась, но каждый раз — неужели действительно так и было? — чувствовала, что это невыносимо, невыносимо, невыносимо…

Наконец Пэтти добралась до Хэнстона — города, в котором она выросла и который, надо сказать, весьма мало изменился со времен ее детства. На улицах зажглись фонари, старомодные, черные, с лампочкой в коробке наверху. В городе имелось: два ресторана, магазин подарков, представительство инвестиционного банка и магазин одежды — все эти здания украшали одинаковые зеленые маркизы и черно-белые вывески. Чтобы добраться до матери, Пэтти пришлось проехать мимо того дома, в котором когда-то жила их семья. Это был красивый дом, красный с черными став-

нями и широким крытым крыльцом-верандой. В детстве Пэтти могла часами сидеть на этом крыльце рядом с матерью, свернувшись клубком и прижавшись к материному животу так, что невольно мяла ей платье, и слушать над головой ее голос и смех. Отец Пэтти прожил здесь всю жизнь, а через год после его смерти не стало и Сибби. Теперь дом принадлежал чрезвычайно многодетной семье, и Пэтти каждый раз отворачивалась, проезжая мимо. Маленький белый домик, в котором теперь жила ее мать, находился на другой стороне города, так что ей нужно было проехать Хэнстон насквозь, а потом еще одну милю по шоссе. Свернув на подъездную дорожку, Пэтти сразу заметила, что мать ждет ее, стоя у переднего окна и подглядывая в щель между занавесками. Потом, отпирая боковую дверь и входя в дом, она услышала стук материной палки. И, увидев мать, в очередной раз подумала, что та снова настолько же уменьшилась, насколько увеличилась она сама. «Господи, я же стала просто огромной!» — ужаснулась Пэтти. Подобные мысли приходили ей в голову каждый раз, когда она навещала мать.

— Привет, — сказала Пэтти и, наклонившись, поцеловала воздух возле материной щеки. Затем

выпрямилась и сообщила: — Я тут тебе кое-что из еды привезла.

— Никакой еды мне не нужно.

На матери был махровый халат, и она решительным движением затянула пояс потуже.

Пэтти вынула из пакета мясной рулет, капустный салат и картофельное пюре, сунула продукты в холодильник.

— Нужно все-таки хоть что-то есть.

— Ничего я не стану есть, пока одна здесь сижу. Может, останешься да поешь со мной? — Мать, задрав голову, умоляюще смотрела на Пэтти сквозь большие стекла очков, сползших ей на нос. — Ну, пожалуйста, а? — Пэтти на секунду зажмурилась и кивнула в знак согласия.

Пока она накрывала на стол, мать, устроившись в кресле и широко расставив ноги под распахнувшимся халатом, молча следила за ней, а потом заметила:

— До чего ж приятно с тобой повидаться! Ты ведь у меня совсем не бываешь.

— Я приезжала сюда три дня назад, — спокойно возразила Пэтти и отвернулась к кухонной стойке, потому что перед глазами у нее стояли сильно поредевшие волосы матери — можно сказать, уже и череп просвечивает, — а на душе и вовсе

кошки скребли. Наконец она вернулась к обеденному столу и, придвинув себе стул, решительно сказала: — Придется нам с тобой все-таки снова обсудить твой переезд в «Золотой лист». Хотя мы не раз об этом говорили, помнишь? — Мать медленно покачала головой. На лице у нее было явственно написано смущение. — Ты сегодня одевалась? — спросила Пэтти.

Мать потупилась и некоторое время внимательно изучала свои колени, едва прикрытые купальным халатом, потом вскинула на Пэтти глаза и заявила:

— Нет!

* * *

Со своим будущим мужем Пэтти познакомилась в Сент-Луисе на конференции, посвященной теме воспитания детей из малоимущих семей. Себастьян к этому ни малейшего отношения не имел, хотя тоже приехал сюда, но в качестве инженера-механика. Случайно они с Пэтти оказались соседями по гостиничным номерам. «И снова здравствуйте!» — воскликнула Пэтти, в очередной раз выходя в коридор одновременно с ним. Тем более накануне вечером они точно так же, то есть одновременно, входили — каждый

в свою дверь. Что в нем было особенного, она вряд ли смогла бы объяснить, но почему-то он вызывал у нее ощущение покоя и абсолютной безопасности. Она уже тогда начинала набирать вес из-за постоянного приема антидепрессантов, а кроме того, в ее жизни произошла одна неприятная история, когда она отменила собственную свадьбу всего за несколько недель до назначенного дня. Кстати, в те первые дни знакомства, когда они с Себастьяном всего лишь иногда перебрасывались парой слов в коридоре гостиницы, он даже ни разу толком не взглянул на нее. А вот Пэтти сразу оценила его приятную наружность — высокий рост, стройную фигуру, красивое продолговатое, хотя и довольно мрачное лицо, длинные, почти до плеч волосы, густые брови, практически сливающиеся на лбу в одну линию, и глубокие, прячущиеся в тени бровей глаза. Честно говоря, Себастьян ей *очень понравился.* Так что к концу конференции она раздобыла его электронный адрес, и с тех пор началась их невероятная переписка, которой она не забудет никогда в жизни. Всего через несколько недель он написал ей: *Пэтти, если ты хочешь, чтобы мы и впредь оставались друзьями, тебе необходимо кое-что узнать обо мне.* А потом, еще через

несколько дней, пояснил: *Со мной происходили ужасные вещи. Ужасные. Из-за них я стал не таким, как другие люди.* Он тогда жил в штате Миссури, и когда она написала ему и попросила приехать в Карлайл, штат Иллинойс, то страшно удивилась тому, что он сразу согласился. Ну, а потом они больше не расставались. Откуда ей тогда было знать — да она ничего и не знала, — что в течение всего детства Себастьяна насиловал отчим, а в результате даже теперь общение с людьми дается ему с огромным трудом? И все же вскоре после начала их совместной жизни он однажды очень внимательно посмотрел на Пэтти и вдруг стал подробно рассказывать ей о том, что с ним случилось, а потом признался: «Я люблю тебя, Пэтти, но заниматься с тобой *этим* не могу. Я вообще не могу *этим* заниматься, хотя мне бы очень хотелось». И она ответила: «Ничего страшного, я ведь *этого* тоже совершенно не выношу».

В первую брачную ночь, лежа в постели, они просто держались за руки. И впоследствии тоже никогда никаких других шагов не предпринимали. Хотя Себастьяна часто, особенно в первые годы их совместной жизни, преследовали страшные, мучительные сны. Он метался в постели, брыкался, сбрасывал на пол простыни и одеяла,

пронзительно кричал, очень пугая Пэтти. И она заметила, что во время этих сновидений он всегда бывал сексуально возбужден. Однако она никогда не забывала о том, что ей можно всего лишь погладить его по плечу или по лбу и постараться успокоить, шепнув на ушко: «Все хорошо, милый, все хорошо». Очнувшись, он остановившимся взглядом смотрел в потолок, крепко сжимая кулаки, а потом говорил Пэтти: «Спасибо тебе». И, уже повернувшись к ней лицом, все повторял: «Спасибо тебе, Пэтти, спасибо».

— Ну, рассказывай, рассказывай, как ты? Дай тобой надышаться, — говорила мать, засовывая в рот большой кусок мясного рулета.

— У меня все хорошо. Завтра вечером мы встречаемся с Анджелиной. Ее муж бросил. — Пэтти положила на ломоть мяса картофельное пюре, а сверху еще и кусок сливочного масла.

— Не знаю, о ком ты говоришь. — Мать отложила вилку и лукаво посмотрела на Пэтти.

— Об Анджелине. Одной из сестер Мамфорд.

— А-а-а, — протянула мать, медленно кивая, — теперь поняла. Их мать звали Мэри Мамфорд. Ну да, конечно. Так себе особа.

— Ничего не «так себе»! Анджелина — вообще великий человек. А ее мать мне всегда казалась

очень милой.

— Она и впрямь была *милая*, ничего не скажешь. Но в целом так себе. По-моему, родом она была из штата Миссисипи. А замуж вышла за богатенького сынка этих Мамфордов, и родила ему целый выводок девчонок, и денег кучу огребла.

Пэтти открыла рот, собираясь спросить у матери: разве она не помнит, что Мэри Мамфорд несколько лет назад, когда ей было уже за семьдесят, сама бросила своего богатого мужа? Но так и не спросила. И не стала рассказывать, как они с Анджелиной стали подругами — между прочим, как раз из-за *ухода их матерей из дома.*

«Мне тогда очень хотелось его убить, — признавался ей Себастьян, вспоминая о своем кошмарном детстве. — Нет, правда, больше всего мне хотелось его убить». «Ничего удивительного», — сказала Пэтти, а он прибавил: «И мать тоже». И Пэтти снова его поддержала: «И это тоже вполне естественно».

Пэтти окинула взглядом маленькую кухоньку матери. Там царила безупречная чистота, нигде ни пятнышка, а все благодаря Ольге. Эта женщина, чуть постарше Пэтти, приходила сюда два раза в неделю. И все же пластик на обеденном столе потрескался от старости, особенно на углах,

а занавески на окнах, когда-то голубые, совсем выцвели. А еще со своего места Пэтти видела на другом конце коридора в углу гостиной старое синее кресло-мешок, с которым мать даже по прошествии многих лет расставаться ни за что не желала.

А мать вовсю предавалась — в последнее время с ней это случалось особенно часто — воспоминаниям.

— Ах, какие танцы устраивали у нас в клубе! Боже мой! Как же там было весело! — И мать восхищенно качала головой.

Пэтти положила еще ломтик масла на горячее картофельное пюре, быстренько все это съела, отодвинула от себя тарелку и сказала:

— А Люси Бартон мемуары написала.

— Что ты сказала? — недопоняла мать, и Пэтти повторила.

— Да, я ее, пожалуй, помню. Они еще в гараже жили, а потом тот старик умер — понятия не имею, кем он им приходился, — и они в дом перебрались.

— В гараже? — удивилась Пэтти. — Так, значит, туда мы с тобой ходили? В *гараж*?

Мать ненадолго задумалась.

— Не знаю, не могу вспомнить. Помню только,

что она очень недорого брала за работу, вот я и пользовалась ее услугами. А шила она, кстати сказать, замечательно и никогда даже лишнего пятицентовика не просила. — Мать снова немного помолчала. — А знаешь, несколько лет назад я Люси по телевизору видела. Знаменитость! Она вроде бы какую-то книгу написала. Теперь в Нью-Йорке живет. Блеск! Трам-пам-пам.

Пэтти глубоко и несколько судорожно вздохнула. А ее мать снова потянулась за капустным салатом. При этом движении халат на ней совсем распахнулся, и Пэтти на мгновенье увидела в вырезе ночной рубашки ее плоскую высохшую грудь. Они посидели еще немного, потом Пэтти встала, убрала со стола и быстренько вымыла посуду.

— Давай-ка проверим, как ты принимаешь лекарства, — предложила она.

Мать лишь пренебрежительно отмахнулась. Тогда Пэтти принесла из ванной комнаты коробочку с несколькими отделениями, в каждом из которых лежала дневная порция материных медикаментов. Ей с первого взгляда стало ясно, что со времени ее последнего визита мать ничего не принимала, и она снова принялась объяснять важность каждого из назначенных средств. Мать

сказала: «Ладно, ладно, я приму», и взяла те таблетки, которые протянула ей Пэтти.

— Лекарства необходимо принимать регулярно, — внушала ей Пэтти, — иначе ты инсульт заработаешь. — О том, что некоторые из этих таблеток были якобы призваны замедлить у ее матери развитие старческой деменции, она решила даже не упоминать.

— Да не собираюсь я никакой инсульт зарабатывать! Хрен вам, а не инсульт!

— О'кей. Тогда я, пожалуй, пойду. Но скоро снова к тебе загляну.

— Ты оказалась лучшей, — призналась мать, когда Пэтти уже стояла в дверях. — Жаль только, что ты так располнела от этих «приносящих счастье» таблеток, но ты все еще хорошенькая. Уверена, что тебе уже пора.

И лишь бредя по подъездной дорожке к машине, Пэтти не выдержала и в полный голос простонала:

— О, боже мой!

* * *

Солнце село, а когда Пэтти проехала примерно половину пути и успела миновать знакомые ветряки, начала всходить полная луна. В ту ночь,

когда умер ее отец, тоже было полнолуние, и каждый раз, видя на небе полную луну, Пэтти думала, что, может, это отец смотрит на нее с небес. Отлепив пальцы от руля, она даже слегка помахала ему и прошептала: «Я люблю тебя, папа». И сразу же вспомнила о Сибби — в ее душе образы отца и мужа до некоторой степени сливались. Они оба сейчас были там, наверху, и оба смотрели на нее, и хотя ей было прекрасно известно, что луна — это сплошные камни и скалы, но в полнолуние ей всегда казалось, что ее любимые мужчины там, далеко в вышине. «Подождите меня», — прошептала она, потому что знала — она всегда это знала, — что после смерти они снова будут все вместе: она, ее отец и Сибби. «Спасибо, папа», — сказала она тихонько, потому что отец только что похвалил ее за постоянную заботу о матери. Теперь он стал щедр на похвалы — смерть подарила ему это качество.

Подъехав к дому, Пэтти с удовольствием отметила, как уютно он выглядит благодаря свету в окнах, — привычку оставлять свет в доме включенным она обрела, живя в одиночестве. И все же, когда она положила сумочку на столик в прихожей и прошла в гостиную, то вновь почувствовала себя ужасно одинокой. Ей часто

казалось, что она ведет ненастоящую, призрачную жизнь, а сегодняшний день и вовсе выдался на редкость неудачным. Эта Лайла Лейн всю душу ей перевернула! А что, если она на нее донесет, расскажет директору, что Пэтти Найсли назвала ее куском дерьма? Похоже, она вполне на такое способна. Она, пожалуй, даже *готова* это сделать. А Линда, сестра, ничем Пэтти так и не помогла. Звонить другой сестре, которая жила в Лос-Анджелесе, и вовсе не имело смысла: у той вечно не хватает времени на телефонные разговоры. Ну, а мать… ох уж эта ее мать…

— Толстуха Пэтти, — громко произнесла Пэтти.

Потом присела на кровать и огляделась: дом казался ей немного незнакомым, что было — как она давно поняла — весьма неприятным предзнаменованием. Во рту у нее все еще чувствовался вкус мясного рулета, и она решительно сказала себе: «Хватит, Толстуха Пэтти, давай-ка лучше ко сну готовиться», прошла в ванную комнату, вычистила зубы шелковой нитью, а потом еще зубной щеткой, тщательно умылась, ночной крем на лицо нанесла — и тогда ей стало чуточку полегче. Затем она попыталась отыскать свой телефон, раскрыла сумку и обнаружила там купленную днем книжку Люси Бартон. Присев

на кровать, она стала рассматривать обложку. На обложке было изображено городское здание, окутанное сумерками, во многих окнах которого горел свет. Пэтти начала читать и через несколько страниц невольно воскликнула: «Ахты-боже-мой! Господи!»

* * *

На следующее утро в субботу Пэтти пропылесосила сперва верхний этаж дома, а потом и нижний, затем перестелила постель, постирала, перебрала почту и выбросила бесчисленные каталоги и рекламные брошюры. Покончив с домашними делами, она поехала в город и купила там продукты и цветы. Она давно не покупала цветов просто так, чтобы поставить их дома. И весь день у нее было на редкость приятное чувство, как в детстве, когда съешь что-нибудь особенно вкусное — любимое печенье или желтую ириску, — и потом еще долго ощущаешь чудесное послевкусие каждой складочкой во рту, каждой трещинкой на языке. Пэтти понимала: это детское ощущение сладости и нежности исходит от прочитанной книги Люси Бартон. Вспоминая о ней, Пэтти то и дело невольно качала головой и бормотала себе под нос: «Ничего себе!

Ах-ты-боже-мой!»

Днем она позвонила матери. Трубку сняла Ольга, и Пэтти попросила ее, если можно, приходить к матери каждый день, а не два раза в неделю. Женщина ответила, что ей нужно подумать, а Пэтти сказала, что прекрасно ее понимает. Потом она попросила Ольгу передать трубку матери и услышала, как та спрашивает: «Кто это?» Пэтти быстро проговорила: «Это я, Пэтти. Твоя дочь. Я люблю тебя, мама».

И, помолчав пару секунд, мать откликнулась:

— Ну, так и я тебя тоже очень люблю.

После этого Пэтти пришлось прилечь. Она даже вспомнить не могла, когда в последний раз говорила матери, что любит ее. Хотя в детстве она часто произносила эти слова. Возможно, она произнесла их и в то утро, когда мать согласилась с тем, что Пэтти больше не обязательно состоять в отряде гёрл-скаутов. Пэтти тогда только начинала учиться в старших классах школы, и мать ее поддержала: «Ох, Пэтти, но ведь это совершенно нормально, что ты сама теперь будешь решать подобные вопросы, ты у нас уже взрослая девочка». Она сказала это, стоя посреди кухни и протягивая Пэтти школьный завтрак в бумажном мешочке, и выглядела точно так же, как и всегда.

Но в тот день Пэтти вернулась из школы раньше обычного, потому что у нее страшно разболелся живот — у нее тогда часто бывали колики. Войдя в дом, она вдруг услышала очень странные звуки, доносившиеся из родительской спальни. Эти звуки издавала, похоже, мать — она то ли плакала, то ли вскрикивала, задыхаясь и повизгивая. Еще там слышались шлепки, словно ладонью хлопали по голому телу. Перепуганная Пэтти рысью бросилась наверх и, ворвавшись в спальню, увидела мать верхом на мистере Делани — господи, да ведь он преподавал в их классе испанский язык! — и прямо над ним раскачивались в воздухе материны огромные обнаженные груди, а он, шлепая мать по заду, тянулся ртом к этим голым грудям, брал в рот соски, и мать пронзительно вскрикивала. У Пэтти на всю жизнь осталось в памяти и дикое выражение на лице матери, и ее бессмысленный взгляд, и эти вопли, и эти огромные голые груди, и самым ужасным было то, что мать ее *видела*, она *смотрела прямо на нее*, но все же не могла совладать с собой, не могла оборвать те жуткие вопли, что вырывались у нее изо рта.

Пэтти резко повернулась и убежала в свою комнату. А через несколько минут услышала шаги мистера Делани, спускавшегося по лестни-

це. Потом к ней вошла мать, уже напялившая домашний халат, и сказала: «Пэтти, богом клянусь, ты меня поймешь, когда станешь старше, но сейчас ты никому, ни одной живой душе не должна рассказывать о том, что видела».

А Пэтти думала о том, что и представить себе не могла, какие у ее матери большие груди, пока не увидела, как они без упряжи раскачиваются над тем мужчиной.

В течение нескольких дней их дом, некогда такой мирный, тихий и заурядный — хотя сама Пэтти так больше не считала, — сотрясали чудовищные скандалы. Пэтти, впрочем, действительно никому не сказала о том, что видела — да у нее и нужных слов для этого не нашлось бы, — но в класс мистера Делани она больше не вернулась. А потом — ох, это и впрямь стало полной неожиданностью! — ее мать не выдержала и после бурного объяснения с мужем переехала в крошечную квартирку в городе. Пэтти лишь однажды ездила туда ее навестить, и там в углу уже стояло это синее кресло-мешок. Весь город судачил об интрижке ее матери с мистером Делани, и эти пересуды вызывали у Пэтти ощущение, словно ей отрезали голову, и теперь ее голова и тело движутся в противоположных

направлениях. Более странного ощущения она никогда не испытывала, и что самое ужасное, оно никак не желало ее покинуть. Пэтти и ее сестры видели, как плакал отец, видели, как он ругался и сыпал проклятьями, а потом его лицо будто окаменело. Раньше подобные проявления чувств ему совершенно не были свойственны: он никогда не плакал, не ругался, не каменел лицом. И теперь, когда он стал таким, Пэтти казалось, будто их семья некогда мирно плывшая в одной лодке по спокойным водам озера, попросту исчезла, растворилась в воздухе, превратилась в нечто невообразимое. А пересуды в городе продолжались. И Пэтти, поскольку она была самой младшей, пришлось пережидать это дольше всех. Перед рождественскими каникулами мистер Делани уехал из города, и мать Пэтти осталась одна.

Когда Пэтти начала ходить с мальчишками из своего класса на кукурузные поля, да и потом, гораздо позже, когда у нее появились настоящие бойфренды, она, занимаясь *этим*, всегда видела одно и то же: ее мать, голая, без рубашки и бюстгальтера, нависает над тем человеком, и ее огромные груди раскачиваются в воздухе, а он хватает их ртом… Нет, это было невыноси-

мо! И Пэтти страшно мучилась, и собственное сексуальное возбуждение всегда вызывало у нее чудовищное, ужасавшее ее саму чувство стыда.

* * *

Анджелина по-прежнему казалась стройной и моложавой, хоть и была на несколько лет старше Пэтти. Но, мельком увидев себя и Анджелину в зеркале, когда они зашли в кафе к Сэму, Пэтти подумала, что сейчас, пожалуй, она выглядит значительно моложе Анджелины — похоже, та была до предела измотана. Пэтти хотела сразу начать рассказывать о книге Люси Бартон, но не успели они усесться за столик, как зеленые глаза подруги наполнились слезами, и Пэтти, наклонившись над столом, погладила ее по руке. Анджелина подняла палец, призывая помолчать, через минуту сумела взять себя в руки и, вновь обретя способность говорить, выпалила:

— Я их *обоих* ненавижу! — Пэтти тут же сказала, что прекрасно ее понимает, и Анджелина продолжила: — Представляешь, он мне заявил: «Ты влюблена в родную мать»! Да я просто онемела от изумления. Только смотрела на него и слова вымолвить не могла…

— Боже мой… — вздохнула Пэтти и уселась

поудобнее.

Несколько лет назад семидесятичетырехлетняя мать Анджелины покинула родной город — и собственного мужа! — и уехала в Италию, чтобы выйти замуж за человека почти на двадцать лет ее моложе. Пэтти искренне сочувствовала Анджелине. Но в данную минуту ей хотелось сказать: «Послушай! Мать обращалась с Люси Бартон ужасно, а отец — о господи, ее отец… И все-таки Люси их *любила*! Да, она любила свою мать, и та тоже ее любила! У всех нас в семейных отношениях полная неразбериха, хоть мы и стараемся изо всех сил, но любим мы друг друга как-то *неправильно*, и, в общем, ничего страшного в этом нет…»

Пэтти страшно хотелось поделиться этими мыслями, но она чувствовала, какими жалкими — почти глупыми — могут показаться Анджелине ее слова. Она промолчала и стала слушать рассказы подруги: о ее детях, которые учатся в колледжах и вот-вот вылетят из родного гнезда; о ее матери, живущей в Италии и пишущей дочерям электронные письма (у Анджелины было еще четыре сестры); о том, что одна лишь она, Анджелина, до сих пор так и не навестила мать, но все же подумывает об этом и, скорее всего,

съездит к ней этим летом.

— Да, съезди, конечно! — с энтузиазмом откликнулась Пэтти. — Обязательно съезди. По-моему, тебе давно следовало это сделать. Понимаешь, Анджелина, она ведь уже *совсем старая.*

— Да, я понимаю.

Пэтти было ясно, что больше всего подруге хочется рассказать о себе самой, но ее, Пэтти, это почему-то совершенно не раздражало. Она отметила это про себя, и все. И потом, она отлично понимала Анджелину. Ведь на самом деле, думала она, каждый больше всего заинтересован в себе самом. Исключение, пожалуй, составлял ее Сибби: его больше всего интересовала именно она, Пэтти, да и он ей тоже был безумно интересен. И это — любовь человека, с которым ты делишь жизнь, — было для каждого из них, словно вторая кожа, защищавшая их от внешнего мира.

Лишь через некоторое время, когда Пэтти допивала второй бокал белого вина, ей все-таки удалось рассказать Анджелине о Лайле Лейн, да и то не все — лишь о том, что, по словам ученицы, в школе ее прозвали «Толстухой Пэтти» и считают девственницей. И только после этого она решилась перейти к мемуарам Люси Бартон.

— А знаешь, Люси Бартон написала… — начала она, но Анджелина ее прервала:

— Ох, не слушай всякую чушь! — воскликнула подруга. — Ты такая же хорошенькая, как и раньше, Пэтти. И тебе, ей-богу, никто не мог дать такого прозвища.

— Очень даже мог!

— Ну, я, во всяком случае, от своих ребят ничего подобного не слышала, а ведь мне целыми днями приходится их болтовню слушать. И вообще, Пэтти, ты еще вполне можешь познакомиться с каким-нибудь хорошим мужчиной. Ты же такая милая. Правда-правда.

— Чарли Маколей — вот единственный мужчина, который меня интересует, — призналась вдруг Пэтти. А все из-за того, что она слишком много выпила.

— Ты что, Пэтти, он же старик! И потом, он совершенно безнадежен!

— С чего ты решила, что он совершенно безнадежен?

— Ну, он ведь во Вьетнаме воевал и вообще… И потом, у него, знаешь ли, ужасное ПТСР[2].

— Правда?

---

**[2] Примечания: 2**
Посттравматическое стрессовое расстройство.

Анджелина слегка пожала плечами.

— Мне так сказали. Не помню, правда, кто. Это давно было. Нет, не помню. А его жена… Хотя, в общем, шанс у тебя есть.

Пэтти засмеялась.

— Мне, кстати, его жена всегда казалась очень милой.

— Ох, да ладно тебе! Тощая старуха и вечно на взводе! А что касается Чарли, то уверяю тебя: ты его запросто подцепить сумеешь!

«Лучше б я ей вообще ничего не говорила», — подумала Пэтти.

Но Анджелина, похоже, сомнений подруги не заметила. Ей хотелось поговорить с Пэтти о себе — и о своем муже, разумеется.

— Я ему тут как-то вечером позвонила и напрямик спросила: «Ты вообще-то собираешься со мной разводиться?» А он в ответ: «Нет, не собираюсь!» Представляешь? Ну и я перестала пока эту тему поднимать. Не понимаю, почему он вроде бы и ушел от меня, а разводиться не хочет? Ох, Пэтти!

На парковке они обнялись, поцеловались и еще немножко постояли, крепко обнявшись. Потом Анджелина прыгнула в машину и крикнула в окошко:

— Я тебя люблю!
— И я тебя, — сказала Пэтти.

Обратно Пэтти ехала очень осторожно. От выпитого вина все ее чувства были особенно обострены, хотя вообще-то пить ей не полагалось, поскольку она постоянно принимала антидепрессанты. Зато сейчас у нее было такое ощущение, словно душа и разум настолько расширились, что способны одновременно пропустить сквозь себя множество самых разных вещей. Она вспомнила Себастьяна и подумала: интересно, знал ли еще кто-нибудь о том, чего не знала даже она, пока Сибби сам ей об этом не рассказал — обо всех тех невообразимых ужасах, которые с ним творили в детстве? Она только сейчас вдруг задумалась о том, было ли это заметно. Да, кое-что наверняка было. И Пэтти вспомнила, как однажды, когда они с мужем выходили из магазина одежды, она случайно услышала, как один молодой продавец говорит другому: «Он же при ней, словно собака».

В своих мемуарах Люси Бартон высказала мысль о том, что люди всегда стремятся почувствовать собственное превосходство по отношению к кому-то другому, и Пэтти была полностью с Люси согласна.

Сегодня вечером луна оказалась почти у Пэтти за спиной. Она все время видела ее в зеркало заднего вида и даже несколько раз ей подмигнула. А потом почему-то вдруг вспомнила свою сестру Линду. И ее слова о том, что она не может понять, как Пэтти может работать с подростками. Ну что ж, покачала головой Пэтти, Линда никогда этого не понимала. Этого никто никогда не понимал, кроме Себастьяна. После его смерти Пэтти пришлось посетить психотерапевта. Она надеялась, что сможет все рассказать этой женщине-врачу. Но психотерапевт, одетая в темно-синий блейзер и сидевшая за большим письменным столом, сразу стала выяснять у Пэтти, как она отнеслась к разводу родителей. Плохо, ответила Пэтти, а потом все никак не могла найти какой-нибудь предлог, чтобы больше к этой женщине не ходить. И в итоге попросту солгала, сказав, что подобные визиты ей больше не по карману.

Подъезжая к своему дому, где, как всегда, горел специально оставленный ею свет, Пэтти вдруг осознала, что лучше всех ее «понимала» книга Люси Бартон. Да-да, именно книга! Она понимала ее, точно была живым существом. Потому-то после ее прочтения Пэтти и чувствовала во рту тот же сладкий вкус, как в детстве, от желтых

ирисок. Ведь и у Люси Бартон был собственный стыд. О да, стыда в ее жизни хватало с избытком! Однако она сумела все это преодолеть, подняться над этим. «Вот именно!» — буркнула Пэтти себе под нос, выключила двигатель, но потом еще немного посидела в машине, прежде чем вылезти и пойти домой.

* * *

Утром в понедельник Пэтти оставила у классного наставника записку для Лайлы Лейн, в которой просила девочку после уроков зайти к ней, и очень удивилась, когда уже на следующей перемене увидела ее на пороге своего кабинета.

— Здравствуй, Лайла. Проходи, пожалуйста. Садись.

Девушка вошла в кабинет, опасливо поглядывая на Пэтти, и почти сразу заговорила:

— Голову даю на отсечение — вы ведь хотите, чтобы я извинилась, да?

— Нет, ничего подобного. Я попросила тебя зайти ко мне сегодня, потому что в прошлый твой приход я назвала тебя куском дерьма.

Лайла явно смутилась, и Пэтти повторила:

— Когда ты на той неделе ко мне заходила, я назвала тебя куском дерьма, не так ли?

— Правда? — удивилась девушка. И медленно села.

— Правда. Назвала.

— Я не помню. — В растерянном голосе Лайлы не осталось ни капли былой воинственности.

— После того как ты спросила, почему у меня нет детей, и сказала, что я девственница, и назвала меня Толстухой Пэтти, я назвала тебя куском дерьма.

Девушка с подозрением посматривала на нее и молчала.

— Ну, так вот: ты не кусок дерьма. — Пэтти сделала паузу, выжидая, но Лайла по-прежнему молчала, и Пэтти продолжила: — Я ведь выросла в Хэнстоне, и мой отец работал управляющим на ферме по производству кормовой кукурузы, так что денег нам хватало. В общем, как ты бы сказала, мы были в шоколаде. И я не имею никакого права называть куском дерьма ни тебя, ни кого бы то ни было еще!

Лайла пожала плечами.

— На самом деле я и есть кусок дерьма, — сказала девушка.

— Нет, *ничего подобного.*

— Но вы, по-моему, тогда очень на меня рассердились.

— Естественно, я рассердилась. Ты вела себя на редкость грубо. И все равно я не имела права оскорблять тебя.

Девушка устало на нее посмотрела; под глазами у нее были темные круги.

— На вашем месте я бы не стала так из-за этого переживать. Я бы постаралась вообще больше об этом не думать.

— Послушай, — сказала Пэтти. — У тебя отличные оценки. С такими баллами ты легко могла бы поступить в колледж, если б захотела. Ты хочешь дальше учиться?

На лице Лайлы отразилось невнятное удивление. И она, пожав плечами, пробормотала:

— Не знаю…

— Мой муж тоже всю жизнь считал себя куском дерьма.

Девушка вскинула на нее глаза. Помолчала немного и робко сказала:

— Правда?

— Правда. Из-за того, что с ним когда-то случилось.

Лайла долго смотрела на Пэтти, и ее огромные глаза были печальны. Потом она протяжно вздохнула и сказала:

— О господи, ну и дела. Вы меня, в общем, про-

стите. Мне очень жаль, что я такие гадости про вас говорила. Это все самая что ни на есть дерьмовая чушь.

— Ничего, тебе ведь всего шестнадцать.

— Пятнадцать.

— Тем более. Тебе пятнадцать, а я гораздо старше, значит, именно я вела себя неправильно.

И тут Пэтти с изумлением заметила, что по щекам Лайлы катятся крупные слезы и она смахивает их рукой.

— Я просто устала, — сказала девушка. — Я очень устала.

Пэтти встала, подошла к двери, закрыла ее и вернулась к Лайле.

— Перестань, милая, лучше послушай меня. Я могу кое-что для тебя сделать, девочка. Могу, например, помочь тебе поступить в колледж. Деньги найдутся. Оценки у тебя очень хорошие, как я уже говорила. Я просто удивилась, когда увидела, какие хорошие у тебя оценки. Да и другие показатели у тебя очень высокие. У меня вот никогда не было таких хороших оценок, но в колледж я все-таки поступила, потому что мои родители могли себе это позволить. А теперь я могу помочь тебе продолжить образование.

Девушка, закрыв лицо руками, уронила голо-

ву на стол. Плечи ее вздрагивали. Лишь через несколько минут она смогла поднять залитое слезами лицо и, глядя на Пэтти, сказала:

— Вы уж извините меня. Но когда со мной кто-нибудь по-хорошему… Господи, да меня это просто убивает!

— Ничего, все нормально.

— Нет, не нормально! — И Лайла снова заплакала, теперь уже не сдерживаясь и громко всхлипывая. — Господи, да что же это такое! — сказала она, обеими руками размазывая льющиеся слезы.

Пэтти подала ей бумажную салфетку.

— Все у нас с тобой будет хорошо, точно тебе говорю. Все будет очень даже хорошо.

* * *

Крыльцо почтового отделения было залито ярким солнечным светом. Пэтти поднялась по ступенькам и почти сразу увидела внутри Чарли Маколея.

— Привет, Пэтти, — кивнул он.

— Привет, Чарли Маколей, что-то мы в последнее время то и дело с тобой встречаемся. Как поживаешь?

— Живу помаленьку. — И он направился к двери.

Пэтти открыла свой почтовый ящик, вытащила из него корреспонденцию, и ей показалось, что Чарли уже ушел. Но, выйдя на крыльцо, она увидела, что он все еще сидит на ступеньке, и, сама себе удивляясь — хотя, в общем, ничего особенно удивительного в этом не было, — присела с ним рядом.

— Ого, — сказала она, — подняться-то я, пожалуй, теперь и не смогу.

Ступенька была цементная и холодная как лед; Пэтти чувствовала этот холод даже сквозь брюки, хотя солнце и светило вовсю.

— Ну так и не вставай, — пожал плечами Чарли. — Давай просто посидим.

Позднее, через много лет, Пэтти будет перебирать в памяти воспоминания об этом дне — как они с Чарли сидели на ступеньках крыльца, и обоим казалось, что они словно выпали из времени; как на той стороне улицы за скобяной лавкой стоял какой-то дом, выкрашенный голубой краской, и вся его боковая стена была залита полуденным солнцем; как она тогда вдруг вспомнила те белые ветряные мельницы, такие высокие, с длинными худыми руками, которые хоть и вращались постоянно, но всегда в разные стороны, лишь изредка случалось, что две-три из

них начинали вращаться в унисон, синхронно вздымая в небо длинные лопасти.

А тогда Пэтти и Чарли какое-то время сидели молча, потом он спросил:

— Как поживаешь, Пэтти? Нормально?

— Да, у меня все нормально. Все хорошо. — Она повернулась и посмотрела на него. Ей показалось, что глаза у Чарли такие невероятно глубокие, словно смотрят не на тебя, а куда-то в себя, вглубь, навсегда отвернувшись от мира.

Они еще немного помолчали.

— Ну да, ты ведь девушка со Среднего Запада, а значит, в любом случае скажешь, что у тебя все хорошо. Хотя, может, и не всегда твои дела так уж хороши.

Пэтти ничего ему на это не ответила. Она смотрела на него и видела, что чуть повыше кадыка у него торчит несколько седых волосков, явно пропущенных во время бритья.

— Ты, конечно, вовсе не обязана рассказывать мне, хороши твои дела или нет, — произнес Чарли, глядя прямо перед собой. — И я, разумеется, расспрашивать тебя не собираюсь. Я просто хотел сказать, что иногда… — он снова повернулся, посмотрел ей прямо в глаза, и Пэтти увидела, что глаза у него светло-голубые, — …иногда бывают

моменты, когда в жизни у тебя далеко не все так хорошо, как ты стараешься показать. Уж я-то, черт побери, точно знаю, что в жизни всякое бывает.

Ох, как ей хотелось что-то ему ответить, как хотелось накрыть его руку своей! Ведь это о себе он сейчас говорил. «Ох, Чарли, я так тебя понимаю» — вот что хотелось ей сказать, но она продолжала молчать. Так они и сидели рядышком на крыльце. Мимо по Мейн-стрит проехала машина, потом еще одна. Пэтти наконец не выдержала:

— А Люси Бартон мемуары написала.

— Люси Бартон? — Чарли, прищурившись, смотрел прямо перед собой. — Ну да, ребятишки Бартон, господи, как же, помню, помню. И того бедолагу помню, самого старшего из них… — Он даже головой слегка покачал. — Боже мой, вот ведь не повезло ребятам! Господи, ты боже мой, как же им не повезло! — Он посмотрел на Пэтти. — Наверное, это очень грустная книга?

— Вовсе нет. По крайней мере мне она грустной не показалась. — Пэтти немного подумала, потом пояснила: — Мне после нее даже как-то легче стало, и я не такой одинокой себя почувствовала.

Чарли покачал головой.

— О нет. Нет, мы всегда одиноки.

Они еще довольно долго сидели, храня дружелюбное молчание, а солнце изливало на них свои горячие лучи.

— И все-таки мы *не всегда* одиноки, — заметила Пэтти.

Чарли повернулся, посмотрел на нее, но так ничего и не сказал.

— Могу я спросить тебя? Люди действительно считали моего мужа странным?

Чарли снова немного помолчал, словно обдумывая ответ.

— Возможно. Только я в последнюю очередь узнаю о том, что думают здешние жители. По-моему, Себастьян был очень хорошим человеком. Страдальцем. Да, он очень страдал.

— О да. Он очень страдал, — кивнула Пэтти.

— Мне очень жаль, что это так.

— Я знаю, что тебе действительно жаль.

Солнце щедро плеснуло целую волну яркого света на тот голубой дом, что виднелся из-за скобяной лавки.

Прошло довольно много времени, прежде чем Чарли снова повернулся, посмотрел на Пэтти и открыл было рот, явно собираясь что-то сказать, но, видно, передумал: покачал головой и снова закрыл рот. И Пэтти почувствовала — хо-

тя, конечно, не могла быть полностью в этом уверена, — что ей понятно, какие слова чуть не сорвались у него с языка.

И, понимая это, она легко и ласково коснулась его руки, и они остались сидеть рядом на солнышке.

# Вдребезги

Когда Линда Петерсон-Корнелл увидела женщину, которая целую неделю будет жить у них дома, она подумала: «О, это как раз то, что надо». Женщину звали Ивонна Таттл, а привела ее к ним еще одна участница фотовыставки, Карен-Люси Тот, которая молча стояла рядом с Ивонной и ждала, пока та познакомится с Линдой. Ивонна была очень высокая, с волнистыми каштановыми волосами до плеч, и, пожалуй, лет десять назад ее легко можно было бы назвать хорошенькой. Но теперь голубизна ее глаз успела несколько померкнуть, на лице появились первые морщинки, а под глазами пролегли темные круги. И потом, думала Линда, эта Ивонна явно злоупотребляет косметикой. Столько краски на лице сорокалетней женщины — самой Линде было пятьдесят пять — это же вульгарно. А дешевые сандалии на пробковой танкетке? Во-первых, они ей не идут, а во-вторых, делают ее еще выше ростом, хотя куда уж выше. По этим сандалиям Линда легко догадалась, что юность Ивонны, скорее всего, прошла в бедности. Обувь всегда тебя выдаст!

Дом Линды и Джея Петерсон-Корнеллов окружал сад, где стояли две скульптуры Александра Колдера — обе были помещены по одну сторону от большого ярко-голубого бассейна. В самом доме, в гостиной, на стене висели две картины Пикассо и Эдварда Хоппера. И в дальнем конце широкого покатого коридора, ведущего в гостевые комнаты, имелся еще ранний Филипп Густон[3].

— Идемте, — пригласила Линда и пошла вперед.

Ивонна и Карен-Люси последовали за ней по коридору, плавно огибавшему угол и выходившему к довольно длинному, застекленному переходу, за которым и находилась гостевая комната. Линда кивком дала служанке понять, что та свободна, и теперь молча ждала, что Ивонна оценит

---

**[3] Примечания: 3**

Александр Колдер (1898–1976) — американский скульптор, известен замысловатыми фигурами из проволоки и так называемыми мобилями — кинетическими скульптурами, которые приводятся в движение ветром или электричеством.

Пабло Пикассо (1881–1973) — французский живописец, по происхождению испанец, исповедовавший несколько направлений художественного творчества, в частности, являлся основоположником кубизма (вместе с Ж. Браком). Работал также как график, скульптор и керамист.

Эдвард Хоппер (1882–1967) — американский художник, один из крупнейших урбанистов XX века.

Филипп Густон (наст. имя Ф. Гольдштейн) (1913–1980) — американский художник. Родился в семье еврейских эмигрантов, выходцев из России (Одесса). Выразитель идей абстрактного экспрессионизма.

обстановку и выскажет свое мнение. Но Ивонна тоже молчала и все продолжала неуверенно озираться, по-прежнему сжимая ручку чемодана на колесиках, а ведь их дом, как казалось Линде — даже если кто-то и не знает, чьи картины висят здесь на стенах (странно все-таки, что Ивонна, фотограф, не узнает работы таких знаменитых авторов!), — и сам по себе, безусловно, заслуживал не просто внимания, но и самых лестных комментариев. Несколько лет назад дом обновили и в значительной степени перестроили. Архитектор, можно сказать, всю душу в него вложил. Стены гостевой комнаты, например, были целиком из стекла.

— А где же дверь? — наконец спросила Ивонна.

— А двери здесь нет, — сказала Линда.

Хотя могла бы и пояснить, что Ивонне нет необходимости беспокоиться: никто ее личное пространство не нарушит, поскольку они с мужем обитают исключительно наверху, в передней части дома. К тому же на заднюю часть их дома и на окружающий ее сад не выходит ни одно соседское окно. Но ничего этого Линда говорить не стала. Вместо этого она молча продемонстрировала Ивонне гостевую ванную комнату в форме буквы

«V», находившуюся напротив и также лишенную каких бы то ни было дверей или перегородок. В ней не было ни душевой кабины, ни хотя бы занавески. Шланг с насадкой для душа просто торчал из стены. Пол выложили плиткой, чтобы лучше стекала вода.

— Никогда ничего подобного не видела, — призналась Ивонна, и Линда объяснила, что все так говорят.

Все это время Карен-Люси Тот безмолвно стояла рядом с Ивонной. Карен-Люси считалась на летних фотофестивалях самым известным автором и приезжала сюда каждый год. Линда знала, что именно Карен-Люси просила устроителей фестиваля дать возможность Ивонне Таттл участвовать в нем, а также позволить ей провести несколько открытых уроков для желающих. Устроители дали согласие, хотя портфолио Ивонны и не произвело на них особого впечатления: здесь обычно выставлялись работы очень высокого уровня. Однако потерять Карен-Люси никому из устроителей не хотелось: студенты ее просто обожали, а ее работы были всем хорошо известны. Немаловажен также был и тот факт, что три года назад муж Карен-Люси покончил с собой, бросившись с верхнего этажа отеля «Ше-

ратон» в Форт-Лодердейле. Так что теперь ей, по мнению Линды, прощалось все, в том числе и определенная невежливость. Например, она, Линда, только что спросила у Карен-Люси: «Вы ведь тоже никогда прежде у нас в доме не бывали, не так ли?», и Карен-Люси — она была такая же высокая, как Ивонна, и волосы у нее тоже были волнистые и темно-каштановые, так что женщины, как показалось Линде, вполне могли бы быть сестрами — лишь буркнула в ответ со своим жутким акцентом типичной жительницы Алабамы: «Нет, никогда».

Почти сразу после знакомства Ивонна и Карен-Люси ушли, и Линда, глядя им вслед из окна кухни, заметила, что они оживленно беседуют на ходу — наверняка обо мне говорят, догадалась она. Линда завидовала Карен-Люси — она и сама прекрасно это понимала и даже не пыталась себя сдерживать, — потому что та была знаменита, бездетна и по-прежнему хороша собой, а теперь еще и мужа лишилась. Иногда Линде очень хотелось, чтобы ее собственный муж, умственные способности которого некогда столь сильно ее впечатлили, взял бы и тоже куда-нибудь исчез.

* * *

Их городок, в котором каждое лето проходил фестиваль фотоискусства, находился примерно в часе езды от Чикаго. В городке имелись: библиотека, церковь, магазин скобяных изделий, ярко-красное кирпичное здание, где в витрине в ряд были выставлены каменные кувшины, а также два кафе, три ресторана и один бар, где по вечерам часто играла живая музыка. Дома здесь, особенно в центре, были большие, старые и ухоженные. Летом у их парадных дверей теснились горшки с геранью и петуниями. Деревья тоже были большие и старые — в основном высокие дубы и черные грецкие орехи, а еще повсюду встречались цветущая гледичия и виргинская черемуха. Город утопал в зелени, и когда в парке или на школьной площадке не играли шумливые дети, казалось, можно было услышать, как деревья шепотом переговариваются друг с другом, и порой в этот тихий разговор вплетался легкий звон, издаваемый остроконечными листьями ясеня. Здание частной средней школы, которая обанкротилась несколько лет назад и была вынуждена закрыться, подходило — хотя бы частично — для проведения ежегодных фотовыставок. Однако

добраться до бывшей школы было непросто: приходилось довольно долго петлять по тропинкам среди беспорядочно разросшихся, точно в сказке о спящей красавице, кустов и деревьев. Да и в облике самого этого зеленого городка проглядывало что-то волшебное, о чем Ивонна Таттл тут же и сообщила Карен-Люси Тот, которая с ней полностью согласилась. В этот момент они как раз подходили к зданию бывшей школы, где был устроен прием по случаю открытия фестиваля и фотовыставки.

Джой Гунтерсон, директор фестиваля, маленькая и поразительно худая женщина с пышной шапкой черных вьющихся волос, поблагодарила Ивонну за желание участвовать в фестивале и сказала, что будет рада включить в круг своих друзей любого из друзей Карен-Люси. Ивонне, правда, показалось, что во время их разговора Джой Гунтерсон странно возводила очи куда-то вверх, к потолку, и когда Джой отошла в сторону, спросила у Карен-Люси, в чем дело, и та ответила: «О, ты потом непременно мне напомни! Я тебе кое-что расскажу», потому что в этот момент к ним бросилась женщина, одетая в стиле 60-х годов: шляпа-«коробочка», короткое пальтишко и маленькая дамская сумочка в тон туфлям на вы-

соком каблуке, — и стала обнимать Карен-Люси. И лишь через некоторое время до Ивонны дошло, что это вовсе не женщина, а мужчина.

— Я ее обожаю, нашу Карен-Люси, — сообщил Ивонне этот любвеобильный тип, а Карен-Люси послала ему воздушный поцелуй.

— Ты просто душка, милый! Ты мой самый *любимый* дружочек!

— Вы похожи, как сестры, — заметил «дружочек», приглядываясь к ним обеим. Сквозь слой грима у него на лице просвечивала тщательно выбритая щетина. Впрочем, черты лица у него были тонкие, почти идеальных пропорций.

— А мы и есть сестры, — тут же заявила Ивонна. — Просто нас разделили при рождении.

— Причем варварски, — добавила Карен-Люси. — Но теперь мы снова вместе. Ах, милый, какая у тебя чудесная сумочка!

— Как вас зовут? — спросила Ивонна.

— Томазина. Но это здесь. А дома — просто Том. — Он изящно пожал плечами, и сколько же в этом жесте было затаенного, совершенно девичьего самолюбования!

— Поняла, — кивнула Ивонна.

* * *

Линда не позволила себе никаких замечаний, устроившись рядом с мужем на кровати. Джей тоже никак не комментировал то, что они видели на экране компьютера. Вообще-то Линда в последнее время крайне редко наблюдала за «объектами» вместе с мужем. Но сегодня на экране ноутбука, лежавшем у Джея на коленях, была Ивонна. Она вернулась так поздно, что никто из супругов и не подумал ждать ее в гостиной. И вот сейчас они четко видели, как Ивонна, швырнув ключи на кровать, устало вздохнула — этот вздох отчетливо слышался в наушниках — и, подбоченившись, хорошенько огляделась. Затем она прошла в ванную, где ее снова поймала камера. Она так долго и внимательно смотрела на торчавший из стены шланг душа, что супругам Петерсон-Корнелл показалось, будто она смотрит прямо на них. Линде даже стало немного не по себе. Однако душ Ивонна, к большому удивлению Линды, решила не принимать; она лишь воспользовалась унитазом, затем умылась, почистила зубы и вернулась в отведенную ей комнату. Там она снова некоторое время просто стояла, глядя в сад сквозь огромные стеклянные панели, за

которыми сейчас была лишь непроглядная тьма, затем наконец открыла свой маленький чемоданчик и принялась раздеваться. Ее обнаженное тело выглядело гораздо моложе, чем предполагала Линда, но это, должно быть, благодаря росту и худобе. Впрочем, и грудь у нее оказалась весьма аппетитной и упругой, а бедра — даже в зернистом изображении на экране ноутбука — были стройными и гладкими. Не сняв трусиков, Ивонна надела белую пижаму и в ней стала выглядеть — особенно стянув волосы на затылке в хвост — совсем юной, не старше дочери Линды. Хотя, разумеется, юность Ивонны давно осталась в прошлом, и теперь она была самой обыкновенной женщиной средних лет, оказавшейся далеко от своей родной Аризоны. Видимо, поэтому она и потянулась за мобильником, звон которого тихонько отозвался в ноутбуке, лежавшем у Джея на коленях.

— Говори, пожалуйста, тише, — услышали они голос Ивонны, — потому что я тебя сейчас на громкую связь переключу, а мне еще надо свои вещички разобрать. По-моему, правда, этот их гестхаус, или гостевая комната, или как там еще они ее называют, находится довольно далеко от жилища хозяев, но никогда ведь не знаешь…

Черт, интересно, какая тут слышимость?

— Слушай, детка, — и супруги безошибочно узнали голос Карен-Люси Тот, — у тебя все в порядке?

— Нет, — мгновенно откликнулась Ивонна глухим голосом, да еще и к камере спиной повернулась, вытаскивая вещи из чемодана. — Понимаешь, Карен-Люси, у меня такое ощущение, словно в этом доме таится что-то гадкое, мерзость какая-то, мурашки по коже. Не уверена даже, что мне и уснуть тут удастся.

— Прими таблетку, дорогая. Мне кажется, я от кого-то слышала, что все свои немалые деньги эта парочка получила от его отца, который занимался пластмассой. Интересно, что значит — «заниматься пластмассой»? В общем, эти… странные люди, у которых ты остановилась, тоже пластмассой занимаются. Короче, куколка: можешь принять какую-нибудь таблетку?

— Да, конечно. Я прямо сейчас ее и приму. — Ивонна, присев на кровать, порылась в сумке, и Линда с Джеем увидели, как она извлекла оттуда пузырек с пилюлями, посмотрела на свет, сколько там осталось, и открутила крышечку. Затем из той же сумки она вытащила две маленькие бутылочки вина — такие обычно можно

купить в самолете, — откупорила одну и залпом выпила. — Я понимаю, дорогая, что ты очень устала, — сказала она Карен-Люси, — так что ложись спать, а обо мне не беспокойся. На самом деле все у меня в порядке. — Потом она вдруг спросила: — Слушай, а жена этого Тома — или Томазины? — не возражает?

— Нисколько — но при условии, что он всем *этим* будет заниматься подальше от дома и от глаз своих детей.

— А я бы возражала.

— Ну, а если б ты действительно его любила?

— Не знаю. Тогда, возможно, и я бы возражать не стала. Впрочем, нет, не знаю. Ей-богу, не знаю. Ну ладно, спокойной ночи. Я тебя люблю.

— И я тебя люблю, детка.

Линда повернулась, посмотрела на застывший профиль мужа и заметила:

— Господи, она даже душ не приняла! А ведь целый день где-то моталась!

Джей молча кивнул, приложив к губам палец. Линда встала и вышла из комнаты — спать она всегда уходила к себе, на другой конец коридора. С того самого дня, когда ее дочь, высказав ей много ужасных слов, уехала из дома, Линда спала отдельно от мужа.

* * *

Семь лет назад в городе пропала девушка. Она училась на втором курсе колледжа и считалась душой студенческой компании, а помимо учебы подрабатывала в качестве бебиситтера в семьях прихожан той епископальной церкви, которую посещали и все члены ее семьи. Так что после ее исчезновения следователи были вынуждены опросить огромное количество людей, чем, разумеется, повергли местных жителей в страшное волнение. А представители СМИ вызывали у горожан настоящее чувство протеста — одно время город буквально кишел всевозможными журналюгами. Они являлись туда в поистине библейском количестве, вооруженные камерами и огромными «мохнатыми» микрофонами, а с их грузовиков смотрели гигантские сверкающие тарелки трансляторов, — и естественное возмущение ими на какое-то время даже сплотило жителей городка, но потом оно несколько улеглось, и в обществе начали возникать и почти сразу же распадаться различные довольно странные группировки в соответствии с тем, какие идеи или теории в данный момент господствовали среди населения. Например, когда

в число подозреваемых попал преподаватель из автошколы, это реально раскололо городскую общественность на два лагеря. Затем появилась большая группа тех, кто утверждал, что на самом деле девушка сбежала из дома, потому что там творились ужасные вещи, о которых никто не догадывался. Впрочем, подобные заявления лишь усугубляли то состояние растерянности и ужаса, в котором пребывали бедные родители исчезнувшей девушки и все ее семейство. Такая неспокойная жизнь продолжалась в городе целых два года.

И все это время Линда Петерсон-Корнелл существовала со странным и мучительным ощущением в груди — ей казалось, что там, в самой глубине, вращается болезненный диск, состоящий из непроницаемой тьмы. И часто, наблюдая, как муж зачитывает из газеты очередной репортаж, или смотрит новостную программу по телевизору, или слушает соответствующие комментарии по интересующему их делу, она вдруг вся покрывалась потом и выбегала из комнаты. Ей стало казаться, что она, наверное, сходит с ума. Она и представить себе не могла, почему ее тело реагирует на происходящее подобным образом, а разум совсем не способен хранить спокойствие.

А потом, когда все кончилось — наконец-то это свершилось! — Линда и думать забыла о тех приступах дурного самочувствия. Впрочем, изредка она все же о них вспоминала, но эти воспоминания всегда носили умозрительный характер: ни тело, ни душа ни разу не напомнили ей, какие ощущения она на самом деле тогда испытывала. И, вспоминая о случившемся, она каждый раз думала: какая же я глупая, ведь мне *абсолютно не на что* жаловаться, во всяком случае, страдать мне, слава богу, совершенно не из-за чего.

На второй день фестиваля, вечером, Линда, сидя с мужем в гостиной, что-то читала, когда в распахнувшуюся дверь влетела Ивонна и устремилась к пандусу, ведущему на нижний этаж. Проходя мимо хозяев дома, она лишь слегка махнула им рукой в знак приветствия и небрежно бросила что-то вроде: «Добрноч!»

— Как у вас дела? — крикнул ей вслед Джей. — Как ваш мастер-класс?

— Все отлично! — донеслось снизу. — Только вставать рано придется — мне достались первые часы. Так что спокойной *ночи*!

И до них донесся негромкий плеск льющейся в душе воды — впрочем, лилась она очень недолго, — после чего они просидели за чтением еще

добрых два часа.

Проснувшись среди ночи и с трудом пробиваясь сквозь пелену тяжкого, вызванного снотворным сна, Линда услышала, что муж моется под душем. В этом, в общем, не было ничего необычного, но Линду, как всегда, охватило странное беспокойство. Сегодня все это как-то особенно остро напомнило ей о пережитом семь лет назад. Некоторое облегчение она испытала, лишь сумев убедить себя, что все это давно в прошлом, и тогда ей наконец удалось снова уснуть.

* * *

Каждый вечер Карен-Люси и Ивонна сидели в баре, где играла живая музыка. И каждый вечер предлагали Томазине пойти вместе с ними, но он всегда отвечал им отказом и говорил, что лучше сейчас пойдет к себе, позвонит домой, поговорит с женой и детьми, а потом ознакомится со списком мероприятий, запланированных на завтра.

— Он, между прочим, неплохой фотограф, — сказала Карен-Люси Ивонне. — А если б еще и по-настоящему любил это дело, то мог бы стать отличным фотографом. Вот только по-настоящему он это дело не любит. Он и сюда-то приходит, только потому…

И обе одновременно с пониманием кивнули, продолжая таскать из корзинки на столе кукурузные чипсы.

— Храни, Господи, его душу, — прибавила Карен-Люси.

— Да уж. И душу его жены тоже.

— Да уж, черт побери! — И Карен-Люси невольно прижала пальцы к губам. — Иви, меня предали. Пре-да-ли. Я хочу, чтобы ты это знала.

Ивонна кивнула.

— И это все, что я хочу сказать.

Ивонна снова кивнула.

— Мое сердце разбито.

— О, я знаю.

— Да, разбито. Он разбил мне сердце. — Карен-Люси щелкнула по кукурузному чипсу, и тот полетел через весь стол.

Ивонна немного помолчала, потом спросила:

— А все-таки почему Джой так вращает глазами, когда со мной разговаривает?

— Ах да… Дело в том, дорогая, что несколько лет назад сын Джой убил здесь девушку и закопал ее на заднем дворе, а потом не выдержал и все рассказал мамочке. Да-да, я совершенно серьезно. — И Карен-Люси энергично кивнула в подтверждение своих слов. — Так что теперь

ему до конца своей жизни сидеть в тюрьме, как бы долго эта его жизнь ни продолжалась. Джой с мужем развелись, и все деньги забрал ее муж — они были богаты, но он все деньги забрал, — вот она теперь и живет в трейлере, за городом, а если ты к ней попадешь, то сразу увидишь у нее на полочке фотографию: она стоит рядом с сыном, положив руку ему на грудь как бы в знак большой любви, только на самом деле она просто рукой закрывает тюремный номер у него на форме, чтобы на фотографии казалось, будто на нем обыкновенная темно-синяя рубашка.

— Господи, — вырвалось у Ивонны. — *Господи, боже мой…*

— Вот-вот.

— Сколько же ему было лет, когда он это сделал?

— Пятнадцать, по-моему. А может, шестнадцать. Но приговор ему вынесли, как взрослому, потому что он почти два года никому об этом не говорил. Просто закопал девчонку на заднем дворе, и все. Если б он тогда сразу все матери выложил, то пожизненного бы не получил. А так получил. Без права на досрочное освобождение.

— Неужели даже собаки трупного запаха не учуяли? И тело не выкопали?

— Нет, мэм. Даже собаки. Он, должно быть, очень глубоко ее закопал. — Карен-Люси подняла два пальца. — Представляешь, целых два года прошло, и тут он вдруг говорит: «Мама, мне надо кое-что тебе рассказать!»

— А с семьей той девушки что случилось?

— Они отсюда куда-то уехали. И бывший муж Джой тоже уехал. Не пожелал иметь ничего общего с таким сыном. По-моему, просто руки умыл. А Джой каждый месяц ездит в Джолиет, Иллинойс, чтобы с сыном повидаться.

Ивонна медленно покачала головой, потом пальцами взъерошила волосы.

— Уф-ф! Ничего себе…

Они долго молчали, потом Карен-Люси сказала:

— Мне ужасно жаль, Иви, что у тебя нет детей! Я же знаю, как ты хотела ребенка.

— Ну да, но ты ж понимаешь…

— Из тебя бы очень хорошая мать получилась, я в этом не сомневаюсь.

Ивонна посмотрела на подругу.

— Что ж, такова жизнь. Такова наша поганая жизнь.

— Да уж, такова.

* * *

А наутро после той неприятной вечерней сцены, то есть через три дня после приезда, Ивонна Таттл вдруг сама подошла к Линде, когда та мыла на кухне свою чашку из-под кофе. Линде даже в голову не приходило, что Ивонна до сих пор в доме, и она даже вздрогнула от удивления, услышав у себя за спиной ее голос.

— Вы случайно не видели мою белую пижаму? — с явным любопытством спросила Ивонна.

— С чего это вдруг? И где я могла ее видеть? — Линда поставила чашку в сушильный шкаф.

— А с того, что моя пижама пропала. То есть попросту *исчезла.* А такие вещи сами собой не исчезают. Если вы понимаете, что я имею в виду.

— Не понимаю. — Линда вытерла руки посудным полотенцем.

— Ну что ж. Я всего лишь имею в виду то, что моя белая пижама, которую я каждое утро кладу под подушку, исчезла. — Ивонна развела руками, точно рефери на футбольном поле, оказавшийся в трудной ситуации. — Исчезла. Но должна же она где-нибудь быть! Вот я и решила у вас спросить: может, ваша прислуга ее в стирку забрала или что-нибудь в этом роде.

— *Наша* прислуга *вашу* белую пижаму не брала!

Ивонна некоторое время молча смотрела на Линду, потом с некоторым сомнением хмыкнула, и это хмыканье привело Линду в ярость, скрыть которую оказалось выше ее сил.

— У нас в доме чужих вещей не крадут! — выкрикнула она.

— Я же просто спросила, — пожала плечами Ивонна.

* * *

Последний день фестиваля пришелся на уикэнд. В том же зале бывшей частной школы, где проходил прием по случаю открытия фестиваля, на одной стене были вывешены фотографии наставников, а на другой — их учеников. Ивонна, Карен-Люси и Томазина стояли в сторонке, наблюдая за медленно движущимися по залу людьми.

— Господи, до чего гнусно! — сказала Ивонна.

Томазина, щелкнув замочком, прикрепил клатч к другому запястью и спросил:

— Ну, а ты, Карен-Люси, наверняка привыкла к тому, как эти глупые люди пялятся на сделанные тобой снимки, не так ли? Посмотри, как качает

головой вон та женщина. Она явно *недоумевает*, зачем было снимать вдребезги разлетевшиеся тарелки, и думает: что же могут означать все эти осколки?

— Они означают, что жизнь моя разбита вдребезги, — отозвалась Карен-Люси.

Томазина улыбнулся и сказал, нежно глядя на нее:

— Нет, это у *меня* от тебя мозги вдребезги.

— Давай-ка лучше поедем домой, дорогая, — предложила Карен-Люси. — По-моему, вон та дама — типичный гриф, богатая пожирательница культурной падали; да мне достаточно на ее затылок взглянуть, чтобы с уверенностью это утверждать. Такая особа даже в сортире пользуется не туалетной бумагой, а салфетками из тонковолокнистого хлопка! Господи, да возьми ты и купи эту чертову фотографию! — Карен-Люси демонстративно отвернулась.

— Слушай, это ведь та самая! Ну, та, у которой я сейчас живу. Ох, давайте и впрямь поскорей отсюда уйдем.

— Да, куколка, мы немедленно уходим, — кивнула Карен-Люси.

Все трое вышли и несколько мгновений постояли на деревянном крыльце, щурясь от слепящего,

невероятно яркого солнечного света. Томазина даже полез за темными очками.

— Жарко, между прочим, — заметил он. — Я и не предполагал, что снаружи так жарко. А я в нейлоновых чулках!

— Они очень мило на тебе смотрятся, — сказала Ивонна. — И сам ты тоже выглядишь очень мило.

— А разве он не всегда выглядит очень мило? — И Карен-Люси чмокнула губами, как бы посылая Томазине воздушный поцелуй. — Господи, да тут жарче, чем в шерстяном носке, когда там два кролика трахаются!

Все трое вздрогнули от неожиданности, когда сзади вдруг раздался громкий мужской голос:

— Приветствую вас, девушки и юноши! — Оказалось, это Джей Петерсон-Корнелл, который вышел из зала следом за ними. — Выставка вам, похоже, поднадоела? — И он, протягивая руку Карен-Люси, представился: — Меня зовут Джей. — Сперва его глаза скрывали блестевшие на солнце темные стекла очков, но затем он очки снял. — Счастлив с вами познакомиться. Я ваши работы просто обожаю.

— Благодарю вас.

— Могу я угостить вас, девушки, чем-нибудь

прохладительным?

— Боюсь, что нет, — сказала Карен-Люси. — Мы спешим, у нас назначена встреча…

— Понятно. — Джей повернулся к Ивонне. — А вас мы за всю эту неделю почти не видели. Не знаем даже, понравилось ли вам в нашем маленьком городке. Вы, должно быть, нашли его скучным по сравнению с вашим прекрасным и развратным Тусоном?

— Нет, мне ваш городок очень понравился, — сказала Ивонна, чувствуя, как по спине у нее течет пот.

— Ну, нам пора, друзья мои. Приятно было с вами познакомиться, мистер Джей, — попрощалась Карен-Люси и начала спускаться с крыльца. Ивонна и Томазина тут же последовали за нею. Затем все трое гуськом прошли по тропинке, ведущей через рощицу, и скрылись за деревьями. Ни один из них не произнес ни слова, пока они не оказались на поляне возле церкви.

— Господи, мне просто необходимо выпить! — воскликнула Ивонна.

В баре Томазина спросил:

— А вы обратили внимание, что он меня как бы и вовсе не заметил?

— Ну, естественно, дорогуша, он постарался

тебя *не заметить*, — сказала Карен-Люси. — Он и не намерен замечать тех, кого не может *использовать*.

— Не знаю, почему он мне так омерзителен, — поддержала разговор Ивонна. — Он меня пугает.

— Да потому, что он мерзкий и скользкий тип. Это я тебе говорю! — И Карен-Люси ткнула в сторону Ивонны соломинкой для коктейля.

— И дело даже не в том, что он как-то странно выглядит. С виду-то он нормальный. — Ивонна машинально взяла из корзинки чипс, потом сунула его обратно.

— О-хо-хо, детка! — протяжно вздохнула Карен-Люси. — Мне в юности целых сто лет довелось официанткой проработать, тогда я и научилась кое-что понимать. Например, мужские взгляды. — Карен-Люси потыкала соломинкой для коктейля в собственную скулу под глазом. — В общем, *этот* тип, куколка, считает *тебя* высоченной старой дылдой, то есть попросту куском дерьма. Он и обо мне был бы того же мнения, только я успела получить кое-какие *на-гра-ды*, так что теперь он бы, наверно, с удовольствием повесил меня на стену. А когда ты получишь свои *на-гра-ды*, Иви — а ты точно их получишь, — он и тебя захочет повесить на стену рядом с этими гре-

баными, леденящими душу картинами Пикассо. А пока что он удовлетворяется тем, что нюхает твои трусики и каждую ночь прячет себе под подушку твою хорошенькую белую пижамку.

Ивонна растерянно покивала, потом сказала:

— Спасибо тебе, — и прибавила: — Нет, я серьезно: спасибо.

— Я понимаю, что ты серьезно.

— О господи! — вмешался Томазина. — Ну, что за печальную чушь вы тут несете!

Карен-Люси очень внимательно, даже настойчиво посмотрела на его повернутое в профиль лицо.

— Ну, тебе-то беспокоиться не о чем. У тебя все отлично.

* * *

Линда и Джей Петерсон-Корнелл сидели в гостиной, поджидая, когда им наконец можно будет поговорить со своей постоялицей. Каждый вечер она являлась все позже и, войдя в дом, всего лишь бросала небрежное: «Добрноч!», а потом, не замедляя хода и почти неслышно ступая в своих сандалиях на пробковой танкетке, удалялась по пандусу вниз.

Вечером после того, как Джей и Линда побыва-

ли на фотовыставке, Джей сказал:

— Днем она не желает уделить нам ни минуты своего времени.

Не глядя на него и продолжая листать журнал, Линда заметила:

— Когда я впервые ее увидела, то подумала, что ты, вполне возможно, сбежишь с ней.

Джей рассмеялся.

— Правда? Это на тебя ее вид такое впечатление произвел? Типичная, довольно-таки шлюшистой внешности, девица из рабочих кварталов.

— Вряд ли дело только в том, как она выглядит.

— Нет, конечно же, нет.

Линде следовало бы почувствовать — да она, собственно, и почувствовала, — что ее супруг слегка возбужден. В последнее время она не смотрела вместе с ним, чем там Ивонна занимается у себя в спальне или в ванной комнате. Она также не сказала ему, что от Ивонны знает об исчезновении белой пижамы. Но сегодня был последний вечер пребывания Ивонны у них в доме, и Линда, поджидая ее, упорно сидела рядом с мужем в гостиной. Ивонна пришла где-то около полуночи.

— Вы совершенно себя не жалеете, жжете свою свечу с обоих концов! — крикнул ей вслед Джей,

когда она уже начала спускаться по пандусу.

— Это правда. Спокойной ночи, спите крепко! — крикнула в ответ Ивонна, исчезая внизу.

— А вы не могли бы на минутку вернуться сюда, к нам? Прошу вас! — снова крикнул Джей, но не встал, а остался сидеть, и Линда тоже продолжала сидеть с ним рядом, держа на коленях раскрытую газету.

Ивонна мгновенно поднялась к ним и удивленно спросила:

— Что-то случилось?

— У вас есть семья? — спросил Джей. — Или вы в разводе?

— В разводе ли я?

— Ну да, я ведь именно так и спросил.

— В общем… *О господи!* — Ивонна даже ладонь ко лбу приложила. — Ничего себе начало разговора! Это что, первое, о чем вы спрашиваете у женщины средних лет, когда с ней знакомитесь?

— Вы выглядите как разведенка, — заявил Джей.

Ивонна как-то странно помотала головой, словно отгоняя от себя что-то.

— Ну, ладно. Прошу прощения, но я бы очень хотела поскорее лечь спать.

— Вы прожили в нашем доме больше недели, —

вступила Линда, — но ни разу не нашли времени хотя бы просто поговорить с нами. Так что вам, должно быть, понятно, что мы чувствуем себя… э-э-э… отвергнутыми. А ведь мы, можно сказать, распахнули перед вами двери нашего дома.

— Ох да, я понимаю. Ладно, извините меня, пожалуйста. — Упрек Линды, похоже, попал в цель. Во всяком случае, она сразу поняла, что эта Ивонна — человек, весьма мало в себе уверенный. Возможно, мать и старалась воспитывать ее правильно, и все же она явно унаследовала от своих предков этакую покорную безнадежность. Ивонна сделала к ним еще шаг и сказала: — Поверьте, я не хотела быть грубой. Просто всю эту неделю я к вечеру ужасно уставала.

— Присядьте, — любезно предложил ей Джей, кивком указывая на кресло.

Ивонна села. У нее были такие длинные ноги, что в неудобном низком кресле ее колени торчали вверх, как у кузнечика. Линда без малейшего сочувствия смотрела на это, понимая, как неловко Ивонна себя чувствует.

— Ну что ж, расскажите немного о себе, — усмехнувшись про себя, попросила Линда. — Вы ведь в Аризоне живете? И долго вы там прожили?

— Да, большую часть моей взрослой жизни,

наверное.

— Наша дочь подумывала о переезде в Нью-Мексико, но вместо этого уехала на восток, — с улыбкой сказал Джей. — И теперь живет в Бостоне.

— Да? А сколько ей лет?

— Двадцать три. И она страшно довольна, что полностью от нас независима. В ее возрасте это так естественно. — Джей все еще улыбался. — У нее есть брат-близнец, но он живет в Провиденсе. И тоже наслаждается своей независимостью, — прибавил он.

— Карен-Люси в последнее время сделала несколько замечательных снимков, — сказала Линда.

— Вы находите? — Ивонна попыталась было наклониться вперед, но ей мешали слишком высоко задранные колени. В итоге она снова откинулась на спинку кресла и просто вытянула ноги перед собой, приняв, с точки зрения Линды, непристойно призывную позу. — По-моему, вся ее серия, посвященная землетрясению, великолепна. Особенно эти вдребезги разбитые тарелки. — Ивонна восхищенно тряхнула головой и снова попыталась сесть прямо.

— У некоторых художников очень развито

чувство соперничества, — заметил Джей. — Они ревниво относятся даже к своим друзьям. Но вы, по-моему, способны проявить великодушие, поскольку и ваши работы пользуются успехом. И вполне справедливым успехом, должен прибавить.

— Уверена, что вам свойственно великодушие, — сказала Линда, поскольку ей показалось, что Ивонна смотрит на них несколько настороженно. — Сейчас принесу вина, и мы немного выпьем, хорошо? — Линда чувствовала, что ничуть не ошибается. Джей и раньше не раз одерживал *победы*, но Линда никогда еще не чувствовала себя его *соучастницей*.

Минут через двадцать она первой, извинившись, пошла спать.

Но, старательно прислушиваясь, скоро услышала, что Ивонна тоже спускается вниз и идет по наклонному коридору в свою комнату. Потом с тихим щелчком закрылась дверь в комнату Джея, и Линда приняла таблетку снотворного.

Она крепко спала, когда среди ночи ее разбудил пронзительный, ужасающий крик.

— Дорогая, — донесся до нее сквозь сон голос Джея. Он стоял на пороге, и в ее комнате горел свет. — У нас тут возникли некоторые сложно-

сти.

Линда тут же села в постели, и ей показалось, что в дверь — определенно! — позвонили.

— Джей, я так крепко спала! Мне снился какой-то сон…

— Хорошо, я сам с ними поговорю, — сказал Джей и улыбнулся, но Линде показалось, что выглядит он иначе, чем вечером: лицо словно стало шире и все покрылось крупными каплями пота.

Накинув халат, она последовала за мужем вниз и увидела, что он открыл дверь, и на пороге стоят двое полицейских, а позади них маячат еще двое в полицейской форме — мужчина и женщина. На подъездной дорожке виднелись две белые полицейские машины. Впрочем, стражи порядка вели себя очень вежливо.

— Вы не могли бы показать нам гостевую комнату? — попросили они. — Ту, в которой останавливалась ваша гостья, Ивонна Таттл?

— Да, конечно, — сказал Джей. — Линда, проводи их, пожалуйста, вниз.

Во рту у Линды сразу же пересохло, едва она повернулась к пандусу, ведущему в гостевые комнаты. В спальне, отведенной Ивонне, было темно, и Линда машинально потянулась к выключателю, но женщина-полицейский ее остановила:

«Нет-нет, оставьте все, пожалуйста, как есть», а мужчина-полицейский предложил: «Миссис Петерсон, может быть, вам лучше вернуться наверх?»

Линда быстро повернулась и стала подниматься, громко зовя Джея.

Муж был на кухне. Он, медленно качая головой, стоял перед полицейскими, и Линда заметила, что те вооружены.

— Она с самого начала показалась нам странной, — говорил Джей. — Но, как вы, должно быть, понимаете, я не стану сообщать подробностей, не посоветовавшись с моим адвокатом. Это, кстати, Норм Этвуд, и вы прекрасно знаете, что он скажет. Какая нелепость! Нет, это просто неслыханно! Я даже представить себе не могу, чтобы кто-то собрался в судебном порядке меня преследовать!

— Почему бы вам не попросить своего адвоката побеседовать с нами в полицейском участке? — сказал один из полицейских.

Джей улыбнулся:

— Ей-богу, ребята, я знаю, вы всегда гордились своей щепетильностью и дотошностью, но ведь это *просто возмутительно*!

— А где Ивонна? — вдруг спросила Линда, когда полицейские уже направились к дверям.

— Она в окружной больнице, мэм.

— Она говорит, что я пытался ее изнасиловать, — прибавил Джей.

— Ивонна? Она *действительно* так сказала? Но это же *безумие*! — возмутилась Линда.

— Ну, конечно, безумие, — спокойно подтвердил Джей. — Дорогая, я скоро вернусь.

Женщина-полицейский стояла у него за спиной, а рядом с ней был еще кто-то из полицейских-мужчин.

— Господи, что вы делаете? — спросила у них Линда.

— Присядьте, миссис Петерсон. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов. — Полицейские вели себя очень вежливо. Они стали расспрашивать Линду об Ивонне. — Какой она была?

— Ох, ужасной!

— В чем это выражалось?

— Она вела себя по отношению к нам просто оскорбительно! Не желала ни минутки на разговор с нами потратить! — Линда вдруг вспомнила о пропавшей белой пижаме и тут же выпалила: — Представляете, она обвинила меня в том… что я украла ее пижаму! — Женщина-полицейский сочувственно покивала, а мужчина-полицейский что-то пометил в блокноте и спросил:

— А по отношению к вашему мужу она тоже была груба?

Слишком поздно до Линды дошло, что ей вообще не стоило ничего им говорить. Хотя, когда она заявила полицейским, что больше не намерена обсуждать эту тему, они отреагировали очень спокойно. А потом объяснили, что у них есть ордер на обыск данной гостевой комнаты для возможного сбора вещественных доказательств, каковыми могут оказаться, например, простыни, наволочки и все такое прочее.

* * *

На следующее утро Джей крепко спал в их общей спальне. Норм Этвуд доставил его домой перед рассветом и объяснил Линде, что Джей был обвинен в нанесении побоев третьей степени тяжести и пока отпущен на поруки. Скорее всего, сказал Норм, против него выдвинули это обвинение, потому что Ивонна в истерическом состоянии металась по улицам города в три часа ночи, одетая лишь в трусики и майку, и стучалась в каждую дверь. Кроме того, у нее на запястье обнаружилась небольшая ссадина, что предположительно указывало на борьбу, однако, по мнению адвоката, ее состояние вряд ли

доказывает, что секс состоялся не по взаимному согласию, а при отсутствии свидетелей обратное доказать всегда очень сложно. И вот теперь Линда, застыв как изваяние, сидела в саду и не сводила глаз с голубой сверкающей поверхности воды в бассейне. Вдруг в кармане у нее зазвонил мобильный телефон. Она включила его и услышала голос дочери:

— Вот что, мам, идите вы оба к черту! А я домой больше не вернусь! Никогда!

Линда поднялась, прошла в дом и уселась в гостиной на дальнем краешке дивана. Она чувствовала себя странно, словно была не в себе. Ей казалось, что она опять стала молодой и идет по дороге со своими школьными подругами мимо бесконечных кукурузных и соевых полей, а вокруг теплый летний вечер, и весь мир будто светится от яркой зелени молодых всходов и предчувствия новой жизни, и солнце садится, и небо пылает великолепными красками заката, и теплый воздух ласково гладит ее голые руки, и душа ее полна ощущением свободы и невинной радости…

Норм Этвуд назначил ей встречу в полдень. Они должны были вместе поехать в Лейтон и встретиться с ее собственным адвокатом: у нее

есть брачные привилегии, объяснил Норм. Она, например, не обязана свидетельствовать против Джея и сообщать обо всем, что он ей когда-либо говорил. Но если она скажет, что действительно что-то видела, то должна будет подтвердить свои слова под присягой. Линда, сидя на диване, пыталась все это понять, осознать разницу, но чувствовала, что не в состоянии сделать это. Казалось, все части ее организма по очереди отключились, перестали функционировать и как бы стоят «на нейтрале». Она огляделась. Картина Хоппера висела на стене, источая всеобъемлющее равнодушие, но Линде показалось, что это равнодушие относится непосредственно к ней, да и сама картина написана исключительно для данного момента: «Твои беды велики, но совершенно бессмысленны, — казалось, говорила картина, — а для меня важен только луч солнца, осветивший боковую стену дома». Линда встала, перешла в столовую и села за длинный обеденный стол. Несколько лет назад ее дочь, кое-что случайно обнаружив в компьютере отца, сперва ужасно закричала, а потом все никак не могла успокоиться, все плакала и кричала: «Папа трахает каких-то женщин прямо у нас дома, а ты, мама, *ничего, совсем ничего* не предпринимаешь! Ты

еще хуже, чем он! Ты еще более жалкая и гадкая, чем он, мама! И меня от вас обоих *тошнит!*»

А ведь начиналось все как супружеская игра. Они оба воспринимали это как способ развеять поселившуюся в семье скуку. Линде казалось, что так она сумеет создать новую Линду Петерсон-Корнелл, куда более смелую и соблазнительную, чем нынешняя — в общем такую, которая будет гораздо больше нравиться мужу.

* * *

Линда выросла в Северном Иллинойсе. Ее отец весьма успешно управлял фермой по производству кормовой кукурузы, а мать была домохозяйкой, женщиной довольно легкомысленной, но доброй. Они носили фамилию Найсли, а потому Линде и ее сестрам дали общее прозвище «Хорошенькие девушки Найсли». Детство у них было счастливое, но потом вдруг случилось *это* — причем так внезапно, что Линде потом казалось, что все случилось в один день, пока она была в школе, — и ее матери пришлось их дом покинуть. Она поселилась отдельно от них в убогой маленькой квартирке — худшего Линда и представить себе не могла. Это было даже хуже, чем если бы мать совсем умерла. Впрочем, через

несколько месяцев мать захотела вернуться, но отец воспротивился. И все это — и то, что мать теперь жила в одиночестве в крошечном домишке, куда она переехала после той жалкой квартирки; и то, что она отказалась от всех своих друзей, ибо они прореагировали на случившееся со страхом, словно попытка матери обрести свободу могла оказаться для них заразной, смертельно опасной; и то, что ее дочери теперь держались отчужденно, потому что отец заставлял их хранить верность ему одному, — в общем, эти события оказались самыми сильными и самыми значимыми в жизни Линды. Уже через неделю после окончания школы Линда выскочила замуж за местного парня по имени Билл Петерсон, а через год развелась, хотя фамилию его сохранила. Затем, учась в колледже в штате Висконсин, она познакомилась с Джеем, который, как ей тогда показалось, мог бы благодаря своим способностям и наличию денег предложить ей иную жизнь, как бы катапультировать ее подальше от прошлого и от постоянно преследовавшего ее мучительного образа матери, такой ужасно одинокой, подвергнутой всеобщему остракизму.

И вот сейчас, когда Линда в странном оцепенении сидела в столовой у дальнего конца стола, в

дверь вдруг позвонили. Ей даже сперва показалось, что она ослышалась. Но в дверь позвонили снова, и она осторожно посмотрела в щелку между занавесками, но никого не увидела. В итоге она все же решилась осторожно приоткрыть дверь и увидела перед собой худющую как щепка Джой Гунтерсон.

— Линда, я должна была к тебе зайти.

— Нет, — возразила Линда, — ты ничего мне не должна. У нас с тобой нет ничего общего, ясно? *У нас с тобой нет ничего общего*! Убирайся.

— Ох, Линда! Но я *действительно*…

— Я не собираюсь закончить дни в жалком трейлере, Джой. — Линда себе не поверила: неужели она и впрямь произнесла эти слова? Ведь она не испытывала ни малейшей потребности их произносить. Похоже, и Джой была несколько удивлена столь откровенной неприязни с ее стороны. На лице у нее — Линда смотрела на нее сверху вниз, потому что Джой была гораздо ниже ростом — читалось явное смущение.

Впрочем, смущение в данный момент они испытывали обе, что и помешало Линде закрыть дверь. И Джой успела сказать, решительно тряхнув головой:

— Понимаешь, Линда… не имеет значения, где

именно ты живешь. В итоге ты это и сама поймешь. А вот когда человек, которого ты любишь больше всего на свете, попадает в тюремную камеру, то и ты оказываешься в той же камере вместе с ним. И не имеет значения, где ты в данный момент проживаешь или находишься. Вот тогда-то ты и начинаешь понимать, кто твои настоящие друзья. И это, как ни странно, совсем не те люди, которых ты до сих пор считала друзьями. Можешь мне поверить.

Линда все же закрыла дверь и заперла на замок.

Потом подошла к дверям спальни, но Джей по-прежнему крепко спал и даже громко храпел, лежа на спине. Без очков его лицо казалось голым. Линда давно не смотрела на него спящего. Она вышла в коридор, закрыла за собой дверь и снова спустилась на первый этаж. Она не знала, что сказать адвокату. Норм объяснил, что многое зависит от того, захочет ли Ивонна выдвигать обвинения против Джея и будет ли на них настаивать. В общем, от Ивонны зависело очень многое.

Линда тихонько обошла дом. Она понимала, что ее разум пытается воспринять нечто такое, чего воспринять не в состоянии. А еще она вспом-

нила о Карен-Люси, которая наверняка сейчас рядом с Ивонной, и о том, что, когда полицейские приезжали, чтобы забрать вещи Ивонны и вернуть их ей, она, Линда, даже не спросила у них, где Ивонна. На кухне в раковине она заметила две белые кружки с пятнами кофе, но, пожалуй, не смогла бы сказать, ни кто его здесь пил, ни как эти чашки попали в раковину. Она машинально принялась мыть посуду, но почувствовала, что ноги под ней буквально подгибаются, стоило ей представить себе членов суда присяжных, сидящих на специальной скамье, а на трибуне Ивонну с ее чересчур ярким макияжем. А потом она вдруг вспомнила о камерах наблюдения. Боже мой, ну почему, скажите на милость, почему она раньше о них не вспомнила?! *Скажите, вы наблюдали или не наблюдали вместе с вашим мужем за теми женщинами, что останавливались в вашем доме? За тем, как они раздеваются, принимают душ, пользуются туалетом? Давно ли вам стало известно, что ваш муж ведет за ними подобные наблюдения?*

* * *

Направляясь на автомобиле в Лейтон и не доехав до него всего несколько миль, Линда

остановилась возле заправки, но, чувствуя себя ужасно уязвимой и незащищенной, к колонке с автозаправкой не подъехала, а попросила одного из служащих залить бак. Потом ей вдруг срочно понадобилось в туалет. Она, не снимая темных очков, быстро прошла через магазин, минуя стеллажи, заваленные целлофановыми пакетами с пончиками, печеньем, арахисом и конфетами, и оказалась в помещении с соответствующей вывеской. Там царили такие бардак и вонь, что Линда с трудом сдерживала отвращение. Она и припомнить не могла, когда ей в последний раз доводилось пользоваться общественным туалетом, тем более таким чудовищно грязным. А впрочем, подумала она, какое это имеет значение? Ведь теперь, собственно, ничто уже не имеет значения. Она поспешила обратно, ничего перед собой не замечая и чувствуя, что в голове у нее полнейшая неразбериха. А потому, снова пробираясь между стеллажами в магазине, она налетела на Карен-Люси Тот. Женщины с изумлением уставились друг на друга. Карен-Люси тоже была в темных очках, но тут же сняла их, и Линде показалось, что сейчас ее глаза выглядят гораздо старше, чем прежде, но по-прежнему прекрасны и очень-очень печальны.

— Как вы меня напугали, — сказала Линда.

— Ну, и вы меня.

Они постарались поскорей выбраться из толпы покупателей и отойти подальше от магазина. Слегка возвышаясь над Линдой, Карен-Люси — она все-таки была очень высокого роста — сказала:

— Мэм, клянусь Богом, после того, как несколько лет назад я пережила собственную трагедию, у меня порой возникает чувство сострадания буквально к каждому. Это чистая правда. Возможно, это единственное благо, явившееся следствием того, что со мной произошло. Однако должна сказать, что ваш муж очень испугал мою подругу, он прямо-таки *смертельно* ее испугал.

— Где она?

— Я только что отвезла ее в аэропорт. Сейчас ей нужно поскорее попасть домой и посоветоваться с хорошим врачом.

— Послушайте, я не имею об этом ни малейшего представления.

Карен-Люси так прищурилась, что ее красивые глаза стали похожи на щелки.

— Нет, это вы меня послушайте! И не вздумайте потом гадить у меня за спиной и рассказывать, что это, должно быть, мышь где-то сдохла. Вы на-

верняка *что-то* знаете о проделках вашего мужа, и если Иви доведет дело до суда, а я, черт побери, очень надеюсь, что она так и поступит, вас вызовут туда в качестве свидетеля, и ваш *долг*…

— Я совсем ничего не знаю о проделках мужа, — холодно отчеканила Линда, осторожно наблюдая за Карен-Люси из-под темных очков. Та смотрела сейчас куда-то вдаль, за окно, и Линда заметила, что ее красивые глаза покраснели.

Помолчав немного, Карен-Люси медленно кивнула и очень тихо и спокойно сказала:

— Да, детка, разумеется. Вы меня, пожалуйста, простите. — Теперь она смотрела вроде бы прямо на Линду, но той все равно казалось, что эти прекрасные глаза по-прежнему смотрят куда-то вдаль. — Я, безусловно, не имею права советовать, какую той или иной женщине следует проявлять осведомленность или хотя бы понимание в отношении поступков и намерений ее мужа. Мне очень жаль, что я не сдержалась и вела себя как слон в посудной лавке. Еще раз прошу прощения.

Почти всегда испытываешь изумление, вдруг получив разрешение войти в такое место, которое всегда считал навечно для тебя закрытым. Подобное чувство испытывала сейчас Линда,

когда, совершенно ошеломленная, стояла возле магазина самообслуживания при заправке, смотрела сквозь витрину на освещенные солнцем пакеты кукурузных хлопьев и слушала слова сочувствия — сочувствия абсолютно незаслуженного, ибо, если Карен-Люси и не знала, что было на уме у Линдиного мужа, то сама Линда знала это даже слишком хорошо и уже понимала, сколь многое из этих слов вскоре окажется правдой. Это означало, что Ивонна Таттл и Карен-Люси никогда больше не приедут в этот город, да и суда никакого, скорее всего, не будет, и никто даже не упомянет о тех камерах наблюдения, что установлены у них в доме, и она, Линда, будет отныне жить с мужем, чувствуя себя совершенно свободной, ибо ему придется всегда помнить — будут ли они вместе смотреть по телевизору вечерние новости, или же гулять по проселочным дорогам, или просто сидеть в ресторане и болтать о том о сем, — что от очень и очень больших неприятностей его в значительной степени, а может и полностью, спасли благоразумие и осторожность жены. В доме у них никогда больше не будут останавливаться женщины, а гостевая комната, возможно, превратится в солнечный рабочий кабинет, только ни ему, ни ей даже заходить туда

лишний раз не захочется, и на стене там будет висеть знаменитая фотография Карен-Люси с разбитыми вдребезги тарелками.

Собственно, суть всего этого Линда почувствовала в ту же минуту. Она даже свои темные очки наконец сняла, желая хорошенько вглядеться в глаза Карен-Люси. Ей очень хотелось коснуться руки этой женщины или даже погладить ее по щеке — причем потребность в этом была какой-то удивительно настойчивой, словно Карен-Люси тоже была одной из них, «хорошеньких девушек Найсли», и тоже неожиданно получила предательский удар с тыла, когда, вернувшись домой из школы, обнаружила, что ее мать уехала, бросив их, а ведь все свое детство Линда была уверена, что мать ее любит, что она, Линда, для нее очень важна.

# Клин клином вышибают

Поджидая ее, Чарли Маколей стоял у окна, глядя, как сгущаются сумерки. Поверх темной от копоти стены парковки кольцами вилась колючая проволока, словно эта замусоренная жалкая площадка перед мотелем являла собой такую угрозу для внешнего мира — или же невероятную ценность, — что ее следовало охранять с особой тщательностью. Для Чарли вид этой колючей проволоки лишь доказывал тщетность тех усилий, с помощью которых оформители витрин универмага — Чарли только что прошел мимо него — пытаются пробудить у покупателей мечты о красивой жизни (и парковка, и универмаг принадлежали тому городку, который они тогда вместе с ней подыскали для своих встреч всего в получасе езды от Пеории). Глядя на эти витрины, думал Чарли, можно, пожалуй, захотеть купить пневматический дворник для уборки снега или хорошенькое шерстяное платьице в подарок жене, только это все ерунда: несмотря на милые желания, внутренне ты все равно останешься крысой, суетливо выбегающей из норы на поис-

ки пропитания среди гор мусора и стремящейся непременно прогнать другую, пришлую, крысу, а может, и захватить ее гнездо в куче битых кирпичей и так его загадить, чтобы казалось, что твой взнос в строительство этого мира походил всего лишь на еще одну кучку экскрементов.

Впрочем, слева от себя Чарли видел вершину клена, ветви которого с извиняющейся нежностью выставили вперед два последних розовато-желтых листка, ухитрившихся удержаться там до конца ноября. Сами кленовые ветви казались подсвеченными последними тусклыми лучами дневного света и затухающими, но все еще щедрыми красками заката, которыми был расписан весь широкий край неба над западным горизонтом. Чарли, приложив к щеке огромную ладонь, вспоминал — интересно, с чего вдруг именно сейчас возникли у него эти воспоминания? — как они с Мэрилин сидели на корточках, освещенные таким же осенним закатом, на склоне пригорка и сажали луковицы крокусов. Они тогда учились на первом курсе университета. Он хорошо помнил, как горели ее глаза, с каким пылом она стремилась к поставленной цели. А он понятия не имел, как надо сажать крокусы, и она, задыхаясь от волнения, призналась ему, что тоже

занимается этим впервые. Они еще днем купили в городе садовый совок, а потом поднялись по склону того невысокого холма, что вздымался сразу за ее спальным корпусом, к небольшой рощице, принадлежавшей колледжу, перед которой была неширокая полоса довольно мягкой земли с пожухшей осенней травой. «Ладно, вот здесь и посадим», — сказала Мэрилин, и Чарли понял, что она по-настоящему взволнована, и для нее, восемнадцатилетней, очень важно впервые в жизни посадить цветы вместе с ним, ее первым возлюбленным. Чарли до глубины души тронуло ее волнение, хотя выглядела она в тот день очень смешно, с ног до головы укутанная в длинное шерстяное пальто. Они выкопали ямки, опустили в них луковички, и она с серьезным видом с ними попрощалась, пожелав им удачи. Теперь бы, наверное, подобная нелепая затея заставила его удивленно или даже негодующе округлить глаза — она словно обнажала и общую глупость Мэрилин, и ту бессмысленную тошнотворную душевную *мягкость*, что лежала в основе ее существа. Но тогда эта детская игра в садовников по-настоящему его тронула, вызвала в душе прилив любви и нежности, желание защитить, особенно когда они вместе стояли на коленях

и он копал землю совком, вдыхая горьковатые запахи, а его возлюбленная, совершенно одурев от осеннего воздуха и от совершаемого ими «волшебного» действа, все спрашивала с тревогой: «Как ты думаешь, они взойдут?» Бедняжка, она всегда о чем-нибудь беспокоилась. Он сказал, что, конечно же, взойдут. И они взошли. Даже несколько штук. Но это он уже довольно плохо помнил. По-настоящему он сумел вспомнить только тот единственный, давно забытый и лишь сейчас вновь пришедший на память осенний день, когда они оба были всего лишь невинными детьми.

Чарли опустил жалюзи на окне. Пластмассовые, грязные от старости и покоробившиеся пластинки щелкали, не желая вставать на место, когда он дергал за веревку.

Его вдруг охватила паника. Она, точно крупная рыба-гольян, что всегда упорно поднимается по реке против течения, металась в его душе, вызывая такую страстную тоску по дому, какая порой охватывает ребенка, которого послали погостить у родственников и которому в такие минуты и мебель в чужом доме кажется слишком большой, темной и совершенно чужой, и все запахи воспринимаются как непривычные, и

каждая мелочь вокруг, словно атакующее войско противника, пугает своей, почти невыносимой, *инакостью*. Я хочу домой, думал Чарли. И это желание было столь мощным, что, казалось, выдавливало воздух у него из легких, потому что это «хочу домой» означало вовсе не его дом в Карлайле, Иллинойс, где они жили вместе с Мэрилин и по соседству с внуками. И вовсе не дом его детства, который тоже был там, в Карлайле. И не тот первый их дом в пригородах Мэдисона, где они с Мэрилин поселились сразу после свадьбы. Чарли и сам не понимал, о каком доме он так страстно тоскует, но чувствовал, что чем старше будет становиться, тем сильней будет тоска по *тому дому*. А поскольку он уже почти не выносил Мэрилин, хотя по-прежнему жил с нею — эта женщина по-прежнему вызывала в его охладевшей, подвергнутой экспатриации душе острую жалость, — ему было совершенно не понятно, как же быть дальше, то он время от времени позволял той рыбе-гольяну ненадолго притихнуть, перестать сражаться с течением его смутных мыслей и немного передохнуть там, в его нынешнем доме в Карлайле, рядом с которым, только чуть дальше по улице, жили и его внуки. Но затем тревога вновь просыпалась в его

душе. Рыба-гольян начинала метаться, выплывая даже на ту площадку для гольфа, где он порой все еще мог доставить себе удовольствие, глядя на раскинувшийся перед ним зеленый простор. Потом она плыла прямиком к той женщине с чудесными, темными как ночь, блестящими волосами, которая вот-вот могла появиться в этом номере мотеля — хотя, впрочем, запросто могла и не появиться, — но ни одно из тех мест, куда заглядывала его рыба-гольян, не казалось Чарли достаточно надежным, не казалось ему *домом*.

И тут в дверь номера кто-то тихонько постучал.

— Привет, Чарли. — Она улыбалась, глаза ее тепло светились.

Но как только она прошла мимо него в комнату, он сразу все понял. Его инстинкты были заточены в юности, и способность мгновенно чуять беду еще ни разу его не подводила.

И все же ему, мужчине, нужно было держаться с достоинством. А потому он кивнул и сказал:

— Здравствуй, Трейси.

Она прошла в глубь комнаты, и когда он увидел, что она захватила с собой ту сумку, в которой всегда носила все необходимое для ночлега — а почему бы, собственно, ей было и не захватить с

собой эту сумку? — его охватила нервная мимолетная радость. Но, когда она села на кровать и снова ему улыбнулась, Чарли все окончательно стало ясно.

— Пальто снять не хочешь? — предложил он.

Она пожала плечами и скинула пальто.

— Чарли…

Он был очень осторожен. Это, пожалуй, казалось ему увлекательной, рискованной игрой. Он чувствовал себя организмом, которому вот-вот будет нанесен удар, и старался использовать все свои естественные силы, дабы себя защитить. А для этого внимательно к ней приглядывался, замечая ямочки на щеках под красивыми высокими скулами, крупноватые поры на коже, а кое-где и извилистые рубцы, следы печальной юности, которая, как он знал, была у нее очень непростой. Заметил он и запах, исходивший от ее пальто, которое он держал в руках. Этот запах, хотя и довольно слабый, отнюдь не отличался изысканностью, его, скорее, можно было назвать чересчур насыщенным, даже липким, а потому он поспешил повесить пальто, но не в шкаф рядом со своей одеждой, а на спинку стула, стоявшего возле письменного стола. Заметил Чарли, разумеется, и то, как старательно она избегает его

взгляда, и в очередной раз подумал, что больше всего на свете ненавидит нечестность, а точнее, нехватку мужества.

Он постарался оказаться как можно дальше от нее — насколько вообще позволяли размеры крошечного номера — и стоял, прислонившись к противоположной стене.

Теперь она и сама на него посмотрела — с каким-то странным выражением лица, одновременно и презрительным, и извиняющимся.

— Мне нужны деньги, — выдохнула она и погладила покрывало на кровати. Каждый палец, включая большой, украшало кольцо, и он в очередной раз удивился и себе — вернее тому, как упорно его разум пытается напомнить: Чарли, ради бога обрати на это внимание! — и своему отношению к ней. Какими отвратительными *должны были бы* казаться ему многие ее черты и свойства, но тем не менее не казались. Призрачный флер классового превосходства никого не способен защитить надолго. Хотя очень многие сумели прожить целую жизнь, так этого и не поняв. Но Чарли прекрасно это понимал.

— Назови сумму, и все, — посоветовал он.

— Десять.

Он остался стоять там же, где стоял, когда на

маленьком прикроватном столике завибрировал его мобильник. Трейси наклонилась и глянула на экран.

— Твоя жена. — Просто сообщила. Совершенно равнодушно.

Чарли подошел, взял телефон и сунул в карман. Он еще некоторое время трясся в его ладони, потом затих. Затем, повернувшись к Трейси, по-прежнему сидевшей на кровати, он сказал:

— Я не могу, дорогая.

— Да нет, можешь! — уверенно возразила она, явно не ожидая подобного ответа. Это его несколько удивило.

— Нет. Не могу.

— Но, Чарли, у тебя ведь есть эти деньги.

— А еще у меня есть жена, дети и внуки.

Он купил шампанское, зная, что Трейси его любит, и видел, что она заметила бутылку на письменном столе, которую он заранее сунул в пластмассовое мотельное ведерко, наполненное льдом. Она немного помолчала, затем снова печально взглянула на Чарли.

— Ты разбиваешь мне сердце. Из всех…

Он рассмеялся — но смех этот был скорее похож на лай — и вместо нее закончил фразу:

— Из всех твоих «джонов» только я по-настоя-

щему способен разбить тебе сердце.

— Но это *правда.* — Она встала и подошла к столу, где стояло ведерко с бутылкой шампанского. — И, пожалуйста, не будь таким грубым, Чарли. У меня действительно есть клиенты, но ты не один из них.

— Я знаю, что у тебя есть клиенты.

— А «джоны» — это… такой вчерашний день, Чарли. Перестань ради бога.

— Ладно, забудь.

— И не подумаю!

— Трейси, стоп. Мне кажется, мы с тобой прямо сейчас собираемся разыграть одну из самых старых книжных историй, только мне она совершенно не интересна. Я и так знаю в ней каждую строчку, знаю, какая музыка там звучит за кадром, и я не хочу… — он повернул руку ладонью вверх, — этим заниматься. Не хочу и не буду. Только и всего.

Боль, промелькнувшая в ее глазах, послужила ему неким вознаграждением. Чарли всегда чувствовал, что она действительно его любит. Впрочем, и он ведь ее любил. И в его душе вдруг возникла некая освежающая ясность, которая, казалось, проникла в комнату, принеся с собой неожиданное и всеобъемлющее облегчение,

ощущение наведенного *порядка*… в вещах и делах. А теперь ступайте домой и приведите свои дела и вещи в порядок — так мог бы сказать врач. Нет, не вещи. Именно *дела.* Ступайте домой и приведите свои дела в порядок. Это мысленное уточнение невольно поразило Чарли своей смехотворностью. Он, пожалуй, даже обрадовался — пусть и совсем чуть-чуть — что столь многим людям, которые жили задолго до того, как он появился на свет, эта истина была уже известна, мало того, они вовсю ею пользовались, говоря, например: ступайте домой и приведите свои дела в порядок.

У него в кармане опять завибрировал мобильник. Чарли вынул его и посмотрел, кто звонит. «Мэрилин» было написано синим через весь экран.

— Хочешь, чтобы я вышла? — Вопрос прозвучал интимно, ведь в прошлом она задавала его множество раз. Впрочем, тон у нее был самый обычный, дружелюбный.

Он кивнул.

Она накинула пальто, а Чарли протянул ей ключ от комнаты и сказал:

— У них там есть маленькое лобби…

Но она сказала, что ей будет удобней в машине,

она спокойно посидит, послушает радио, и вообще никаких проблем, правда. Трейси всегда в таких случаях вела себя замечательно. Впрочем, ее работа в том и заключалась, чтобы вести себя замечательно в любых подобных случаях. Но даже после того, как она решилась открыть ему свое настоящее имя — она, помнится, сидела тогда, полностью одетая, на стуле возле письменного стола и вдруг сказала: «Я хочу назвать тебе свое настоящее имя», а потом в качестве доказательства вытащила водительское удостоверение, — она в любой, даже самой щекотливой ситуации продолжала вести себя замечательно. А после того как она показала ему свое водительское удостоверение, еще и настояла на том, чтобы он больше никогда не предлагал ей деньги. Возможно, все последнее время она обдумывала свое решение и пришла к выводу, что он все же ей должен. Может, и так. Дверь за ней тихо закрылась, и Чарли с трудом подавил желание подойти к окну и, раздвинув пластинки жалюзи, подглядеть, как она будет садиться в машину.

Его так и не оставила странная надежда, а точнее, приятное понимание того, что данная ситуация вскоре разрешится, что их отношения близки к завершению и уже в основном заверши-

лись. И, судя по ощущению, расставание вполне можно будет пережить, чего он раньше почему-то совсем не понимал.

Он поднес телефон к уху, и жена со слезами в голосе закричала:

— Чарли? Ой, прости, что я тебя потревожила, мне так стыдно, что я тебе надоедаю, правда, стыдно. Ты там, наверное, хорошо проводишь время, нет, я понимаю, что ты *не развлекаешься*, но это твое законное время, а я…

— Что случилось? — прервал он этот поток бессмысленных слов, не испытывая ни малейшей тревоги.

— Ох, Чарли, она опять так гнусно вела себя по отношению ко мне! Понимаешь, я к ним заглянула буквально на минутку — просто посмотреть, готовы ли платья девочек ко Дню благодарения, — а эта Дженет мне и говорит: «Мэрилин, я вас прошу, нет, я вам *заявляю*, причем совершенно открыто, что вы слишком часто сюда приходите. Это все-таки мой дом, а Стиви — мой муж, и нам необходимо личное пространство». Вот что она мне сказала, Чарли, представляешь? А Стиви, который, наверное, даже слышал это, если, конечно, был дома… только он ведь *совершенно бесхребетный*, наш дорогой сынок…

Чарли перестал слушать. Он хоть и помалкивал, но был полностью на стороне своих детей, а в данном случае — на стороне своей невестки. Выжидая, он присел на кровать, и жена в телефоне спросила:

— Чарли, ты где?

— Я здесь. — И он невольно посмотрел на себя в зеркало. Он давно перестал воспринимать свое отражение в зеркале как что-то знакомое.

Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы успокоить жену. Во всяком случае, этого было достаточно, чтобы он мог повесить трубку. Она еще раз извинилась, что потревожила его, поблагодарила и заверила, что теперь чувствует себя гораздо лучше.

— Ну, вот и хорошо, Мэрилин, — сказал он и отключился.

Оставшись один на один с царившей в комнате тишиной, Чарли понял, что означало то ощущение покоя и надежды, что все закончится хорошо, которое охватило его во время разговора с Трейси и теперь снова к нему вернулось: когда-то давно у него на сей счет даже возникла теория, которую он называл «клин клином вышибают». Однажды летом, когда Чарли был еще маленьким, он вместе с дедом сидел на крыше дома и помогал

ему укладывать твердые черепицы. Вот тогда-то он и обнаружил, что если по ошибке заедешь молотком, например, по большому пальцу, то в течение какого-то времени, пусть и очень короткого, тебе кажется, что никакой боли и нет вовсе, хотя ты и здорово стукнул по пальцу… Но *потом* — после нескольких мгновений ложного облегчения и растерянной благодарности за отсутствие боли — на тебя обрушивается *настоящая* боль, способная, кажется, разнести вдребезги все твое существо. На войне нечто подобное случалось с ним так часто и в таких разнообразных формах, что он порой думал, что создал поистине гениальный способ борьбы с болью — во всяком случае, аналогия с ушибленным молотком пальцем казалась ему в высшей степени подходящей. На войне он вообще очень многому научился, но ничто из этого, в том числе и теория «клин клином вышибают», никогда не упоминалось никем из психологов, приглашенных на встречи ветеранов, которые, как считала Мэрилин, он регулярно посещает.

* * *

Чарли встал. Его вдруг охватил острый приступ желания, плотского, телесного, но все же

включавшего в себя и многое другое. Это состояние не было для него таким уж незнакомым, и он, скрестив руки на груди и пытаясь успокоиться, принялся ходить взад-вперед вдоль огромной, королевских размеров кровати, накрытой покрывалом из очень прочной и надежной синтетической ткани, способной, казалось, вынести все на свете — ему много раз доводилось испытывать ее надежность, собственным телом чувствуя переплетение жестких нитей. Он все ходил и ходил. Иной раз он мог ходить так часами. И в итоге к нему возвращалось тепло обычных человеческих чувств.

Когда создавали Мемориал, Чарли к нему особого интереса не проявлял. Нет, он, Чарли Маколей, даже совсем, пожалуй, строительством Мемориала не интересовался. Но однажды — после того, как его много ночей подряд терзали мучительные сны о бомбардировках в Кесоне, — он пошел и купил билет на автобус до Вашингтона. И, боже мой, что он обнаружил! Чарли никак не мог унять слезы, беззвучно катившиеся у него по щекам, пока шел вдоль стены из темного гранита и читал на ней имена людей, облик которых тут же всплывал в его памяти. Он нежно касался надписей загрубелыми пальцами, и люди рядом

с ним — он чувствовал их реакцию, это были, скорее всего, туристы, — с уважением на него поглядывали и отходили в сторонку, давая ему возможность побыть у стены памяти одному. Он чувствовал, что эти люди его, плачущего мужчину, *уважают*! Ему никогда и в голову не приходило, что такое возможно.

А потом, вернувшись в Карлайл, он сказал Мэрилин: «Все-таки хорошо, что я туда съездил». И она удивила его, обронив лишь: «Я за тебя рада, Чарли». И уже вечером вновь заговорила об этом и предложила: «Послушай. Ты снова туда съезди и вообще езди каждый раз, как только у тебя возникнет такая потребность, я тебе от всей души это советую. Денег у нас вполне достаточно, чтобы ты мог в любой момент туда поехать». Вот так, подумал тогда Чарли, люди и впрямь способны без конца тебя удивлять. Причем не только своей добротой, но и неожиданным умением на редкость правильно и точно выразить то, о чем ты и сам думаешь.

Хотя ему казалось, что сам он никогда и ничего не мог выразить правильно и точно.

Как-то раз он был в универмаге вместе с сыном и невесткой — Дженет понадобилась толстовка, и Чарли пошел с ними за компанию. Он ходил

по магазину, ничем толком не интересуясь, но заметил, что сын, наоборот, проявляет самый искренний интерес к данному процессу и порой что-то вдумчиво изучает и обсуждает со своей женой, женщиной очень простой и милой. И это случайно им подмеченное искреннее участие сына в маленьких семейных советах настолько потрясло Чарли, что он буквально готов был преклонить перед Стиви колени. Нет, какой все-таки замечательный сын у него вырос! Он стал настоящим мужчиной, его повзрослевший мальчик, и способен со скромной готовностью обсуждать с женой, какую конкретно толстовку ей хотелось бы купить именно в этом магазине, пропахшем, словно цирк-шапито, дешевыми сладостями, арахисом и еще бог знает чем. Стиви перехватил взгляд отца, и его лицо, казалось, распахнулось ему навстречу.

— Эй, пап, ты как там? Не скучаешь или уже готов уйти?

И в памяти Чарли вдруг всплыли нужные слова: чист душой. Да, его сын был чист душой.

— Я в полном порядке, — ответил Чарли, сделав успокоительный жест рукой. — Выбирайте спокойно, не спешите.

Но понимая, что он, Чарли, несколько лет назад

так сильно испачкал себя, понимая, что и теперь он тот же Чарли, а не кто-то другой, он так и не смог сказать сыну: «Мальчик, ты стал достойным и сильным мужчиной, но ко мне это не имеет никакого отношения, из-за меня твое детство отнюдь не было усыпано розами, но ты с достоинством преодолел все эти непростые испытания, и теперь я горжусь тобой; мало того — ты меня просто удивляешь». Впрочем, выразить в словах и произнести вслух Чарли не смог бы даже сильно разбавленную версию тех чувств, которые в данный момент его обуревали. Он, наверное, не смог бы даже по плечу сына хлопнуть, здороваясь с ним или прощаясь.

* * *

Чарли настежь распахнул дверь номера и стоял на пороге, глядя в сторону парковки, чтобы Трейси поняла, что ей уже можно возвращаться. Когда она шла от своей машины к мотелю, он понял, что ей кажется, будто он за ней наблюдает — вот только он вовсе и не наблюдал за ней: вниманием его полностью завладели запахи осени, и этот воздух, вдруг ставший таким сырым и холодным, и аромат напоенной влагой почвы — все это пробудило в нем странное всепоглощающее

чувство, очень близкое к возбуждению. Осторожней, подумал он. Осторожней. И чуть отступил, пропуская Трейси в номер.

На этот раз она не стала снимать пальто и не села на кровать, а устроилась на стуле возле письменного стола. И по ее лицу он догадался, что все это время она готовилась к предстоящему разговору.

— Прошу тебя, Чарли, поверь мне. Пожалуйста, просто поверь. Мне действительно *очень нужны* деньги.

— Я это уже понял.

— Тогда… ну, пожалуйста!

Возможно, в глубине души он даже испытывал извращенное желание услышать, как она скажет, что он попросту ей должен. Но потом — впервые за все время их знакомства — увидел, что в глазах у нее стоят слезы, и спохватился.

— Ох, Трейси, расскажи-ка мне все. Ну же, детка! В чем дело?

— В моем сыне.

И Чарли постепенно — хотя на самом деле это произошло и очень медленно, и очень быстро, во всяком случае, так ему показалось — начал понимать, в чем дело. Ее сын угодил в беду из-за наркотиков. Задолжал какому-то типу десять

тысяч долларов. Понимание этого проникло в комнату, точно огромная темная птица с невероятно широким, пугающим размахом крыльев. Тогда он спросил Трейси напрямик, и она молча кивнула.

Теперь слезы ручьем текли у нее по щекам, все текли, текли, и она даже не пыталась их вытирать. И он был словно зачарован этим зрелищем — никогда прежде ему не доводилось видеть, чтобы она плакала. Чарли видел, как крупные капли размокшей туши падают ей на одежду, на бирюзовую нейлоновую блузку, на черную юбку, даже на туфли. Его жена никогда косметикой не пользовалась.

— Ну, хватит, Трейси, детка! Хватит, милая. — Он приобнял ее одной рукой, и ему показалось, что ей хочется прижаться к нему, и она бы, возможно, прижалась, но он вовремя сказал: — Смотри, Трейси, как бы тебе не оказаться в опасности.

Похоже, ее сильно задели эти слова, и она, тряхнув головой и стиснув в кулаки украшенные кольцами пальцы, заорала:

— Да что ты понимаешь? Ни хрена ведь не знаешь и не понимаешь, твою мать, а еще с глубокомысленным видом дерьмовые советы даешь!

Извини, конечно, но ты ведь, черт подери, вообще ни хрена обо мне не знаешь!

И оказалось, что этим взрывом гнева и отчаяния она ему даже помогла.

— Я просто не могу так поступить, — сказал он, и ему это было совсем нетрудно. — Я не могу снять с банковского счета десять тысяч долларов — да еще и Мэрилин об этом в известность не поставить. И в любом случае не собираюсь этого делать.

И тут зеленые глаза Трейси стали похожи на темные ноздри дракона, в глубине которых пылает пламя, — именно этот образ пришел Чарли в голову, когда он увидел, как изменилось ее лицо, а глаза расширились, словно ноздри разъяренной лошади, поднявшейся на дыбы и удерживаемой лишь туго натянутыми поводьями.

— Мой сын *умрет*, если я не успею принести эти деньги. — Теперь глаза ее были абсолютно сухими, а дыхание вырывалось изо рта короткими злыми толчками.

Чарли очень медленно опустился на краешек кровати лицом к ней, помолчал немного, потом наконец очень спокойно сказал:

— Пойми, я ведь понятия не имел, что у тебя сын есть.

— Ну, *естественно*! Я же тебе не говорила.

— А почему ты мне не говорила? — Это был совершенно искренний вопрос, потому что Чарли и впрямь был озадачен.

— Ну, наверное… — Трейси задумалась, приложив к подбородку палец, украшенный кольцом, и явно изображая несколько преувеличенную работу мысли. — Наверное, потому что, если б я объяснила тебе всю эту ситуацию, ты стал бы *хуже* ко мне относиться.

— Трейси, у многих людей дети попадают в беду. — Его раздражал сарказм Трейси. У него было такое ощущение, словно ему ножом сдирают с руки кожу. — С какой стати я из-за этого стал бы *хуже* к тебе относиться?

— Ха! Вот именно! Разве ты мог бы хуже относиться ко мне, когда хуже и так…

— Прекрати. *Чертттебяпобери.* Немедленно прекрати это. Прекрати, слышишь? — Чарли вскочил.

А Трейси тихо сказала:

— Сам прекрати! Меня тошнит от твоей либеральной белой жалости!

Как раз вовремя — Чарли всегда успевал вовремя, — он сумел сдержаться и не влепил ей пощечину, хотя ему очень этого хотелось, у

него даже кончики пальцев покалывало от нетерпения. Трейси с таким презрением от него отвернулась, что он и не подумал извиняться. Впрочем, презрение ее было не слишком искренним. Он отчетливо чувствовал в нем налет театральности.

У них в полку служил капеллан. Ох, какой же это был чудесный парень! И такой простой. «Господь плачет вместе с нами», — говорил он, и было абсолютно невозможно злиться на него за эти слова. А после той ночи в Кесоне им прислали другого капеллана, насквозь фальшивого. С театральными замашками. «Иисус — ваш лучший друг», — говорил этот новый капеллан с дурацкой напыщенностью, словно именно ему было поручено распределять среди них спасительные «пилюли Господа».

* * *

Однажды Чарли лежал в госпитале, а потом, после выписки, его попросили снова туда приехать и выступить перед группой молодых военных. Начальству казалось, что молодежи полезно послушать тех, кто воевал. Но все вышло по-другому — ох, у Чарли просто чуть голова не лопалась, когда он об этом вспоминал: вокруг него расста-

вили складные стулья, на них расселись совсем молодые ребята в военной форме и стали ему рассказывать, как они с боем входили в иракские города, как теперь не могут спать по ночам, как слишком много пьют, и выдержать все это для Чарли оказалось попросту не под силу. Некоторые из этих солдат были так молоды, что даже от подростковых прыщей не успели избавиться. А ведь когда-то он и сам отдавал *приказы* таким вот юнцам, и теперь ему было тошно на них смотреть. Его приводило в ужас то, что он испытывал к ним почти отвращение. Ибо уже одно то, что он находился в такой близости от них, невероятно обострило в нем ощущение реальной возможности собственной смерти. Кроме того, ему было совершенно ясно — собственно, этого он опасался с самого начала, — что парень, собравший и возглавивший эту группу, *понятия не имеет*, как ему быть дальше. Да и что он мог с этим поделать? Ну, поговорить, конечно, можно. Потом можно устроить перекур и еще поговорить. В общем, во время третьей подобной встречи Чарли сбежал, воспользовавшись перерывом на перекур, и вот тогда он по-настоящему испугался.

С Робин он познакомился благодаря вывешенному ею объявлению в Интернете. Ему тогда два

часа пришлось тащиться на машине из Карлайла в Пеорию, и впервые они встретились в лобби одной из старейших гостиниц города, недавно отремонтированной и переоборудованной. Вокруг сверкали стеклянные стены и искусственные водопады, где-то справа вежливо гудели лифты, а они с Робин сидели в баре и тихо беседовали. И вот тогда — о, великий и всемогущий Господь! — он впервые за много лет почувствовал себя почти счастливым. Эта светлокожая мулатка с зелеными глазами источала спокойную, сияющую уверенность в себе. И сияние этой чуть потрепанной самоуверенности почти сразу заставило Чарли полюбить в ней все — и щель между двумя передними зубами, и черную линию подводки на веках, и то, как мулатка, слушая его, то и дело повторяла: «Это точно». Он узнал, что ей сорок лет и у нее есть две дочери, которые во время ее вынужденных отлучек остаются у бабушки. Чарли тогда снял номер на самом верхнем этаже с видом на реку. Во время разговора он заметил, что Робин украдкой поглядывает на часы, явно не желая расходовать свое время зря, а потом, уже после всего, она прибавила к заранее оговоренному времени еще час. Но все равно она была очень приятная, такая спокойная, вежливая, и

эти качества никуда не исчезали даже во время чудных всплесков ее неподдельной бурной сексуальности. Он, впрочем, с самого начала почувствовал, что в ее сексуальности нет ни грамма фальши, именно поэтому ему всегда было с ней так хорошо. А это уже немало.

— Зачем ты этим занимаешься? — спрашивал он. — Ты такая настоящая. Все, должно быть, удивляются.

— Некоторые удивляются, но большинство нет. А занимаюсь я этим ради денег, — говорила она, садясь в постели и слегка пожимая плечами. — Все очень просто. — Позвонки у нее под кожей выстроились в такую идеальную прямую, что у Чарли дух захватило.

Это она предложила ему несколько месяцев спустя встречаться здесь, в этом мотеле, поскольку он находился примерно на середине пути от Пеории до Карлайла, и сэкономить — не останавливаться в модных дорогих отелях, а использовать эти деньги на то, чтобы почаще видеться. Вот только чаще он с ней видеться не мог. Чарли попросту не мог так часто уезжать из дома. Однако видеться они продолжали именно в этом мотеле, а сэкономленные деньги он отдавал ей. А потом они влюбились друг в друга — на

самом деле он в нее с самого начала влюбился, да и она призналась, что тоже почти сразу в него влюбилась. Вот тогда она и сказала, что на самом деле ее зовут Трейси, сказала это, сидя в этом вот самом кресле полностью одетая. И с тех пор прошло семь месяцев, и все это время они были отчаянно, безнадежно влюблены друг в друга. А состояние отчаяния и безнадежности Чарли всегда терпеть не мог.

* * *

Трейси стояла в ванной, вытягивая листочки туалетной бумаги из специальной щели в стене — в мотеле явно позаботились о том, чтобы постояльцы никоим образом не смогли украсть всю коробку с бумагой. Чарли, сидя на кровати, смотрел, как она один за другим достает эти жестковатые полупрозрачные листочки и вытирает ими лицо. Затем она протерла кожу влажной гигиенической салфеткой, накрасила губы и вернулась в комнату. А Чарли вновь посетило чувство облегчения. Впрочем, оно особенно далеко и не уходило. Он понимал: все скоро кончится, а это и было для него сейчас самым важным. И тут вдруг Трейси — нет, до чего все-таки люди порой способны удивить тебя! — выдала нечто и

впрямь его насмешившее. Она сказала: «Я думала, у тебя хватит характера, чтобы помочь мне выпутаться».

Чарли попросил ее повторить, и она повторила, но посматривала на него уже настороженно. А он, плюхнувшись на кровать, расхохотался и еще долго смеялся, но смех его звучал не слишком приятно. Потом он все же заставил себя остановиться и сказал, вытирая рукавом лицо:

— Да нет, мне его не хватает. — И, заметив, что она смотрит на него с легким раздражением, пояснил: — Характера. Характера мне не хватает.

Похоже, давным-давно миновали те дни, когда считалось, что нет ничего важнее характера, словно характер — это алтарь, перед которым все приличия и добродетели склоняют голову. Наука доказала, что все определяет генетика, а старомодную чушь насчет характера надо забросить в далекий лес. Наука доказала также, что тревога передается от человека к человеку, так что и вам ее кто-то передал или же она возникла в результате травмирующих событий. Наука доказала, что сам по себе человек не силен и не слаб, а просто *таким создан*... Да, Чарли не хватало характера! Точнее, благородства характера. В общем-то, произошедшее с Чарли можно было

бы сравнить с тем, что человек бывает вынужден отречься от религии, столкнувшись с низменными, подлыми и грубыми поступками со стороны ее служителей. С тем, например, что католическая церковь издавна — гнездо педофилии и бесчисленных грязных тайн, а папы римские сотрудничали с Гитлером и Муссолини. Чарли католиком не был, но никак не мог понять, почему немногочисленные знакомые ему католики продолжают ходить к мессе, никак не мог понять, почему они это делают, зная, что на самом деле творится за сверкающим фасадом католической церкви, которая, безусловно, потерпела полный крах. Впрочем, примерно та же фальшь крылась и в протестантских проповедях, славивших тяжкий труд, скромность и пресловутое наличие характера. Характер! Да кто теперь пользуется этим словом?

А вот Трейси, оказалось, пользуется. В самом прямом смысле. Чарли снова посмотрел на нее. Вокруг глаз у нее по-прежнему виднелись следы размазавшейся туши.

— Эгей, детка. Иди-ка сюда, Трейси, милая. — И обнял ее.

А она вдруг очень тихо сказала:

— Мое имя вовсе не Трейси. — И прибавила:

— Мои водительские права — подделка. Вот так. И все вокруг сплошь фальшь и подделка. Понимаешь? — Она еще ближе наклонилась к нему и прошептала: — Фальшь и подделка.

Он прорычал в ответ нечто нечленораздельное. Ничего необычного в этом не было. Он часто невольно издавал подобные звуки. Иной раз, когда это случалось где-нибудь в общественном месте, окружающие попросту пугались. А однажды в библиотеке Чарли заметил, что один молодой парень как-то очень странно на него смотрит, и сразу догадался, что, наверное, опять невольно зарычал или заворчал — в общем, исторг устрашающий звук. А Мэрилин — вот дура-баба! — еще принялась шепотом объяснять тому парнишке: «Он ведь на войне был!»

Парнишка и не понял, что именно Мэрилин имела в виду.

Многие молодые люди не знали даже названия той войны, в которой участвовал Чарли. Может, потому что это считалось «вооруженным конфликтом», а не войной? А может, страна от стыда взяла да и спрятала эту войну за спину, точно ребенок, который еще не научился как следует вести себя в общественных местах и слишком много шумит и всем надоедает? А может, всего

лишь потому, что таков путь развития всемирной истории? Ответа на этот вопрос Чарли не знал. Однако он чуть не заплакал, когда тот мальчишка, сверкнув великолепными зубами — теперь у всех молодых великолепные зубы, — спросил: «Простите, а на какой войне? Я не совсем понял…» — и за этим последовало абсолютно фальшивое извинение и такая же фальшивая самоуничижительная гримаса, а затем тщетные попытки определить, сколько же Чарли может быть лет, и новый вопрос: «Еще раз прошу меня простить, но вы, наверное, имели в виду первую войну в Ираке?» Да, тогда Чарли хотелось не просто заплакать — ему захотелось завыть, а потом прореветь во всю мощь своей глотки: «Так во имя чего мы творили *такое*! Во имя чего, во имя чего, во имя чего?»

Он ведь тогда, после той войны, так и не сумел избавиться от неприязни к азиатам.

А еще — к женщинам, которые смотрели на него со страхом.

— У меня появилась одна идея. — Чарли встал. — Идем.

Трейси, вскинув сумку на плечо, ждала, пока он собирался. Нет, она не смотрела на него со страхом. Она вообще на него не смотрела.

Металлические вешалки в шкафу звякали, стукаясь друг о друга, когда он доставал оттуда свою куртку. Крючки вешалок были намертво примотаны проволокой к перекладине, чтобы их нельзя было украсть. «Все нормально?» — весело спросил он, надевая куртку, и подошел к двери, вежливо пропустив Трейси вперед. Он испытывал хорошо знакомое ему, но все же весьма странное ощущение, будто наблюдает за собой со стороны. А еще он чувствовал некоторую растерянность — все-таки он очень сильно ее любил, хотя теперь это было скорее осознание прошедшей любви, а не настоящее чувство. Ни на одном мыслимом уровне их любовь не имела ни малейшего смысла, за исключением одного-единственного момента, самого для него главного: ведь тогда она, по сути дела, спасла его, подарила ему пространство, внутри которого он снова смог дышать. А может, он сам — но благодаря ей — подарил себе это пространство, ведь сейчас, глядя на нее, Чарли не испытывал ничего — абсолютно ничего! — способного пробудить в его душе столь сильное чувство, как любовь. Да, его по-прежнему влекло к ней, он хотел ее и все же понимал, что ему так и не удалось сложить этот пазл. Впрочем, теперь, слава богу, все почти позади, и он вновь

испытал чувство облегчения — перед ним словно открылся необозримый простор.

— Поезжай следом за мной, — сказал Чарли, развернулся и поехал в обратном направлении, то есть к центру города, которого почти не знал, если не считать поездок в мотель. Во время этих поездок он запомнил универмаг на Мейн-стрит и еще викторианского вида гостиницу «B&B»[4], где у входа постоянно висело объявление: «Есть свободные номера». Впрочем, сама гостиница казалась очень приятной, гостеприимной, а свежий бледно-голубой цвет ее стен чем-то напоминал застенчивого ребенка с доброй, спрятанной глубоко внутри душой. Чарли понятия не имел, есть ли здесь отделение его банка и где оно может находиться, но ехал так уверенно, словно оно должно было непременно появиться прямо у него перед носом. Он лишь иногда поглядывал в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что Трейси по-прежнему следует за ним, и видел, что она от волнения даже губу прикусила — этот жест был настолько ему знаком, что в зеркало, собственно, можно было и не смотреть. К этому времени солнце, находившееся справа от него,

---

**[4] Примечания: 4**
Bed & Breakfast *(англ.)* — «постель и завтрак».

уже зашло, и он снова обратил внимание, что чувствует себя на редкость хорошо. Проезжая мимо старой церкви, он даже подумал, что, если бы Трейси не ехала за ним следом, он, возможно, подъехал бы поближе, остановился на обочине и как следует эту церковь рассмотрел.

Иногда у него возникала потребность помолиться. Впрочем, эта потребность вызывала у него примерно такое же отвращение, как вид собственной жены. Он был воспитан в рамках методистской церкви, которая ровным счетом ничего для него не сделала и никак на него не повлияла, разве что каждое посещение этой церкви было для него связано с тошнотой — в детстве его всегда сильно укачивало в машине. Он несколько раз посетил службу в конгрегационалистской церкви, правда, вместе с Мэрилин и только потому, что она этого хотела. Однако подобный опыт исполнения святого долга оказался недолговечен, и как только подросли их дети, он сказал жене, что посещать церковь выше его сил, и она не стала с ним спорить: они просто перестали туда ходить. И никто их за это не преследовал. Так что, если не считать крещения внуков и похорон мужа Пэтти Найсли, Чарли в течение многих лет в церковь даже не заглядывал.

Но в последнее время ему иногда хотелось войти в церковь и помолиться, *преклонив колена.* Вот только о чем бы он стал молиться? О прощении. Только об этом и стоило молиться — тем более если ты Чарли Маколей. Чарлз Маколей не имел права на такую роскошь — на такую глупость, — чтобы молиться за здравие своих детей или за то, чтобы крепче любить жену. Нет-нет-нет-нет! Он, Чарли Маколей, имел право молить Бога, *умолять Его, преклонив колена*, лишь об одном: дорогой Бог, прости меня, если только сможешь.

Но до чего тошнотворно! Да уж, даже мысли о чем-то подобном вызывали у него тошноту.

Чуть дальше, справа от себя, за очередным светофором, Чарли заметил вывеску отделения своего банка. Вырулив на стоянку, он увидел, что банк все еще открыт, и его охватило чувство странной завершенности. Ощущение достигнутой цели. Он подождал, пока Трейси припарковалась рядом, и жестом велел ей оставаться на месте, и она молча кивнула один раз в знак согласия. А через десять минут он вернулся и вручил ей два конверта с наличными — конверты были мягкими и пухлыми, как плоть, и он сунул их прямо в полуоткрытое окошко с водительской стороны. Она тут же опустила стекло пониже, явно собираясь его

благодарить, но он остановил ее, отрицательно покачав головой, и спокойно сказал:

— Если ты еще хоть раз попытаешься со мной связаться, я сам тебя выслежу и собственными руками прикончу. Как бы тебя там на самом деле ни звали — Трейси, Лейси, Шитти или Притти. Поняла? Потому что деньги тебе снова понадобятся.

Она тут же завела машину и поехала прочь.

Вот после этого Чарли и начало трясти — сперва задрожали руки, потом плечи, потом ляжки. Собственно, он и раньше крал деньги у Мэрилин, так разве сегодня он совершил нечто иное? Да, он считал, что сегодняшний поступок — это нечто совершенно иное, чем все его прошлые преступления. Ведь денег он теперь больше не зарабатывал, как, впрочем, и Мэрилин. И получалось — понимание этого потрясло его до глубины души, — что он *действительно* украл деньги у собственной жены. Он еще долго сидел в машине, пока не почувствовал, что в состоянии ее вести.

На западном краю неба горел лишь последний, слабый отблеск заката — это было самое опасное время суток, когда сумерки сменяются полной темнотой. Ночь спустилась очень быстро и незаметно. Однако время было еще далеко не ночное. Еще много часов пройдет, прежде чем кто-то смо-

жет уснуть. Таблетки, которые принимал Чарли, давали ему в лучшем случае пять часов сна.

* * *

Гостиница «B&B», мимо которой он чуть раньше проезжал, внутри была куда более просторной, чем казалось с улицы. Он припарковался на стоянке за нею, обошел здание — воздух был хрусткий, морозный, и его прикосновение к лицу чувствовалось, как ореховый лосьон после бритья, которым Чарли когда-то, много лет назад, пользовался, — и поднялся на крыльцо. Деревянные ступеньки под ним чуть поскрипывали, и это было ему отчего-то приятно. Он инстинктивно чувствовал, что выбрал хорошее место: в таком месте и следует находиться человеку после того, как его настигнет настоящий удар. Здесь он сможет чувствовать себя в безопасности, здесь его примут таким, какой он есть. Женщина, открывшая ему дверь, оказалась примерно его ровесницей или даже немного старше. Она была очень маленькая, аккуратная и подтянутая, с чистой хорошей кожей. И он сразу подумал: она же меня испугается! Но она, похоже, ничуть не испугалась. И, глядя ему прямо в глаза, спросила, подойдет ли комната без телевизора, потому что,

если он захочет посмотреть телевизор, то это можно сделать в гостиной, и, похоже, кто-то из ее «гостей» телевизор уже включил.

Сперва Чарли сказал, что никакой телевизор ему не нужен, но когда увидел свой номер, то понял, что просто не сможет сидеть там и чего-то ждать, так что он вернулся в холл, — и хозяйка, увидев его, сказала: «Конечно, конечно», и дала ему пульт дистанционного управления. А потом спросила: «Вы не возражаете, если и я к вам потом присоединюсь, когда на кухне все дела переделаю?» Он, разумеется, сказал, что не возражает, а она прибавила: «Мне, в сущности, все равно что смотреть». И до него как бы издалека донеслось эхо ее собственной затаенной боли — хотя у кого в нашем возрасте, подумал он, нет подобного «эха»? И почти сразу же предположил: а ведь, наверное, очень многие как раз никакого такого «эха» не слышат. Ему, впрочем, и раньше часто казалось, что, как ни странно, большинство не слышат тех отголосков боли, что безмолвными шумами постоянно звучат у него в голове.

Он сел на диван, слушая, как она возится в кухне. Потом, скрестив руки на груди, принялся смотреть какую-то британскую комедию, потому что они всегда такие смешные, нелепые и страш-

но далекие от реальности — в общем, безопасные. Да, эти британские комедии всегда безопасны: подчеркнуто чистое произношение, шум голосов, звяканье чайных чашек… Он сидел и ждал, зная, что она непременно на него обрушится — та невыносимая, мучительная боль — и станет накатывать волна за волной — еще бы, после такого удара, как этот, она, конечно же, придет!

Хозяйка гостиницы тихонько проскользнула в ту комнату, где Чарли смотрел телевизор, и он краешком глаза заметил, что она устроилась в большом кресле, стоявшем в углу. «О, отлично», — прошептала она, и он догадался, что женщина имела в виду выбранный им фильм.

Ему хотелось спросить у нее: «Если бы вы придумали себе другое имя и назвались, скажем, Трейси, то как, по-вашему, звучало бы в таком случае ваше настоящее имя?»

И вот боль начала подбираться к Чарли все ближе и ближе. Да, черт возьми, он отлично знал, как это бывает! С ним такое не раз случалось и раньше, и он понимал, что потом все так или иначе закончится, но на этот раз это продолжалось гораздо дольше, чем он рассчитывал.

К боли невозможно привыкнуть никогда, кто бы что ни говорил. Но сейчас Чарли впервые при-

шла в голову мысль о том — неужели эта мысль и впрямь пришла ему в голову впервые? — что на свете есть нечто куда более страшное: люди, которые больше не чувствуют боли. Ему доводилось видеть такое в глазах людей — эту страшную пустоту, за которой скрывается *отсутствие* того, что, собственно, и определяет людей как *людей.*

Чарли сел чуть прямее и буквально впился в экран телевизора. Он ждал — и надежда таилась в нем сейчас, точно луковичка крокуса в земле. Он ждал и надеялся, он почти молился: «Ох, милый Боже, пусть она поскорей придет. Прошу Тебя, пошли ее, пожалуйста, Ты ведь можешь, да? Так, пожалуйста, сделай так, чтобы она поскорей пришла!»

# Мэри из штата Миссисипи

— Скажи своему отцу, что я по нему скучаю, — всхлипнула Мэри и промокнула глаза салфеткой, которую подала ей дочь. — Пожалуйста, передай ему это! Скажи, что мне очень жаль.

Анджелина негодующе возвела глаза к потолку — в этих итальянских квартирах всегда такие высокие потолки! — затем ненадолго отвернулась к окну, за которым виднелось море, и снова посмотрела на Мэри. Она все никак не могла привыкнуть к тому, какой старой и крошечной стала ее мать. И какой-то совершенно коричневой, даже странно.

— Мам, — сказала она, — *пожалуйста*, прекрати. Пожалуйста, прекрати это, мам! Я истратила все свои сбережения — а я целый год деньги копила! — чтобы прилететь сюда, и что я вижу? Ты живешь в убогой — извини, но она действительно убогая! — двухкомнатной квартирке с этим типом, с этим твоим, прости господи, новым мужем, который почти что *мой* ровесник! И этот факт мы, между прочим, проигнорировали, да и что нам еще оставалось делать? А ведь тебе,

мама, уже восемьдесят.

— Семьдесят восемь, — поправила ее Мэри и перестала плакать. — И вовсе он не твой ровесник. Ему шестьдесят два года. Так что успокойся, детка.

— Ладно, пусть семьдесят восемь. Но ты перенесла и инсульт, и инфаркт…

— Ох, да хватит о болезнях! Это же сто лет назад было.

— А теперь ты хочешь, чтобы я передала папе, что ты по нему скучаешь.

— Но я правда по нему скучаю, детка. По-моему, и он иногда по мне скучает. — Поставив локоть на подлокотник кресла, Мэри вяло помахивала в воздухе бумажной салфеткой.

— Мам, ты что, не понимаешь? О господи! Ты, пожалуй, и впрямь не понимаешь! — Анджелина снова села на диван и схватилась за голову, запустив пальцы в волосы.

— Пожалуйста, детка, не кричи. Разве тебя так воспитывали? Разве можно кричать на людей? — Мэри машинально сунула салфетку в свой большой желтый кожаный ридикюль. — У меня, кстати, никогда не было ощущения, что я по-настоящему что-то понимаю. И я действительно многих вещей не понимала. Тут я с тобой

согласна. Но ты все же не кричи на меня, Анджелина. Пожалуйста, не кричи. Я ведь, кажется, уже просила об этом?

Анджелина была самой младшей из пяти дочерей Мэри и (втайне) ее самой любимой. Мэри даже имя ей дала такое, потому что с самого начала беременности знала, что носит под сердцем ангела[5]. Сев прямо, Мэри посмотрела на дочь, на свою любимую девочку, которая давно превратилась в женщину средних лет. Но Анджелина на взгляд матери не ответила. Со своего кресла, стоявшего в углу, Мэри видела церковный шпиль, освещенный солнцем, и решила дать глазам отдохнуть, созерцая его.

— Папа постоянно кричал дома, — сказала Анджелина, не сводя глаз с обивки дивана, — так что ты не можешь на меня сердиться из-за того, что и я все время ору, и говорить, что меня не так воспитывали, — я ведь росла в семье настоящего крикуна. Да уж, папа у нас любил поорать.

— «Старый крикун», — с нежностью произнесла Мэри, прижав руку к груди. — Помнишь такой грустный старый фильм? Честно говоря, не понимаю, зачем мы вас, детей, на него потащили.

---

**[5] Примечания: 5**

Имя Анджелина (Angelina) образовано от слова angel (*англ.*), — «ангел».

Тамми потом, по-моему, целый месяц не спала. Помнишь, как они отвели бедного пса на луг и убили?

— Они были вынуждены это сделать, мам. Он заболел бешенством.

— Чем?

— Бешенством. Ох, мамочка, только не заставляй меня еще сильней грустить. — Анджелина даже глаза на минутку закрыла и помотала головой.

— Ну, конечно, ты не хочешь грустить, — согласилась мать. — Но неужели ты действительно потратила все свои сбережения, чтобы сюда добраться? И что, твой отец даже деньгами не помог? Детка, я вовсе не сержусь, что ты все время кричишь. И вообще давай-ка лучше пойдем и немного развлечемся.

— В чужой стране все кажется очень сложным и непривычным, — сказала Анджелина. — А итальянцы, по-моему, даже гордятся тем, что не говорят по-английски. Ты хоть задумывалась об этом, когда сюда приехала? О том, как все здесь сложно и непривычно?

— Задумывалась, конечно, — кивнула Мэри. — Но ведь постепенно ко всему привыкаешь. Сначала я, представь себе, неделями не решалась

даже в кофейню на углу зайти, если со мной не было Паоло. Они ведь там сперва решили, что я его мать. Потом выяснили, что жена, и, кажется, стали над нами смеяться. Но Паоло научил меня расплачиваться, просто положив монеты на тарелку.

— Мам…

— Что, детка?

— Ох, мамочка, как грустно все это слушать!

— Ты о том, что я не знала, как положить на тарелку нужное количество монеток?

— Нет, мам. О том, что они считали тебя его *матерью.*

Мэри немного подумала.

— С какой стати им это в голову пришло? Я американка, а он итальянец. Вполне возможно, они так вовсе не считали.

— Ты *моя* мать! — не выдержала Анджелина, и Мэри чуть снова не расплакалась, потому что вдруг с мучительной ясностью поняла, какое зло она, должно быть, причинила им, своим детям, а также мужу, хотя она, Мэри Мамфорд, никогда в жизни не хотела и не стремилась никому причинять зло.

* * *

В кафе, находившемся за церковью, они устроились у окна. Почти все окна этого кафе, построенного на прибрежных скалах, смотрели на море, которое, как и все вокруг, сверкало в полдневных лучах августовского солнца. Последние четыре года Мэри не переставала восхищаться красотой этой деревни. Но сейчас ее волновало другое: старшая дочь, Тамми, сообщила по электронной почте, что у Анджелины нелады с мужем. Получив письмо, Мэри сразу решила, что непременно спросит об этом у самой Анджелины, как только они окажутся наедине, но пока чувствовала себя явно не в состоянии задать подобный вопрос. Видимо, придется подождать, думала она, пока дочь сама заговорит. Мэри указала Анджелине на большой круизный корабль, следующий в Геную, и та кивнула. Окно, у которого они сидели, было открыто, и дверь в кафе тоже была распахнута настежь. Мэри доела абрикосовое корнетто[6] и, положив руку на плечо дочери, стала тихонько напевать: «Ты всегда в моих мыслях», но Анджелина нахмурилась:

---

**[6] Примечания: 6**
Мороженое в хрустящем вафельном рожке *(итал.).*

— Неужели ты по-прежнему сходишь с ума по Элвису?

— Ага, схожу. — Мэри села прямо, положила руки на колени и похвасталась: — А Паоло загрузил мне в телефон все его песни!

Анджелина открыла рот, но говорить передумала и снова его закрыла.

А Мэри, краем глаза наблюдая за ней, в очередной раз отметила, что возраст уже коснулся и ее девочки: появилось много новых морщин и возле рта, и в уголках глаз. Этих морщин Мэри не помнила. И светло-каштановые волосы Анджелины, по-прежнему длинные, ниже плеч, показались матери более жидкими, чем прежде. И джинсы на ней сидели уж больно в обтяжку, только что не лопались! На них Мэри сразу обратила внимание.

— Понимаешь, детка, — сказала Мэри, слегка махнув рукой в сторону моря, — мне очень нравится, что в Италии люди живут более открыто. Вот, например, эта распахнутая дверь, это открытое окно…

— Мне холодно, — прервала ее Анджелина.

— Вот, возьми-ка. — И Мэри подала ей шаль, которую всегда носила с собой. — Хорошенько ее разверни, — посоветовала она, — и тогда ее

вполне хватит, чтобы закутать твои худенькие плечики.

Младшая дочка так и поступила.

— Расскажи мне, как ты живешь, — попросила Мэри. — Мне интересна любая, даже самая чепуховая мелочь, какая тебе вспомнится.

Анджелина порылась в своей голубой сумочке из соломки, извлекла оттуда мобильник и положила его между ними на стол.

— Ну, например, мы с близнецами посетили ярмарку ремесел, и ты не поверишь, что мы приобрели. Погоди, по-моему, у меня фото сохранилось. — Мэри вместе со стулом придвинулась поближе и пристально вгляделась в телефон. На экране был хорошенький розовый свитер, который кто-то из близнецов купил Тамми на день рождения.

— Еще расскажи что-нибудь, — попросила Мэри, чувствуя, как разрастается ее желание, становясь огромным, как небо. Покажи мне, покажи мне все! — кричало ее сердце. — Покажи мне *все* свои фотографии, — сказала она. Анджелина, прищурившись, заглянула в телефон и сообщила:

— Но у меня здесь шестьсот тридцать два снимка.

— Вот и покажи все! — И Мэри, лучезарно улыбаясь, посмотрела на младшую дочь.

— Только не плакать, — предупредила Анджелина.

— Ни слезинки не пророню.

— Хорошо. Одна слезинка — и просмотр тут же прекращается.

— О господи! — вздохнула Мэри, думая: и кто только эту девочку воспитывал?

* * *

Когда они пешком возвращались в caseggiato[7], солнце зашло за облако, отчего свет вокруг драматичным образом переменился. День сразу стал казаться осенним, хотя с этим и спорили пальмы и яркие стены домов. Эту неожиданную мрачность почувствовала даже Мэри, хотя она, по всей видимости, должна была бы давно привыкнуть к подобным мгновенным переменам. Но сейчас Мэри пребывала в расстроенных чувствах. Она испытывала сильнейшую растерянность, рассмотрев в телефоне дочери все фотографии и убедившись, что жизнь в Иллинойсе прекрасно продолжается и без нее.

---

**[7] Примечания: 7**

Дом или квартал со скромными недорогими квартирами (*итал.*).

— Мне на днях вспомнились эти «хорошенькие девушки Найсли», — сказала она. — Вообще-то, наверное, я наш клуб вспоминала и танцы, которые там бывали.

— Твои «хорошенькие девушки Найсли» были натуральными шлюхами, — бросила Анджелина через плечо.

— Ничего подобного! Не говори глупостей!

— Мам, — дочь остановилась и повернулась к матери. — Мам, они были настоящими шлюхами. По крайней мере две старшие. Они спали абсолютно с каждым.

Мэри тоже остановилась. И, сняв темные очки, посмотрела на Анджелину.

— Ты серьезно?

— Мам, ну ты что? Я думала, ты и сама знаешь.

— Откуда же мне было это знать?

— Мам, это же *все* знали. И я тебе в свое время об этом говорила. Боже мой… — Анджелина немного помолчала, потом сказала: — Впрочем, Пэтти такой не была. По-моему, нет.

— Пэтти?

— Младшая из девиц Найсли. Мы с ней теперь дружим. — Анджелина поправила на носу сползающие темные очки.

— Ну, так это же очень хорошо. Это *очень-очень*

*хорошо*. И давно вы стали подругами?

— Четыре года назад. Мы работаем вместе.

Четыре года, думала Мэри. Целых четыре года я не видела тебя, моего дорогого маленького ангела. И она, искоса глянув на дочь, снова пришла к выводу, что эти джинсы слишком туго обтягивают небольшую попку Анджелины. Все-таки она зрелая женщина. А может, у нее *роман*? Мэри медленно покачала головой.

— Видишь ли, мне они молоденькими девушками помнятся. Им тогда очень подходило это прозвище «хорошенькие девушки Найсли». Нас с твоим отцом к одной из них пригласили на свадьбу, которую в нашем клубе праздновали.

Анджелина сделала еще несколько шагов и, обернувшись, спросила через плечо:

— Ну, а по этому своему клубу ты не скучаешь?

— Да нет, детка. — Мэри шла с трудом, чувствуя, что задыхается. — Нет, пожалуй, по клубу я совсем не скучаю. Я, как ты знаешь, подобные развлечения никогда особенно не любила.

— Тем не менее вы часто туда ходили. — Легкий порыв ветра разметал волосы Анджелины, поднимая и путая их концы.

— Ну да, ходили. — Мэри, сильно отставая от дочери, тащилась вверх по улице, и через неко-

торое время Анджелина остановилась, поджидая ее. — Там у них возле одной из стен устроили стеклянную витрину, где выставили множество разных индейских наконечников для стрел, еще какое-то оружие, не помню точно, какое.

— Не знала, что тебе наш клуб не очень-то и нравится. А ведь мы, мам, и *мою* свадьбу тоже там праздновали!

— Детка, я просто сказала, что мне не особенно по душе были тамошние развлечения, и это правда. Меня иначе воспитывали. Да и потом, я так и не смогла к этому привыкнуть: ни к дурацкой демонстрации новых платьев, ни к бесконечной глупой болтовне женщин. — О господи, думала Мэри, ох-хо-хо.

— Мам, а ты помнишь миссис Найсли? Ты знаешь, что с ней случилось? — Глаза Анджелины, прикрытые темными стеклами очков, смотрели матери в лицо.

— Нет, я ничего не знаю. А что с ней приключилось? — спросила Мэри, и ее тут же охватила тревога, тяжко сдавившая грудь.

— Да, в общем, ничего особенного. Ну, пошли дальше?

— Погоди минутку, — сказала Мэри и нырнула в крошечный магазинчик. Анджелина с

трудом протиснулась следом и услышала, как человек за прилавком говорит: «Ah, buongiorno, buongiorno»[8], а Мэри отвечает ему по-итальянски, указывая на Анджелину. Затем он положил на крошечный прилавок пачку сигарет, и Мэри сказала: «Si, grazie»[9], а потом прибавила что-то еще, чего Анджелина не поняла, и продавец широко улыбнулся, показывая плохие, все в черных пятнах, зубы. Впрочем, некоторые из них и вовсе отсутствовали. Затем продавец еще что-то быстро сказал ее матери, и она повернулась к выходу, наткнувшись на Анджелину своим большим желтым кожаным ридикюлем.

— Детка, он говорит, что ты прекрасна. Bellissima! — восторженно сообщила она и снова заговорила с продавцом. А когда они вышли на улицу, пояснила: — Он сказал, что ты очень на меня похожа. Господи, да я сто лет ничего подобного не слышала! А ведь раньше люди часто говорили: «Как же она на мать похожа!»

— Мам, ты что, все еще куришь?

— Ну да, но всего одну-единственную сигарету в день.

---

**[8] Примечания: 8**
Добрый день *(итал.).*

**[9] Примечания: 9**
Да, спасибо *(итал.).*

— Мне в детстве всегда было страшно приятно, когда говорили, что я на тебя похожа, — призналась Анджелина. — А ты уверена, что тебе вообще можно курить? Даже одну сигарету в день?

— Но ведь я до сих пор не умерла. — И Мэри с трудом сдержалась, чтобы не прибавить: — Вот ведь странно, правда? Впрочем, она заранее решила, что ни в коем случае не станет говорить с дочерью о своей смерти.

Анджелина, как в детстве, просунула свои пальцы матери в ладонь, и та, сжав руку, вдруг рывком отодвинула дочь в сторону — оказывается, нужно было пропустить женщину, ехавшую на велосипеде. Анджелина обернулась и, с удивлением глядя этой женщине вслед, сказала:

— Господи, мама, да она ведь как минимум *твоя* ровесница! И все еще курит! И на шее у нее ожерелье из настоящего жемчуга! И туфли на высоких каблуках! И она в таких туфлях на велосипеде разъезжает! А на багажнике у нее целая корзина продуктов!..

— О, детка, как я тебя понимаю! Меня такие вещи тоже очень удивляли, когда я сюда приехала. А потом я во всем разобралась и поняла, что эти женщины — такие же люди, как и те, что приезжают в «Волмарт» на автомобилях.

Анджелина зевнула во весь рот. Помолчала и сказала:

— Ты всегда всему удивлялась, мам…

* * *

Войдя в квартиру, Мэри сразу прилегла на кровать — в это время дня она всегда отдыхала, — и Анджелина сказала, что пока напишет письмо своим детям. С постели Мэри хорошо видела море за окном.

— Принеси сюда компьютер, — крикнула она дочери, но та крикнула в ответ:

— Нет, мам, отдыхай. Я лучше здесь посижу. А попозже мы с тобой еще раз свяжемся с ними по скайпу.

Пожалуйста, думала Мэри, ну пожалуйста, иди сюда, побудь со мной! Уже одно то, что младшая дочь — ее *любимица*, хоть и единственная из всех ее детей, которая четыре года к ней не приезжала, *отказываясь* с ней встречаться! (впрочем, год назад она все же пообещала, что непременно приедет) — ее девочка (нет, взрослая женщина!) сейчас рядом, в соседней комнате, давало Мэри ощущение естественности ее собственной жизни. И все же ей казалось не совсем естественным, что Анджелина находится здесь. Пожалуйста, пожа-

луйста, повторяла про себя Мэри. Но чувствовала, что устала, так что «пожалуйста» могло с тем же успехом относиться и к Паоло — пожалуйста, пусть он хорошо проведет время в Генуе со своими детьми, у которых он сейчас в гостях. Или же к остальным ее девочкам — пожалуйста, пусть все они будут здоровы и благополучны. Ох, да мало ли на свете разных вещей, по поводу которых Мэри могла сказать «пожалуйста, Господи…».

Кэти Найсли — вдруг вспомнилось ей.

Мэри даже приподнялась, опершись на локоть. Ну конечно, это та самая женщина, что вдруг взяла да и ушла из семьи. Мэри охватила волна жара — она представила себе эту женщину, такую маленькую, милую, приятной наружности. «М-да…» — тихонько сказала Мэри и снова легла. Эта Кэти Найсли хоть порой и улыбалась ей, но без малейшей приязни, и лишь сейчас она поняла, с чем это было связано: ведь Мэри была из бедной семьи. «Ну да, происхождение у нее весьма скромное», — говорила о ней ее свекровь. И это была чистая правда. У родителей Мэри иной раз и двух грошей в кармане не нашлось бы. Зато сама Мэри всегда была умненькой девчушкой, прирожденным лидером, заводилой, как ее называли. Такой она и привлекла внимание парня из семьи Мамфор-

дов, отец которого владел успешным бизнесом по продаже фермерского инвентаря. Да разве она тогда что-нибудь понимала? И Мэри, продолжая лежать, даже головой помотала. Ничего она не понимала. Даже меньше, чем ничего.

Ну что ж, подумала она и перевернулась на бок, зато теперь я кое-что понимаю: например, то, что Кэти Найсли так меня и не признала. Мэри даже рукой махнула, точно отгоняя эти воспоминания. Хотя их ведь тогда даже на свадьбу пригласили к одной из дочек Кэти. Старшей, кажется. Да, наверное, старшей. Давно это было.

Погоди. Погоди. Погоди.

И тут Мэри вспомнила. Ведь тогда Кэти Найсли уже переехала, и люди на свадьбе шептались, что у нее завелся любовник. И как ни странно — интересно, почему толчком послужило именно это? — эти перешептывания заставили тогда Мэри догадаться, что и ее собственный муж уже давно завел любовницу, причем интрижка у него не с кем-нибудь, а с этой ужасной толстой Айлин, его секретаршей. Мэри потребовалось несколько дней, чтобы вытянуть из мужа признание, а потом у нее случился инфаркт… Что ж, понятно, почему она не сразу вспомнила Кэти Найсли — ведь в то время с грохотом рушился ее

собственный мир.

* * *

Не вставая с кровати, она подтянула к себе желтую кожаную сумку, отыскала в ней телефон, сунула наушники в уши, и Элвис запел: «Я тебя потерял». Элвис Пресли всегда был ее тайным другом — всего двумя годами ее старше и родом из того же маленького городка в штате Миссисипи, где родилась она сама. Впрочем, Мэри никогда Элвиса не видела, потому что, когда она была еще совсем ребенком, их семья переехала в фермерский штат Иллинойс, где в городишке Карлайл ее отец получил работу на заправке, хозяином которой был его двоюродный брат. В какой-то период Элвис часто выступал буквально в двух часах езды от того места, где Мэри жила теперь, но дети ее были тогда еще слишком малы, и она не могла их оставить и поехать на него посмотреть. Ох, сколько же часов она провела, думая об Элвисе, и представить себе невозможно! Вот тогда, еще в первые годы замужества, она и научилась получать *мысленное* удовольствие — ну да, это ведь были только ее мысли, посторонний в них проникнуть не мог. *Мысленно* во время выступлений Элвиса она стояла за кулисами, а

потом *мысленно* смотрела в его одинокие глаза, и он видел, как хорошо она его понимает. *Мысленно* она утешала его, когда он впервые услышал замечание насчет «сорокалетнего толстяка», брошенное тем глупым комедиантом, что выступал на государственном телеканале. *Мысленно* она много раз оставалась с ним наедине, и он рассказывал ей о своем родном городе, о матери. Когда он умер, Мэри много дней плакала тайком.

Но Паоло… Она ведь все рассказала Паоло о своей выдуманной, фантастической жизни с Элвисом, и Паоло внимательно ее слушал, чуть прикрыв один глаз, а вторым наблюдая за ней. И когда она умолкла, раскрыл ей объятия и крепко поцеловал. Вот она — свобода, поняла Мэри. О господи, свобода быть любимой!..

Мэри задремала, а когда проснулась, то увидела в дверях дочь. Похлопав ладонью по краешку постели, она позвала:

— Иди сюда, детка, приляг. Это не его сторона, на его стороне лежу я.

Анджелина положила сверкающий маленький компьютер на туалетный столик, подошла и улеглась рядом с матерью.

— Посмотри, какое оно огромное, это море, — сказала Мэри. — Отсюда до самой Испании можно

доплыть. — Анджелина прикрыла глаза, а Мэри села чуть повыше и спросила: — Скажи, а с головой у твоего отца все в порядке? — Она чувствовала легкую отрыжку — аукался съеденный рожок с абрикосовым мороженым.

— Ну, старческой деменции у него пока нет, хотя я очень этого боюсь.

— Ну, хоть это хорошо, — сказала Мэри и, отыскав в своей большой желтой сумке бумажную салфетку, приложила ее к губам. — Хотя вообще-то я имела в виду его рак.

Анджелина тут же открыла глаза и тоже села.

— Рецидива пока нет. Разве мы тебе об этом не сообщали?

— Не знаю, — честно призналась Мэри.

— Мы все-таки не такие *вредные*, мам. И наверняка сказали бы тебе, если бы папа снова заболел. Ну тебя, мам.

— Ангел мой, конечно же, вы не вредные. Никто и не говорит, что вы вредные. Я же просто спросила. — И Мэри подумала: как глупо я себя веду! И оттого, что она так ясно это понимает, ей стало жалко дочь, и она снова чуть не заплакала. Она села в кровати и предложила: — Ну ладно, давай не будем ни думать, ни говорить об этом. — И она, вытащив из желтой сумки пласт-

массовую коробочку, полную использованных бумажных платков, вытряхнула ее содержимое в мусорную корзину, стоявшую под прикроватным столиком.

Анджелина рассмеялась:

— Какая же ты смешная! Вечно ты эти бумажные платки коллекционируешь…

Смех любимой дочери был так приятен Мэри, что она и сама рассмеялась.

— Привычка. Помнишь, я тебе рассказывала, что когда все вы, пять девочек, сидели дома с простудой и без конца сморкались, я только и делала, что бродила по дому и использованные платки собирала…

— Я помню, мама. *Помню.* — Анджелина положила голову матери на плечо, и Мэри свободной рукой слегка погладила ее по щеке.

* * *

Кто бросает мужа, прожив с ним пятьдесят один год? Только не Мэри Мамфорд, это точно. Она покачала головой, и Анджелина спросила: «Что, мам?» Мэри снова покачала головой: ничего. Они обе по-прежнему лежали на кровати. Итак, кто бросает мужа, прожив с ним пятьдесят один год?

Что ж… да, Мэри так поступила. Она ждала, ко-

гда повзрослеют все пять ее девочек. Она ждала, стараясь прийти в себя после инфаркта, который получила, узнав, что муж и его секретарша в течение тринадцати лет были любовниками — господи, целых тринадцать лет с этой *безобразной толстухой*! — а потом она снова ждала, поправляясь после инсульта, случившегося у нее, когда муж обнаружил письма Паоло. Это было почти десять лет назад. Как же он тогда орал, каким багровым стало его лицо, а вена на виске так надулась, словно вот-вот лопнет, однако что-то лопнуло *в ней самой*. Мэри считала, что это лопнул их брак, а она приняла этот удар на себя, видя готовые взорваться вены мужа. Но и после этого ей снова пришлось ждать, потому что муж чуть не умер от рака мозга, который, похоже, развился у него, когда Мэри ему сказала, что уходит от него. Однако он так и не умер, а она выхаживала его и все ждала, ждала, и ее дорогой Паоло тоже ждал… и в итоге… в итоге она теперь живет здесь.

Разве можно вообще хоть что-то знать заранее? А те люди, что уверены, будто им что-то известно… Что ж, их тоже ожидает немало разных сюрпризов.

— Ты всегда была так добра ко мне, всегда была такой хорошей, — призналась Анджелина и, не

вставая с кровати, стряхнула с ног черные туфли на низком каблуке, и они с глухим стуком упали на пол.

— Что ты имеешь в виду, детка?

— Только то, что ты всегда была ко мне очень добра. Помнишь, как ты меня до *восемнадцати лет* каждый вечер спать укладывала?

— Я очень тебя любила. И сейчас люблю.

— А это *точно* твоя сторона кровати? — Анджелина вдруг села.

— Да, детка, честное слово.

Анджелина вздохнула и снова улеглась рядом с матерью.

— Извини. Когда он завтра вернется, я постараюсь быть милой и хорошо себя вести. Я же понимаю, мам, что он очень хороший человек. А я веду себя, как капризный ребенок.

— На твоем месте и я бы, наверное, испытывала примерно те же чувства, — сказала Мэри, понимая, что это неправда. Она быстро глянула на часы и велела дочери: — Все, вставай. Мне пора плавать.

Анджелина слезла с кровати, причесалась и перекинула волосы на одно плечо.

— Господи, какая же ты коричневая, — сказала она матери. — Забавно видеть тебя такой

загорелой.

— Ну, мы же на берегу моря живем. — Мэри прошла в ванную и надела под платье купальник. — Пошли. Учти, здесь в воде вовсе не обязательно двигаться, в ней можно просто сидеть. Она такая соленая, что сама тебя держит. Клянусь.

В четыре часа солнце стояло еще высоко, заливая ярким светом бледные стены домов, карабкавшихся вверх по склонам холмов, клумбы с золотисто-желтыми цветами и раскидистые пальмы. Мэри, уверенно ступая по камням шлепанцами из пластика, спустилась на пляж, мгновенно стянула платье, положив его на расстеленное полотенце, и достала очки для подводного плавания.

— Мама, ты что, *бикини* носишь?

— Это называется «раздельный купальник», детка. Оглянись. Ты видишь здесь хоть одну женщину в пресловутом цельном купальнике? Ну, кроме тебя, разумеется?

Мэри нацепила жуткие очки, решительно вошла в воду и, оттолкнувшись, поплыла вдоль берега, опустив голову в воду и любуясь стайкой мелких рыбок, игравшей прямо под нею. Она плавала каждый день, и это время было самым ее любимым. И сейчас она откровенно насла-

ждалась, несмотря на приехавшую к ней в гости дочь. Услышав рядом плеск, Мэри остановилась, подняла голову и увидела Анджелину с мокрыми волосами.

— Ты такая смешная, мам. В этом твоем желтом бикини. И в очках для подводного плавания. О господи, мам, как же здорово! — И они еще долго плавали и смеялись, а жаркое солнце словно нарезало воду ломтями.

Потом, сидя на нагретой солнцем скале, Анджелина спросила:

— А друзья у тебя здесь есть?

— Есть, — кивнула Мэри. — Мой главный друг — это Валерия. Разве я тебе о ней не писала? Ох, я ее обожаю. Я познакомилась с ней в сквере. Я, правда, и раньше замечала, как она сидит там с какой-то старой дамой — еще бы не заметить! У моей Валерии самое чудесное и доброе лицо на свете, я таких больше не видела. Да она и не похожа на других. Ну так вот, она сидела у моря с какой-то старой дамой, и ноги у той казались почти черными от загара, она ведь лет сто провела на жарком солнце. Я просто глаз от ее ног оторвать не могла, а потом заметила, что под загаром все же просвечивают лиловые вены, точно прячась под этой темной *оболочкой*, как сосиски.

И я подумала: какое это все-таки чудо — жизнь! Ведь по этим старым венам по-прежнему бежит кровь. Я некоторое время обдумывала эту мысль, а потом обратила внимание на ту женщину, которая беседовала с темной от загара старухой. Это и была Валерия. Господи, какая же она была крошечная! Издали казалось, будто она сидит у этой старухи на коленях. А какое милое у нее было лицо… В общем… — Мэри умолкла и покачала головой. — В общем, через два дня возле церкви эта крошечная дама сама ко мне подошла. Оказалось, что она немного говорит по-английски, ну, а я немного говорила по-итальянски, и мы… Да, теперь у меня есть друг. Ты тоже можешь с ней познакомиться. Она будет этому очень рада.

— Ладно. Не знаю, может, через пару дней.

— Когда захочешь.

Вдали виднелись сразу четыре судна: три танкера и одно, явно круизное, идущее в Геную.

— А он к тебе добр? — спросила Анджелина.

— Очень. Он очень хорошо ко мне относится.

— Это хорошо. — Анджелина помолчала, потом снова спросила: — А его сыновья? И их жены? Они тоже хорошо к тебе относятся?

— Просто отлично. — Мэри сделала какое-то слабое движение, словно отмахиваясь от неумест-

ного вопроса. — Вот послушай, детка, что Паоло для меня сделал. Он загрузил в мой телефон все песни Элвиса! — Мэри вытащила телефон, посмотрела на него и снова сунула в большую сумку из желтой кожи.

— Да, ты мне уже говорила. — Анджелина опять немного помолчала и мягко заметила: — До чего же тебе всегда нравился желтый цвет! Вот и эта сумка тоже *желтая.* — Она коснулась материной сумки.

— Да, я желтый цвет всегда любила.

— И бикини у тебя тоже желтое. Нет, мам, от тебя, ей-богу, с ума можно сойти!

Далеко на горизонте возник силуэт еще одного судна, и Мэри показала на него дочери. Та медленно кивнула.

* * *

Мэри приготовила для дочери ванну, как делала это когда-то много лет подряд. Интересно, думала она, позволит ли ей Анджелина остаться и поболтать немного, ведь раньше она и сама часто просила ее остаться. Но Анджелина сказала:

— Ладно, мам. Я быстренько. Скоро выйду.

Лежа на кровати — здесь Мэри теперь проводила большую часть своего дня — и глядя

на высокий потолок, она думала, что дочь не в состоянии понять, каково это, когда тебя морят голодом. Когда тебя почти пятьдесят лет *заставляют изнемогать от жажды.* Когда Мэри устроила мужу сюрприз — праздник в честь его сорок первого дня рождения, — она страшно этим гордилась и очень хотела по-настоящему его удивить, и он, ей-богу, был *по-настоящему* удивлен, но она, разумеется, не могла не заметить, что с ней он так ни разу и не потанцевал. А через некоторое время Мэри окончательно поняла, что муж ее просто не любит. И на праздновании пятидесятой годовщины со дня их свадьбы — этот праздник устроили им девочки — он тоже ни разу не пригласил ее танцевать.

А через несколько месяцев в том же году дочки сделали ей на день рождения чудесный подарок — ей тогда шестьдесят девять исполнилось, — туристическую поездку в Италию. И когда их группа поехала в деревушку Больяско, Мэри ухитрилась заблудиться под дождем и отстала от своих, а нашел ее Паоло. Он говорил по-английски, а насчет его возраста она как-то не слишком задумывалась. А потом Мэри в него влюбилась. Влюбилась по-настоящему. Паоло рассказал, что был женат и этот брак продержался двадцать лет — хотя ему

казалось, как минимум пятьдесят! — а потом, как он выразился, супружеские отношения их обоих *иссушили*.

Но в последнее время Мэри все чаще думала о муже. О своем бывшем муже. Она о нем беспокоилась. Нельзя же прожить с человеком пятьдесят лет и совсем о нем не беспокоиться. И совсем по нему не скучать. Временами Мэри чувствовала, что тоска по бывшему мужу ее опустошает. Однако Анджелина пока что ни слова не сказала о своем собственном браке, и Мэри, испытывая мрачные предчувствия, терпеливо ждала, когда дочь первая об этом заговорит. Муж Анджелины был, безусловно, хорошим человеком. Кто же мог знать, что так получится? Кто мог это знать?

* * *

Погрузившись в теплую воду, Анджелина откинула голову назад, нанесла на мокрые волосы шампунь и взбила пену. Она сегодня была так счастлива, когда плавала в море вместе с матерью. Но сейчас, сидя в этой ужасной старой ванне на когтистых лапах и тщетно пытаясь держать дурацкий маленький шланг для душа так, чтобы вода не брызгала во все стороны, Анджелина испытывала далеко не самые приятные ощущения:

ее мучило то, что она была не в состоянии поверить ничему из происходящего вокруг. Не могла поверить, что мать теперь выглядит иначе, чем прежде. Не могла поверить, что она больше не живет в десяти милях от нее, Анджелины, и от ее детей, своих внуков. Не могла поверить, что мать замужем за надоедливым итальянцем, который почти одного возраста с Тамми. Нет, она никак не могла во все это поверить. И ей хотелось плакать, когда она взбивала пену в волосах, а потом промывала их водой. Нет-нет-нет! Ох, как *ужасно* она скучала по матери! Она только о ней и говорила — день за днем, неделя за неделей, — и Джек покорно слушал эти непрерывные излияния, а потом вдруг взял и ушел, заявив напоследок: ты влюблена в родную мать, Анжи! Да-да, влюблена не в меня, а в нее. Вот почему сейчас она все-таки собралась и приехала в Италию. Ей необходимо было повидаться с матерью и рассказать ей о крушении своего брака. Да, рассказать именно ей, этой женщине — своей матери! — в которую, как считал Джек, она была влюблена.

В итоге в аэропорту ее встретил этот благообразный Паоло, и рядом с ним стояла какая-то маленькая коричневая старушка, которая оказалась ее матерью! Потом Паоло усадил их в

машину и повез куда-то по этому безумному серпантину, вслух рассуждая о том, что ему, должно быть, стоит на несколько дней съездить к сыну в Геную, чтобы Анджелина и ее мать могли побыть наедине. Анджелина сразу возненавидела все, связанное с тем местом, где теперь жила ее мать, — и красоту молчаливой деревушки, и слишком высокие потолки в этой ужасной квартирке, и надменных самоуверенных итальянцев. Теперь она постоянно в мыслях возвращалась в собственную юность, к тем длинным бесконечным — акры и акры — кукурузным полям, что окружали их дом в Иллинойсе. Ее отец и впрямь был настоящим крикуном. И у него действительно была дурацкая любовная история с той глупой жирной особой, и это тянулось целых тринадцать лет, и, с точки зрения Анджелины, в этом заключалось даже нечто трогательное — жалкое, болезненное, но все же трогательное. Почему же ее мать не сумела этого понять? Почему она не сумела понять, что наделала своим уходом? Она что, не видела, что разрушает семью? Анджелина считала, что причина могла быть только одна: ее мать при всей своей взбалмошности была все же чуточку туповата, да и воображения ей не хватало.

*Ну-у, ну-у* — так обычно приговаривал их отец, обнаружив, что одна из его дочерей плачет. Он присаживался с нею рядом, прижимался щекой к ее щеке. Вообще-то по отношению к матери он и впрямь вел себя, как змея подколодная (но для Анджелины он был отцом, и она его любила!): да и споры он любил решать с помощью огнестрельного оружия — любого, кто залез бы к нему в дом без спроса, пристрелил бы не задумываясь, так уж его воспитали. И если бы у него были сыновья, а не дочери, они, скорее всего, тоже стали бы такими, как отец. Анджелина надеялась, что ее отцу никогда не доведется оказаться в Италии, в этой ужасной деревушке, где живет этот никчемный тип Паоло, который отнял у них любовь матери и увез ее к себе, в чужую страну, хотя ей было уже так много лет. Анджелине казалось, что если отец снова заболеет и на этот раз по-настоящему соберется умирать, то непременно найдет какой-нибудь способ, чтобы сюда добраться, разыскать этого никудышного Паоло и расстрелять его на глазах у всех. Ну а потом, разумеется, застрелится сам.

Анджелина вдруг поняла, до чего безумные мысли приходят ей в голову — почти по-итальянски безумные.

— А почему ты решила, что папа стал бы помогать мне деньгами, чтобы я смогла сюда прилететь? — спросила Анджелина, сидя на кровати и подсушивая волосы полотенцем.

— Ну, он же все-таки твой отец. По-моему, это было бы нормально. — В подтверждение своих слов Мэри энергично кивнула.

— Но с какой стати ему давать мне деньги на поездку к его бывшей жене, которая бросила его в самый разгар тяжелой болезни — рака мозга?

Мэри почувствовала, как в голове у нее что-то щелкнуло, словно электрический разряд проскочил, а это означало, что она внезапно сильно рассердилась. Она села прямо, прислонившись к изголовью кровати, и твердо произнесла:

— Когда у него обнаружили рак мозга, я его вовсе не бросила. В том-то и дело. Господи боже мой! И разве вы, мои дети, этого не знаете? Я тогда осталась с ним, всячески о нем заботилась, и лишь когда ему определенно стало лучше, смогла наконец уехать и заняться собственной жизнью. — У нее вдруг мелькнула мысль: а знаете, юная леди, у меня ведь будет второй инсульт, если вы, моя дорогая, не перестанете нести подобную чепуху! Впрочем, Анджелину давно уже нельзя было назвать юной леди. Ее собственные

двое детей уже готовы были вот-вот выпорхнуть из родного гнезда, и она буквально все воспринимала чересчур болезненно из-за теперешних неладов с мужем… Однако сейчас Мэри действительно очень рассердилась. Вообще-то сердиться она никогда не любила и понятия не имела, что ей делать с собственным гневом. — Кстати, что у тебя с Джеком? — спросила она. — Ты о нем ни разу не упомянула.

Анджелина довольно долго молчала, глядя в пол. Потом все же заговорила:

— У нас возникли определенные сложности. Но мы сейчас над этим работаем. Мы никогда толком не умели друг с другом ссориться. — Она с неприязнью глянула на мать и снова уставилась в пол. — Впрочем, вы с папой тоже никогда не ссорились. Просто папа вечно орал на тебя, а ты ему это позволяла. Только вряд ли это можно назвать настоящей ссорой.

Мэри спокойно ждала, что еще скажет ее дочь. Гнев так и не покинул ее, зато обострил мысли и чувства, и сейчас она казалась себе очень сильной, мыслящей ясно и свободно.

— Значит, мы с отцом никогда по-настоящему друг с другом не ссорились? — спросила она. — Ясно. Давай дальше.

— Я не хочу об этом говорить. — Анджелина по-прежнему смотрела в пол и выглядела абсолютно подавленной. Мало того, она надулась, точно двенадцатилетний ребенок, хотя Мэри прекрасно знала, что дуться дочь даже в детстве не любила.

— Анджелина, — начала Мэри, чувствуя, что ее голос немного дрожит от гнева, — послушай меня. Я четыре года тебя не видела. Остальные дети приезжали повидаться со мной, а ты нет. Тамми даже два раза меня навещала. В общем, я понимаю, что ты на меня сердишься. И не виню тебя. — Мэри села, спустив ноги на пол. — Хотя нет, погоди. На самом деле я все-таки тебя виню.

Анджелина с тревогой глянула на мать, а та продолжала:

— Я виню тебя, потому что ты взрослый человек. Когда ты была ребенком, я ведь не оставила тебя, правда? Я делала все, что в моих силах, но потом… я влюбилась. Так что можешь продолжать на меня сердиться, но я бы хотела, я хотела бы… — И тут вдруг гнев исчез, и она сразу почувствовала себя ужасно. Особенно потому, что давно заметила, как плохо Анджелина выглядит. И она робко пролепетала: — Скажи мне что-нибудь, детка. Хоть что-нибудь скажи.

Но Анджелина молчала. Мэри даже в голову

не приходило, что дочь просто не знает, что ей ответить. Мучительно долго тянулись минуты, и Анджелина по-прежнему смотрела в пол, а Мэри смотрела на нее, на свое любимое дитя, и, конечно, не выдержала первой.

— Я когда-нибудь рассказывала тебе, — тихо начала она, — как только ты родилась и врач подал мне тебя, я сразу же тебя узнала?

Анджелина посмотрела на мать и, не говоря ни слова, слегка покачала головой.

— С другими моими детьми такого ни разу не случалось, — продолжала Мэри. — Нет, я, конечно, сразу же начинала их любить, а как же! Вот только с тобой все было иначе. Когда доктор сказал: «Возьмите вашу дочь, Мэри», я тебя взяла и только глянула, как мгновенно поняла: *это же ты*! О, детка, это была самая странная вещь в моей жизни. Понимаешь, я даже ничуть не удивилась. Наоборот, мне это показалось абсолютно естественным — то, что я тебя *узнала*, детка. Я не понимаю, как и почему это произошло, но я тебя *узнала*.

Анджелина перешла на материну сторону кровати и села с ней рядом.

— Объясни мне, пожалуйста, подробней, что ты имеешь в виду, — попросила она.

— Ну, я смотрела на тебя и думала — я действительно именно так думала, детка: это же ты, конечно, это ты. Вот что я думала. Я просто *знала* тебя, и это было нечто большее, чем если бы я тебя только что *узнала.* — Мэри слегка коснулась волос дочери, еще немного влажных, пахнущих шампунем. — И когда я еще только носила тебя, я уже знала, что ношу…

— Маленького ангела. — Мать и дочь одновременно произнесли эти слова. А потом довольно долго молчали, сидя на краю кровати и держась за руки. Наконец Мэри спросила:

— А помнишь, как ты любила те книжки про девочку, что жила в прериях[10]? Мы с тобой потом еще по телевизору фильм о ее приключениях смотрели?

— Помню. — Анджелина повернулась к матери. — Но лучше всего я помню, как ты меня спать укладывала. Каждый вечер. Мне невыносимо было даже думать о том, что ты можешь от нас уехать. И каждый вечер мне хотелось сказать: «Еще нет! Еще не сегодня!»

---

**[10] Примечания: 10**

Имеется в виду Дороти, героиня сказки Фрэнка Баума (1856–1919) «Удивительный волшебник из страны Оз», опубликованной в 1900 г. После этой книги писатель почти ежегодно дарил американским читателям очередную историю о стране Оз. Всего их было 14, и они неоднократно ставились на сцене и экранизировались.

— Иногда я чувствовала себя такой усталой, что невольно клала голову рядом с твоей подушкой, а ты совершенно не выносила, когда моя голова оказывалась ниже твоей. Это ты помнишь?

— Да, но это потому, что ты начинала мне казаться *моим ребенком*, а я нуждалась в том, чтобы ты была взрослой.

— Да, понимаю, — произнесла Мэри. И снова обе умолкли. А потом Мэри, стиснув запястье дочери, попросила: — Только не рассказывай сестрам, что я тебя сразу узнала, как только ты родилась, а их не узнавала. Вообще-то тайны я не люблю, но им об этом рассказывать не надо. А вот *тебе* это знать стоило.

Анджелина выпрямилась и сказала:

— Но тогда это должно означать…

— Нет, неизвестно, что это может означать, — возразила Мэри. — Как неизвестен и смысл большей части вещей и явлений нашего мира. Зато *я* хорошо знаю, что именно поняла, увидев тебя. И знаю, что ты всегда делала меня такой счастливой. И знаю, что ты — мой самый дорогой маленький ангел.

Одного она не сказала вслух, впрочем, мысль об этом лишь промелькнула у нее в голове: «И ты всегда занимала так много места в моем сердце,

что это порой казалось мне тяжким бременем».

* * *

Пока они на кухне выбирали подходящие сковородки и кастрюли, пока кипятили воду для пасты и подогревали соус, Мэри успела не только успокоиться, но и развеселиться. Счастье переполняло ее, оно пело в ней, оно было таким ощутимым, что Мэри могла бы есть его ломтями, как хлеб! Находиться на кухне вместе со своей девочкой, разговаривать с ней о самых обычных вещах, о ее детях, о ее работе в школе — о, как это было чудесно! Мэри включила свет над обеденным столом, и они стали есть пасту и говорить о сестрах Анджелины. А потом Мэри, успевшая выпить бокал вина, спросила:

— Что это ты говорила о девушках Найсли? По-моему, что-то неприличное.

— Боже мой, — улыбнулась Анджелина, вытирая губы салфеткой, — тебя никак на сплетни потянуло?

— Ох, *да!* — призналась Мэри.

— Помнишь Чарли Маколея? Ну, вспоминай! Ты должна его помнить.

— Да помню я его. Такой высокий приятный человек. Он еще потом во Вьетнаме воевал. Гос-

поди, как это было печально…

— Да, это он и есть. Оказалось, что он давно встречался в Пеории с проституткой, а жене говорил, что ездит на собрания группы, которая оказывает поддержку ветеранам. Погоди, погоди… В общем, он отдал этой проститутке десять тысяч долларов, и жена, узнав об этом, вышибла его из дома…

— Анджелина!

— Да-да! Именно вышибла. И догадайся, с кем он теперь? Ну же, мама, догадайся!

— Ангел мой, как же я могу догадаться?

— С Пэтти Найсли!

— Не может быть!

— Может! Правда, Пэтти сама бы, конечно, никогда ко мне не *явилась* и рассказывать об этом *не стала*, но я сразу заметила, как сильно она вдруг похудела — я ведь, кажется, говорила тебе, что она здорово набрала вес, так что дети в школе прозвали ее Толстухой Пэтти? Она, конечно, и раньше *очень хорошо* к Чарли относилась, а теперь, когда окончательно в него влюбилась, еще и выглядеть стала замечательно. И потом, они давно уже дружили. Во всяком случае, что-то в этом роде. Вот у них все и получилось. — И Анджелина, глядя на мать, выразительно кивнула. — Никогда не

знаешь, где найдешь, где потеряешь.

— Боже мой. Ангел мой, какая *чудесная* сплетня! Ей-богу, чудесная. Но неужели дети в школе называют ее Толстухой Пэтти? Прямо в лицо?

— Нет. По-моему, она вообще об этом прозвище понятия не имеет. Хотя, может, разок и слышала. — Анджелина вздохнула и оттолкнула от себя тарелку. — Она все-таки ужасно милая.

* * *

Когда они поели, Мэри встала из-за стола и перебралась на диван. Усевшись там, она похлопала ладонью рядом с собой, и Анджелина тут же к ней присоединилась, прихватив бокал.

— Теперь ты меня послушай, — сказала Мэри. — Мне кое-что нужно тебе рассказать.

Анджелина выпрямилась и невольно посмотрела на ноги матери: она только сейчас заметила, что щиколотки Мэри уже не выглядят такими изящными, как прежде.

— Тебе тогда было тринадцать. И я заехала за тобой в библиотеку, чтобы отвезти домой. А потом я на тебя накричала… — Голос Мэри неожиданно дрогнул, и Анджелина, быстро на нее глянув, сказала: «Мамочка…», но мать остановила ее, покачав головой. — Нет, детка, позволь мне про-

должить. Я всего лишь хочу сказать, что тогда я *накричала* на тебя по-настоящему, сама не знаю, зачем. Ты перепугалась, а кричала я потому, что мне стало известно, как долго твой отец и эта Айлин были любовниками. Но я никогда тебе об этом не говорила — пока… ну, в общем, ты и сама знаешь, что миллион лет спустя я все-таки сказала. Дело в том, детка, что я тебя тогда *напугала, накричала* на тебя, и ты по-настоящему испугалась… — Мэри смотрела куда-то мимо Анджелины, за окно, и лицо у нее дрожало. — Вот о чем я больше всего сожалею. Я очень-очень сильно об этом сожалею. Ты уж меня прости.

Через некоторое время Анджелина спросила:

— И это все?

Мэри посмотрела на нее.

— Ну да, дорогая. Я столько лет из-за этого переживала. Страшно переживала.

— А я этого совсем не помню. И вообще это никакого значения не имеет. — Но на самом деле Анджелина хорошо помнила тот день и в глубине души сейчас, обливаясь слезами, молила: «Мамочка, он вел себя, как последняя свинья, ну и что, мамочка, пожалуйста, мамочка… *Пожалуйста, мамочка, не уходи!*» Она долго молчала, прежде чем снова сумела заставить себя сказать

довольно спокойно: — Мам, ну что ты? Это ведь так давно было — эта история с Айлин. Неужели ты оставила папу из-за того, что тебе так долго пришлось мучиться? Хотя конечно… — Она и сама удивилась тому, как холодно звучал ее голос. Видно, это вино так на нее подействовало. Холод по отношению к матери вдруг проснулся в ее душе.

А Мэри сказала задумчиво:

— Я и сама не знаю, детка, но мне кажется, что из-за измены я бы от него не ушла.

— Мы ведь с тобой вообще никогда об этом не говорили.

Мать промолчала. Анджелина посмотрела на нее, и ее точно ножом в сердце поразило то выражение глубокой печали, что было сейчас на лице Мэри. Впрочем, она тут же спрятала свою печаль и живо попросила:

— А теперь, детка, когда ты наконец здесь, со мной, расскажи, как ты относишься к Паоло? Я тебе уже говорила, что влюбилась в него. А с твоим отцом мы во многих отношениях были несовместимы. Но главное, детка, то… что я влюбилась. В общем, давай, излагай *свою* точку зрения.

— Он же просто кассир в банке, мам. И квартира эта такая… — Она не договорила и огляделась.

Ей очень хотелось снова произнести слово «убогая», но она понимала, что это не совсем так. Эта квартира была просто… не очень красивой… и выглядела странно из-за чересчур высоких потолков и старомодных кресел с совершенно износившейся обивкой.

И тут Мэри, решительно выпрямившись, заявила:

— Это прекрасная квартира! Посмотри, у нас прямо из окон видно море! Мы бы не смогли позволить себе такую квартиру, если бы у Паоло не было богатой жены.

— А что, она была богата?

— У нее *и сейчас* кое-какие деньги имеются. Да-да. А у него, как и у меня, происхождение «весьма скромное», как выражалась моя свекровь.

Анджелина промолчала. А Мэри продолжала:

— Но дело в том, что мне с ним *хорошо*. Мне с ним спокойно. Я люблю его. С ним я чувствую себя *в безопасности.* В семье твоего отца, как ты и сама прекрасно знаешь, деньги всегда водились, да и сам он был весьма успешен в делах. А мне, Анджелина, честно говоря, на деньги плевать. Мне, в общем, даже нравится их не иметь. Но, к сожалению, отсутствие денег не позволяет мне достаточно часто с тобой видеться.

— Получается, ты как бы «вернулась к своим корням»? — Анджелине хотелось, чтобы в этих словах прозвучал сарказм, но прозвучали они довольно глупо, банально, и она сама сразу это почувствовала.

— Мой отец работал на заправке. И мы были очень бедны. Впрочем, это тебе и так известно. У Паоло тоже нет денег, как нет и особых идей, позволяющих их заработать. Если ты это имеешь в виду, говоря о моем «возвращении к корням»…

Анджелина, вытянув перед собой ноги, долго на них смотрела. У нее-то щиколотки были весьма стройные.

— Погоди… — Она вдруг вскинула глаза на мать. — Значит, он и со своей женой здесь жил?

— Ну да. А потом она с кем-то там познакомилась и уехала, а эту квартиру оставила ему, и мы очень рады, что она у нас есть.

— Я ничего не понимаю, — наконец призналась Анджелина.

— Да? Ну, и я тоже.

Мэри взяла Анджелину за руку. И внезапно поняла — как же она была глупа, что не понимала этого раньше! — что дочь никогда не простит ей ухода из семьи, от отца. Никогда — во всяком случае, не при ее, Мэри, жизни. А ведь

жить ей осталось совсем чуть-чуть. Но то, что она сейчас поняла, было просто ужасно — и в голове у Мэри вдруг снова проскочил знакомый «электрический разряд», потому что она опять рассердилась.

Ну, и пожалуйста!

— Мам, я не хочу, чтобы ты умирала. Вот в чем дело. Ты лишила меня возможности заботиться о тебе в старости, а я так хотела быть с тобой рядом, если ты… когда ты будешь умирать. Правда, мам, я очень этого хотела.

Мэри посмотрела на нее — на эту немолодую женщину с морщинами вокруг рта.

— Мам, я только пытаюсь тебе объяснить…

— Я понимаю, что именно ты пытаешься мне объяснить. — И теперь Мэри приходилось быть очень осторожной. Она обязана была быть осторожной, потому что эта женщина, *эта бывшая девочка*, была ее дочерью. И она не могла сказать ей — своему ребенку, которого любила больше всего на свете, — что совсем не страшится собственной смерти, что почти готова с ней встретиться, не совсем, конечно, готова, но почти, все равно ведь к тому все идет, и ужасней всего наконец осознать, до чего износила тебя жизнь, истрепала до предела, доконала, и вот

теперь она, Мэри, действительно почти готова умереть и, наверное, скоро умрет. Обычно почти у всех людей возникает желание уцепиться за жизнь, прожить еще хотя бы несколько лет, и Мэри у многих это замечала, но сама подобного желания не испытывала. Или все же испытывала? Нет, пожалуй, нет. Нет. Она чувствовала, что устала до предела, что она *почти готова*, однако сказать такое своему ребенку не могла, ей даже подумать об этом было страшно. Больше всего ее пугало другое: стоило ей представить себе, как она лежит и умирает здесь, в этой самой комнате, а Паоло мечется вокруг, и ее тут же охватывал ужас — ведь *тогда* она больше не увидит ни своих девочек, ни своего мужа, *того* мужа, отца своих дочерей, и она *никогда больше* не увидит их всех вместе. Вот что действительно ее страшило. Но она не могла сейчас сказать дочери, что если б *тогда* понимала, как ужасно поступает по отношению к ней, к своему самому любимому маленькому ангелу, то, возможно, никогда бы так не поступила.

Но такова жизнь! И эта жизнь была такой путаной! Анджелина, дитя мое, пожалуйста…

— Ты даже не взяла тех денег, которые папа тебе должен после развода, — у нас в штате Ил-

линойс ты могла бы получить неплохую сумму.

— Но, детка… — сказала Мэри. И умолкла, подыскивая слова. Потом наконец продолжила: — Понимаешь, когда влюбляешься по-настоящему, то словно попадаешь в некий… — Мэри сделала неопределенный жест у себя над головой, — …пузырь, что ли. И больше уже *не думаешь.* И потом, с какой стати мне брать у него эти деньги? Я ведь ни пенни не заработала.

Ох, мамочка, ну и дура же ты, подумала Анджелина.

А Мэри медленно покачала головой и сказала:

— Наверное, я просто дура.

— Понимаешь, если бы ты все-таки взяла эти деньги, то я, например, смогла бы почаще приезжать к тебе. Вот по крайней мере один из способов на что-то их употребить.

— Да, понимаю. Теперь понимаю.

— И почему ты говоришь, что ни пенни не заработала? Ты же нас пятерых вырастила!

Мэри кивнула.

— Видишь ли, я всю жизнь чувствовала себя во власти твоего отца и его семьи. Словно я его содержанка. Мне, конечно, следовало бы найти работу. Но, с другой стороны, я тут же задавала себе вопрос: а зачем, собственно, мне выходить

на работу? Я не знаю, как вы с Джеком решаете финансовые проблемы, но вот что я скажу, Анджелина: очень хорошо, что ты всю жизнь работала. Это всегда делает отношения между супругами куда более правильными и справедливыми.

— Джек собирается ко мне вернуться, — сказала вдруг Анджелина.

— А Джек от тебя *уходил?* Я и не знала! — Мэри придвинулась к дочери и внимательно на нее посмотрела.

— Мне не хочется об этом говорить, но в случившемся была и моя вина. В общем, он возвращается. Как только я приеду обратно.

— Значит, он *уходил?*

— Да. И говорить я об этом не хочу.

Вот теперь Мэри по-настоящему испугалась: ее болтливый маленький ангел, ее девочка, которая всегда все ей рассказывала — либо когда Мэри укладывала ее спать, а она делала это каждый вечер, либо во время долгих купаний в ванне, — куда она, эта девочка, исчезла? Куда все ушло? Р-раз — и нет ничего!..

— Детка, — сказала она, помолчав, — это, разумеется, не мое дело, но не замешана ли тут другая женщина?

Анджелина посмотрела на мать, и взгляд ее вдруг стал холодным, как камень.

— Да-а, — протянула она, — замешана… — И через мгновение выпалила: — Ты!

— Что ты имеешь в виду? — не поняла Мэри.

— Всего лишь то, что этой «другой женщиной» была ты, мама. Я так и не смогла пережить твой отъезд. И не могла перестать говорить о тебе. А Джек в итоге сказал, что я влюблена в собственную мать.

— Ох, детка… Ох, боже мой! — прошептала Мэри.

— Он ушел от меня год назад, и я еще прошлым летом собиралась тебя навестить, но он все время говорил, что, возможно, вернется, вот я и осталась дома, но сейчас он *действительно* намерен вернуться.

После этих слов Анджелина все же позволила матери обнять ее. И еще долго плакала у Мэри на груди, перемежая всхлипывания стонами, исполненными такой мучительной боли, что Мэри невольно отстранялась, чувствуя, что с ней эта боль никак не связана. Наконец Анджелина подняла голову и высморкалась.

— Ну вот, теперь мне гораздо лучше.

Они еще долго сидели рядышком на диване, и

Мэри одной рукой обнимала свою девочку, а второй поглаживала ее по ноге. Обе какое-то время молчали, а потом Мэри сказала:

— Знаешь, когда я впервые увидела тебя в этих джинсах, то подумала, что ты, наверно, любовника себе завела.

Анджелина даже выпрямилась от удивления.

— Что?!

— Я же не знала, что дело во мне.

— Мам, ты это о чем?

— Ну, видишь ли, детка, эти джинсы, пожалуй, чересчур тесны для женщины твоего возраста, вот я и подумала… просто… может, ты…

И тут Анджелина весело рассмеялась, хотя у нее еще и слезы толком не высохли.

— Представляешь, мам, я ведь эти джинсы купила специально для поездки в Италию! Я думала, что здесь все женщины носят… в общем, что все они очень сексуально одеваются.

— О, твои джинсы очень даже секси, — заметила Мэри, хотя ей совсем так не казалось.

— Они тебе не нравятся? — спросила Анджелина, готовая вот-вот снова расплакаться.

— Да нет, детка, они мне *нравятся!*

И тут Анджелина — благослови господь ее душу — по-настоящему захохотала.

— Ну, а *мне* нет! Я в них себя шутом чувствую. Хоть и купила их специально, чтобы ты подумала, будто я вся такая утонченная и в моде разбираюсь. — Она помолчала и прибавила: — А сама на пляж вышла в старомодном *сплошном* купальнике! — Теперь уже засмеялись обе и смеялись до слез, но все продолжали смеяться. А про себя Мэри думала: ничто на свете не длится вечно, и все же пусть этот миг останется в душе моей Анджелины до конца ее жизни.

* * *

А теперь, сказала Мэри, она спустится во двор, посидит возле церкви и выкурит ежевечернюю сигарету. Хотя, если честно, она бросила курить с тех пор, как приехала в Италию. И тому продавцу в лавке она сказала, что покупает сигареты для дочери.

— Ладно, — согласилась Анджелина, и Мэри, захватив желтый кожаный ридикюль, вышла из дома. А через несколько минут Анджелина, выглянув в окно, увидела, что мать удобно устроилась на скамейке, с которой одновременно видны и город, и море. Скамейка находилась как раз под уличным фонарем, и Анджелине было видно, что Мэри вставила в уши наушники и

слегка покачивает головой вверх-вниз, словно в такт музыке, а возле ее губ дымится зажатая в пальцах сигарета. Через некоторое время к ней подошла какая-то крошечная женщина, и Анджелина догадалась, что это, должно быть, и есть Валерия — уж очень Мэри обрадовалась, увидев ее, вскочила, и они неторопливо расцеловались по-европейски — сперва в одну щеку, потом в другую. Анджелина видела, как оживленно жестикулирует мать, о чем-то рассказывая подруге. Потом она продемонстрировала Валерии дымящуюся сигарету, и обе весело рассмеялись. Затем маленькая женщина встала, они с Мэри еще раз расцеловались на прощанье, и Валерия пошла прочь, а Мэри снова уселась и еще некоторое время продолжала курить. Сделав напоследок пару хороших затяжек, она затушила окурок о землю, но не выбросила его, а аккуратно спрятала в маленькую пластмассовую коробочку, которую извлекла из желтого ридикюля.

Потом Мэри еще немного посидела почти неподвижно, глядя куда-то вдаль, на море, а Анджелина все смотрела на нее из окна и никак не могла оторваться. А потом вдруг увидела, что мать встала и вышла прямо на проезжую часть улицы, направляясь к старику, переходившему с

одного тротуара на другой. Он шел неуверенно, покачиваясь, но явно не от пьянства, а, скорее, от какого-то старческого недуга. Больше всего Анджелину поразило то, как быстро мать, оказывается, способна двигаться. В свете уличного фонаря лицо старика было хорошо видно. Он улыбался матери Анджелины с необычайно теплой и глубокой благодарностью. Мэри помогла ему перейти дорогу, и, когда она в какой-то момент повернулась, Анджелина успела заметить, как светится ее лицо. Может, конечно, просто свет фонаря падал под таким углом, но от лица Мэри исходило необыкновенное сияние, когда она, держа старика за руку, вела его через улицу. Добравшись до противоположного тротуара, они еще немного постояли и поговорили о чем-то, затем Мэри помахала этому человеку рукой, и он пошел дальше. Анджелина решила, что теперь-то уж мать, наверное, вернется домой, но та снова уселась на ту же скамью, вставила в уши наушники и, покачивая головой вверх-вниз в такт, видимо, одной из песен Элвиса, продолжала сидеть лицом к морю и смотреть куда-то вдаль, на палубные огни, которые зажгли стоящие на рейде суда.

Когда Анджелина была маленькой, мать про-

чла ей все книги о маленькой девочке Дороти, что жила в прериях, и когда по телевизору показывали очередную серию снятого по мотивам этих историй фильма, они всегда смотрели ее вместе, свернувшись клубком на диване. А потом мать рассказала Анджелине о том, как убивали индейцев, как захватывали их земли. И отец говорил, что так им и надо, они это заслужили, а мать возражала, что совсем они этого не заслуживали, но именно так все с ними и случилось. В нашей стране, говорила мать, люди вечно перебираются с места на место, вечно пребывают в движении, это свойственно американцам — куда-то двигаться. Двигаться на запад или на юг, жениться, разводиться, но только не стоять на месте.

Мать сказала, что узнала ее в тот же миг, как только она появилась на свет…

— Все хорошо, мам, — прошептала Анджелина, отходя от окна. Она прошла в спальню, взяла компьютер, но не включила его, а присела, озираясь, на кровать и стала думать о том, что это ложе мать теперь делит с мужчиной по имени Паоло.

Восемнадцать лет мать укладывала ее спать, и каждый вечер Анджелина просила: «Только не уходи! Побудь еще немножко со мной!» «Только не уходи, — и сейчас хотелось сказать Андже-

лине, — еще не пора, пока еще нет!» И чтобы отец, стоя в дверях, сказал бы, как тогда: «Спокойной ночи, Лина, давай-ка спи». Анджелина посмотрела в раскрытое окно на море. Оно было совсем темным, на палубах судов горели огни. И, услышав на лестнице шаги матери, она вдруг поняла, что стала свидетельницей чего-то очень важного, случайно заметив, как ее мать помогает тому ветхому, неуверенно держащемуся на ногах старику перейти через улицу. И на какой-то миг — и Анджелина понимала его быстротечность, как понимала и то, что навсегда останется для Мэри ребенком, — на одно лишь краткое мгновение потолок над ней будто приподнялся и исчез, и она словно увидела свою мать глазами того старика на улице, которому Мэри, должно быть, показалась удивительно легкой, быстрой, красивой и милосердной. Да, именно такой она и была, когда выбежала ему на помощь в этой богом забытой деревушке на побережье Италии — ее мать, американка, настоящий первопроходец.

# Сестра

Пит Бартон знал, что его сестра Люси собирается приехать в Чикаго по случаю очередного тиража ее новой книги (на этот раз в мягкой обложке). Он следил за ней онлайн, хотя всего несколько месяцев назад сподобился установить в доме вай-фай и купить маленький ноутбук. Больше всего ему нравилось смотреть, чем в данный момент занята Люси. Он испытывал благоговейный восторг при мысли о том, что она все-таки сумела стать тем, кем хотела. Когда-то она сбежала из их убогого домишки, из их жалкого города, из той бедности, в которой все они даже не жили, а с трудом выживали — сбежала и уехала в Нью-Йорк, а там стала — по крайней мере в глазах Пита — настоящей знаменитостью. И когда он видел Люси на экране своего компьютера — видел, как умело она говорит, как прекрасно держит внимание любой аудитории, даже если в зале яблоку негде упасть, — то всегда испытывал глубокое волнение, даже безмолвный трепет. Надо же, его *сестра*…

Они не виделись семнадцать лет. Люси не при-

езжала домой с тех пор, как умер их отец, хотя в Чикаго за это время побывала много раз — она сама Питу в этом признавалась. Зато она почти каждый воскресный вечер ему звонила, и они подолгу разговаривали. Он забывал, какой Люси стала знаменитой, и сам что-то ей рассказывал, и слушал ее рассказы — например, о том, что у нее новый муж (она еще несколько лет назад вышла замуж во второй раз), или о том, чем занимаются ее дочери. Впрочем, ее дочери Пита не особенно интересовали, он и сам не знал почему. Но Люси, похоже, это понимала и упоминала о них лишь мельком.

Когда в воскресенье вечером у него зазвонил телефон — а с тех пор, как он узнал об очередном приезде Люси в Чикаго, прошло как минимум недели две, а то и три, — и он услышал в трубке ее голос: «Пити, я снова в Чикаго и через субботу хочу взять в аренду автомобиль, все-таки добраться до Эмгаша и наконец повидаться с тобой», он настолько удивился, что сумел сказать лишь: «Это же здорово!», однако, едва они поговорили, ему стало по-настоящему страшно.

У него было всего две недели.

И все это время страх Пита только усиливался. Но когда в следующее, промежуточное, воскре-

сенье Люси снова позвонила, он сообщил ей: «Знаешь, я так рад, что ты собираешься меня навестить», хотя на самом деле надеялся, что она сама найдет какой-нибудь предлог, чтобы от этой идеи отказаться, и скажет, что на этот раз ничего не получится. Но она сказала только: «Ой, и я *тоже ужасно рада*!»

И Пит принялся приводить дом в порядок. Он купил моющее средство, высыпал его в ведро с горячей водой, подождал, пока поднимется пена, потом опустился на четвереньки и стал отскребать пол, удивляясь невероятному количеству скопившейся грязи. Затем он принялся за кухонные столы, и толстый слой жира и прочей мерзости на них удивил его ничуть не меньше. На окнах помимо жалюзи висели еще и занавески, и Пит снял их и сунул в старую стиральную машину. Вообще-то он всегда считал, что эти занавески приятного серо-голубого цвета, однако после стирки они оказались грязно-белыми, до такой степени, видимо, успели выгореть за эти годы. Пит выстирал их еще раз, и они, пожалуй, стали немного чище, но так и остались грязно-белыми. Он вымыл окна изнутри, потом заметил, что с внешней стороны они покрыты потеками грязи, вышел на улицу и принялся их мыть снаружи.

Наконец, еще раз вымыв окна изнутри и снаружи, он полюбовался на свою работу и обнаружил, что в последних лучах августовского солнца на стеклах по-прежнему отчетливо видны грязноватые разводы. Тогда он решил, что все-таки лучше, наверное, снова спустить жалюзи да так и оставить, как это, собственно, всегда и было.

Но когда, покончив с окнами, он снова вошел в дом — отворив ту единственную дверь, через которую сразу попадаешь и в маленькую гостиную, и на кухню, расположенную в закутке справа, — то словно посмотрел на свое запущенное жилище глазами Люси и подумал: господи, да ведь эта депрессивная обстановка ее убьет! Не зная толком, что делать, Пит решил поехать в загородный «Волмарт». Там он купил большой ковер, постелил его, и ему показалось, что гостиная сразу стала выглядеть значительно лучше. Хотя, конечно, старый диван так и остался старым и кочковатым, а его некогда желтая обивка, изношенная чуть ли не до основы, была порвана на углах. Пластмассовая столешница на кухне тоже выглядела ужасно, и ее никоим образом невозможно было заставить выглядеть новее. Ни одной скатерти он в доме так и не нашел и некоторое время размышлял, не купить ли ему

еще и скатерть. А потом сдался. И все же за день до приезда сестры Пит съездил в город и постригся, хотя обычно сам приводил волосы в порядок. Но на обратном пути его одолели ужасные сомнения: надо или не надо было давать на чай парикмахеру?

В ту ночь Пит спал плохо и проснулся в три часа от кошмаров, но даже вспомнить не мог, что ему привиделось. Потом он все же снова заснул, но проснулся в четыре и больше глаз не сомкнул. Люси обещала подъехать днем, часам к двум, и в час Пит все-таки решил поднять жалюзи на тщательно вымытых им окнах, но несмотря на то, что день был пасмурный, грязные разводы на стекле были по-прежнему хорошо видны, и он снова опустил жалюзи. Потом сел на диван и стал ждать.

* * *

В двадцать минут третьего Пит услышал, как по гравию подъездной дорожки заскрипели колеса автомобиля, и осторожно выглянул в щелку между пластинками жалюзи. Из белого автомобиля вылезала женщина. Вскоре в дверь постучали, и Пит пришел в такое волнение, что перед глазами у него поплыла пелена, и он даже решил, что

у него что-то случилось со зрением. Вообще-то — как он понял впоследствии — он ожидал, что вместе с Люси в комнату ворвется солнечный свет и зальет все вокруг, словно обозначив ее сияющее присутствие. Но Люси отнюдь не сияла и почему-то оказалась гораздо меньше ростом, чем помнилось Питу, и гораздо худее. И одета она была в черный жакет, который, по мнению Пита, больше подошел бы мужчине, и в черные джинсы, а на ногах у нее были черные ботинки. А каким усталым — и старым! — выглядело ее лицо! Зато глаза прямо-таки светились от счастья. «Пити», — с нежностью сказала она, а он откликнулся: «Люси».

Сестра протянула к нему руки, и он осторожно ее обнял. У них в семье никогда не обнимались и не целовались, так что этот жест дался ему нелегко. Макушкой Люси доставала ему примерно до подбородка. Потом, чуть отступив от нее, он похвастался: «А я постригся!», и даже по голове себя погладил.

— Ты замечательно выглядишь, — похвалила его Люси.

И тогда он почти пожалел, что она вообще сюда приехала, понимая, каким утомительным для него будет ее визит.

— Представляешь, я даже дорогу нашу не сразу нашла! — сказала Люси, и на ее лице отразилось настоящее удивление. — Я по ней, должно быть, раз пять проехала и все думала: *да где же она?* И только потом — господи, какая же я дура! — до меня наконец дошло, что ту старую вывеску сняли. Ну, ту самую, на которой было написано «Шьем и перешиваем».

— А-а-а, да. Я ее больше года назад снял. Решил, что пора.

— Ну, конечно, Пити. Давно пора было ее снять. Это просто моя старая глупая голова виновата — все мне казалось, что я вот-вот ее увижу… вот я и… Ох, здравствуй, Пит! Господи боже мой, да здравствуй же! — Она заглянула ему в глаза, и он наконец понял, что это действительно она, его сестра. Он ее *увидел.*

— Я тут весь дом в порядок привел по случаю твоего приезда, — похвалился он.

— Ну, *спасибо*, дорогой.

Ох, до чего же он нервничал!

— Пити, послушай-ка. — Она подошла к дивану и так привычно на него плюхнулась, словно все эти годы только и делала, что на нем сидела. Сам Пит медленно опустился в старое кресло, стоявшее в углу, и стал смотреть, как Люси стаскивает

с ног черные ботинки — теперь-то он понял, что они все-таки больше похожи на туфли. — Нет, представляешь? — снова заговорила Люси. — Я видела Абеля Блейна! Он на мои чтения пришел.

— Ты видела Абеля? — Абель Блейн был их троюродным братом со стороны матери. Когда-то давно он несколько раз подряд приезжал к ним на все лето вместе со своей младшей сестрой Дотти. Абель и Дотти были из такой же бедной семьи, как и у них. — И какой он теперь? — Пит много лет Абеля даже не вспоминал. — Вот это здорово, Люси! Неужели ты и впрямь *Абеля* видела? А где он теперь живет?

— Погоди, я сама тебе все расскажу. — Люси подобрала под себя ноги, потом наклонилась с дивана и отставила в сторонку черные то ли ботинки, то ли туфли. Пит никогда таких не видел. В задники у них были вшиты маленькие молнии. — Ну, значит, так, — сказала Люси и расправила на груди черный жакет, — сижу книги подписываю, а ко мне подходит мужчина — высокий, с красивыми седыми волосами, я его еще раньше заметила, когда он терпеливо стоял в очереди, — и говорит: «Привет, Люси», и я чувствую, что голос у него уж больно знакомый. Нет, ты представляешь, Пит? Ведь столько лет прошло, а

у него голос *звучит*, в точности как у тогдашнего Абеля. Ну, я немного растерялась, говорю: «Погодите-ка, погодите…», а он засмеялся и сказал: «Это же я, Абель!», я так и подскочила, и знаешь, Пити, мы с ним обнялись, поцеловались, и я была так рада, так рада… Боже мой, Абель Блейн!

Пит тоже разволновался. Казалось, охватившее Люси возбуждение передалось и ему. А она продолжала:

— Он живет в пригороде Чикаго, в таком пижонском поселке среди роскошных особняков, и много лет управляет фирмой по производству кондиционеров и деталей к ним. Я спросила: «А твоя жена тоже здесь?», и он сказал: «Нет, она, к сожалению, не смогла приехать, у нее срочная встреча или что-то в этом роде».

— Пари держу, она просто *не захотела* приехать.

— *Вот именно*! — Люси энергично кивнула. — Как же ты прав, Пити! Молодец, что быстро догадался. Мне тоже сразу стало ясно. Ну, то есть я *видела*, что Абель лжет. По-моему, он вообще никогда толком врать не умел.

— Он женился на какой-то снобке, — сказал Пит и снова сел. — Мама еще сто лет назад так го- ворила.

— Мама и мне это говорила — я тогда в больнице лежала, а она приехала меня навестить. — Люси поплотнее запахнула черный жакет и продолжила: — Она сказала, что Абель женился на «этакой штучке», дочери своего босса. Вообще-то одет он был и вправду очень хорошо — в такой, знаешь ли, дорогой костюм…

— А как ты определила, что костюм дорогой? — спросил Пит.

— Ну, в общем, верно. — И Люси кивком как бы подтвердила правоту брата. — Мне и впрямь понадобилось много лет, чтобы научиться понимать, дорогая вещь или… Через какое-то время достаточно просто взглянуть — и сразу все становится ясно. Короче, костюм на Абеле сидел идеально и сшит был из очень хорошей материи. Впрочем, это совершенно не важно. Главное — Абель был *так* рад меня видеть! Ох, Пити, просто умереть можно!

— А Дотти как поживает? — Пит сидел, поставив локти на колени и подперев подбородок руками, и смотрел прямо перед собой, понимая, что у них в гостиной на стенах нет ни одной картины. Вообще-то он крайне редко сидел в этом кресле, а потому, должно быть, просто этого не замечал. Обычно он сидел на диване лицом к две-

ри — там, где сейчас расположилась Люси. И ему вдруг показалось, что стены гостиной буквально нависают над ним, грязно-белые и совершенно пустые.

— Абель сказал, что у Дотти все хорошо. Она теперь хозяйка гостиницы «B&B» в Дженнисберге, это рядом с Пеорией. Детей у нее нет. Зато у Абеля их трое. И уже есть двое маленьких внуков. Мне показалось, что он *очень*, — Люси даже слегка пристукнула по коленке, — *очень* рад этому. Он выглядел таким счастливым, когда говорил о внуках.

— Но, Люси, это же чудесно.

— Да, и впрямь чудесно. Это замечательно! — Люси провела рукой по волосам, которые спереди были выстрижены чуть длинней, чем сзади, примерно до подбородка, и по-прежнему были светло-каштановыми. — Ой, догадайся, кого я видела в Хьюстоне? Я подписывала книги, и ко мне подошла женщина — вот ее я бы действительно никогда не узнала! — и оказалось, что это Кэрол Дарр.

— А, да-да, конечно… — Пит откинулся на спинку кресла, по-прежнему изучая пустые стены своей гостиной. Теперь ему казалось, что по углам они имеют более темный оттенок. — Дочка

Дарров. Она давно отсюда уехала. Значит, она в Хьюстоне живет?

— Мы с Кэрол в одном классе учились, и знаешь, Пити, она была такой врединой! Ох, до чего же эта девчонка была вредной, и как подло она вела себя по отношению ко мне!

— Ну, Люси, к нам тогда все так относились.

Отчего-то эти слова заставили их посмотреть друг на друга, и они дружно фыркнули — обоим вдруг стало смешно.

— Да уж, — сказала Люси. — Ну и ладно.

— А в Хьюстоне она тоже вела себя подло? И была вредной?

— *Нет.* Как раз об этом я и хотела тебе рассказать. Она держалась скорее застенчиво. Скромненько так назвала себя и вела себя *очень даже сдержанно.* Застенчивая Кэрол Дарр, представляешь?! Ну, я, конечно, сказала: «Ах, Кэрол, как я рада тебя видеть!», а она стояла и ждала, чтобы я подписала ей книгу — только что я могла ей написать? Ну, я и придумала: «С наилучшими пожеланиями», и отдала ей, а она наклонилась и тихонько так говорит: «Знаешь, Люси, я ведь тобой горжусь, по-настоящему горжусь». Я, разумеется, ее поблагодарила: «Ой, Кэрол, спасибо тебе большое!» Не знаю, Пити, но мне почему-то

показалось, что она не просто повзрослела, но еще и плохо себя чувствовала. Или, может, ей немного не по себе было. В общем, на меня она именно такое впечатление произвела.

— А она замужем? — спросил Пит.

Люси подняла палец, покачала им и медленно промолвила:

— Н-не знаю… Во всяком случае, мужчины с ней рядом не было. Хотя, возможно, она его дома оставила. — Люси снова задумчиво посмотрела на брата. — Ну, не знаю я. — Она слегка пожала плечами и, погладив ладонью комковатый диван, сказала: — Пити, теперь твоя очередь. Пожалуйста, расскажи мне о себе все-все. Как ты живешь, а то я, не успев толком в дом войти, сразу языком молоть принялась, да так и болтаю, причем исключительно о себе!

— Но это же хорошо. Мне так приятно тебя слушать. — Ему, правда, было приятно. Да что там, он был счастлив!

— Пити, а почему бы тебе собаку не завести? Ты же всегда любил животных. — Люси огляделась, и Питу показалось, что она впервые сделала это по-настоящему. — У тебя когда-нибудь была собака?

— Нет. Но я много раз думал об этом. Вот только когда я на работе, ей придется весь день в оди-

ночестве сидеть. Мне при одной мысли об этом грустно становится.

— А ты заведи сразу двух собак, — предложила Люси. — Или даже трех. — Затем попросила: — А расскажи мне, Пити, поподробней о своей работе. Ты упоминал о ней по телефону, но мне интересно, что это такое на самом деле. Ты ведь работаешь в бесплатной столовой, да? Для нуждающихся? Расскажи, пожалуйста.

— Хорошо, — кивнул Пит. — Ты помнишь Томми Гаптилла?

Люси вдруг села очень прямо и спустила ноги на пол. Пит заметил, что носки у нее разных цветов — один коричневый, а другой синий.

— Конечно. Он у нас в школе уборщиком работал. Чудесный был человек!

Пит кивнул.

— Ну, а теперь мы с ним вроде как друзья. Раз в неделю я вместе с ним и его женой езжу в Карлайл и работаю в бесплатной столовой.

Люси одобрительно покачала головой.

— Но это же замечательно, Пити. Я прямо-таки гордиться тобой начинаю.

— Почему гордиться? — Он действительно не мог этого понять.

— Потому что далеко не каждый способен ра-

ботать в бесплатной столовой. И я горжусь, что ты на такое способен. А давно в Карлайле эта столовая появилась? — Люси сняла с джинсов пылинку и подбросила ее в воздух.

— Несколько лет. Не помню точно. Но я стал туда ходить всего месяца два или три назад.

— А Томми здоров? Он ведь, должно быть, уже старый. — Люси посмотрела на брата.

— Да, он старый, но еще вполне крепкий. И жена его тоже. Они иногда спрашивают о тебе, Люси. Ей-богу, они были бы счастливы тебя повидать. — И его удивило, как мгновенно переменилось выражение ее лица. Она словно отгородилась от него.

— Нет, этого не нужно. Но ты непременно передай им от меня привет. — Она помолчала: — Слушай, хочу, чтоб ты знал: я позвонила Вики и предупредила, что сегодня обязательно сюда приеду, а она мне ответила, что сегодня она занята. Но это ничего, это нормально. Я не обиделась, я все понимаю.

— Она мне сообщила о вашем разговоре, и я жутко на нее разозлился. Понимаешь, Люси, она ведь все-таки твоя сестра… — И Пит невольно провел пальцем по ближайшей к нему стене, с которой темным ручейком посыпалась пыль.

— Ну, Пити, постарайся посмотреть на эту ситуацию с ее точки зрения. Во-первых, я как уехала отсюда, так *больше и не возвращалась*, а во-вторых, она регулярно просит у меня денег — ты знал об этом? Ну да, просит, и я всегда ей даю — ясное дело, она в своей лечебнице много не заработает. А ты знаешь, что ее мужа уволили? В общем, она, должно быть, чувствует… ну, да ты и сам понимаешь, *как* она себя чувствует. Ты-то хоть с ней видишься? Она счастлива? А, впрочем, я и так знаю, что *не счастлива.* Я хотела спросить — она здорова, у нее все нормально?

— Да, с этим у нее все о'кей. — И Пит смахнул себе на джинсы со стены очередной темный ручеек пыли.

— Ну и хорошо. — Какое-то время Люси молча смотрела прямо перед собой, словно ее вдруг одолели тяжкие мысли, потом тряхнула головой, вскинула глаза на Пита и снова радостно воскликнула: — Но до чего же я все-таки рада тебя видеть!

— Люси, мне нужно кое-что у тебя спросить.

— Что?

Питу показалось, что в глазах у нее промелькнула тревога.

— Скажи, полагается давать на чай тому парню,

который мне волосы стриг? Вообще-то я всегда сам стригусь, но на этот раз я специально поехал в Карлайл, и этот парикмахер меня постриг, а потом снял с меня эту странную штуковину вроде фартука и отряхнул. Я с ним, конечно, расплатился, но с тех пор мне не дает покоя вопрос о чаевых. Так я должен был дать ему на чай или нет?

— А это его парикмахерская? Он ее хозяин? — Люси опять уселась поудобней и подобрала под себя ноги.

— Не знаю.

— Если он *хозяин* парикмахерской, ты никаких чаевых давать ему не должен. Но если он там *работает*, тогда тебе следует всегда оставлять ему немного денег. — Люси пренебрежительно помахала рукой. — Да не беспокойся ты так. Если снова туда пойдешь, дай ему чуть больше, скажем, несколько долларов, только не беспокойся.

Какая же она добрая, хорошая, с нежностью думал Пит, как хорошо знает этот мир и как хорошо понимает его, Пита! Ее, похоже, ничуть не смутило то, что он задал ей подобный вопрос. Он чувствовал себя по-настоящему счастливым. И, возможно, поэтому не услышал скрежета гравия на подъездной дорожке. Когда в дверь вдруг громко постучали, Пит и Люси от неожиданности

одновременно подпрыгнули, и он успел заметить промелькнувший в глазах сестры страх. Она тут же села очень прямо, и лицо ее стало очень строгим, словно застывшим. Ему и самому стало не по себе. Он прижал палец к губам и, бесшумно подойдя к окну, с превеликой осторожностью отогнул самую тонкую пластинку жалюзи.

— О, — с облегчением выдохнул он, — это же Вики!

* * *

Тучи рассеялись, и солнце теперь светило вовсю, а вокруг, освещенные его лучами, простирались кукурузные поля. Распахнув дверь и стоя на пороге, Пит вдруг понял, что Вики ужасно растолстела. Он, собственно, и так знал, что она толстая, но как-то не осознавал этого. А теперь она показалась ему действительно чересчур жирной. Наверное, он обратил на это внимание, сравнив ее с Люси, которая была очень маленькой и худенькой. Вики надела цветастую кофту и темно-синие брюки — в пояс у них, наверное, была вшита резинка, иначе они попросту не застегнулись бы на ее необъятной талии. В руках она держала маленькую красную сумочку. На носу у нее еле держались сползшие очки. Они с

Питом кивнули друг другу в знак приветствия, и она решительно шагнула мимо него. А он еще немножко постоял на крыльце, глядя на окрестные кукурузные поля и думая о том, что сегодня Вики выглядит иначе, чем всегда, и выражение лица у нее какое-то незнакомое. Когда же Пит снова вернулся в дом, Люси стояла в несколько странной позе, но тут же снова села, и Пит догадался, что она, должно быть, хотела обнять Вики, но та не выразила ни малейшего желания с ней обниматься, что и было явственно написано у нее на лице.

— Это еще что? — спросила Вики, указывая на ковер.

— А, это ковер, — сказал Пит. — Я его на днях купил.

— Правда, выглядит симпатично? — спросила Люси.

Вики обошла ковер по периметру и остановилась напротив Люси.

— Так. Значит, явилась? Ну, рассказывай, каким ветром тебя занесло в Эмгаш из твоего широкого и прекрасного мира?

Люси кивнула, словно подтверждая, что поняла тайный смысл этого вопроса, и сказала:

— Просто мы постарели. — И она подняла глаза

на сестру, горой возвышавшуюся над ней. — И все больше стареем.

Вики бросила на пол сумочку и уселась на диван как можно дальше от Люси. Но диван был не так уж велик, а Вики была очень большая, так что ей не удалось отодвинуться от сестры достаточно далеко. Усевшись, она попыталась положить ногу на ногу, но ей мешали слишком толстые колени, так что она сдвинулась на самый краешек дивана. Волосы Вики, почти совсем седые, были пострижены коротко, «под горшок», так что лоб был закрыт дурацкой округлой челкой. И сейчас она сидела в такой нелепой напряженной позе, что казалась Питу похожей на одну старуху, тоже очень тучную, которая вполне уверенно чувствовала себя, сидя в автоматическом инвалидном кресле и повсюду на нем разъезжая — эту женщину он видел в Карлайле, когда ездил туда стричься.

И тут он заметил главное: на губах у Вики была яркая помада!

Ее рот — и изогнутую верхнюю губу, и пухлую нижнюю — покрывал толстый слой оранжево-красной помады. Пит даже вспомнить не мог, видел ли он когда-нибудь раньше, чтобы Вики пользовалась помадой. Потом он посмотрел на

Люси, увидел, что у той помады на губах нет вовсе, и внутри у него вдруг все затряслось. Это была такая противная, пронизывающая, внутренняя дрожь, и ему казалось, будто у его души разболелись зубы.

— То есть ты хочешь сказать, что все мы вскоре помрем, а потому ты решила, что надо бы приехать и с нами попрощаться? — спросила Вики, в упор глядя на сестру. — Между прочим, ты и оделась, как на похороны.

Люси положила ногу на ногу, пристроила на колено руки со сплетенными пальцами и спокойно сказала:

— Я бы не стала так это интерпретировать. Это я насчет того, что «все мы вскоре помрем».

— А как бы ты стала? — спросила Вики.

Питу показалось, что лицо Люси слегка порозовело, когда она ответила сестре:

— Я бы сказала именно так, как ты слышала. Мы постарели, Вики. И все больше стареем. — Она слегка кивнула в подтверждение своих слов и прибавила: — И потом, мне просто захотелось повидать вас, ребята.

— У тебя что, беда какая? — спросила Вики.

— Нет, — сказала Люси.

— Ты, может, больна?

— Нет. По крайней мере мне об этом ничего не известно.

И после этих слов в комнате надолго воцарилась тишина. Питу даже показалось, что она *слишком затянулась.* Вообще-то к тишине он привык, но это была нехорошая тишина. Он снова вернулся к тому креслу в углу и очень медленно, осторожно в него опустился.

— Как поживаешь, Вики? — спросила Люси, глядя на сестру.

— У меня все отлично. А ты как?

— О господи! — сказала Люси и, упершись локтями в колени, на несколько секунд закрыла руками лицо. — Вики, пожалуйста…

— «Вики, пожалуйста»? — тут же взвилась Вики. — «*Вики,* пожалуйста»? Это ведь ты, Люси, отсюда смоталась, а с тех пор, как умер папа, ни разу не приезжала. И ты говоришь мне «Вики, пожалуйста», словно это я что-то нехорошее совершила!

Пит провел пальцем по стене, и снова на пальце у него остался комок пыли. Он собрал еще два таких же комка, но потом все же заставил себя положить руки на колени и выпрямиться.

А Люси сказала, глядя куда-то вверх:

— Все это время я была очень занята.

— Занята? А кто не занят? — Вики подтолкнула сползшие очки. И, немного помолчав, добавила: — Слушай, Люси, разве ты сейчас правду говоришь? Я совсем недавно видела в компьютере, как ты что-то вещала насчет правдивых слов и сентенций. Несла какую-то чушь вроде того, что «писатель всегда должен писать только правду». И вот сейчас ты сидишь передо мной и оправдываешься, что была очень занята. Ну, так я тебе не верю! Ты ведь не приезжала сюда, потому что не хотела?

И Пит с удивлением увидел, что теперь на лице Люси написано явное облегчение. Она кивнула сестре.

— Ты права.

Но Вики еще не закончила. Она чуть наклонилась в сторону Люси и сказала:

— А знаешь, почему *я* сегодня сюда приехала? Чтобы сказать тебе — да-да, я прекрасно помню, что ты даешь мне деньги, но ты больше не обязана давать мне ни гроша, я, собственно, больше и не возьму у тебя ни гроша! — сказать тебе прямо в лицо: меня от тебя тошнит! — Вики снова выпрямилась, уселась поглубже и погрозила сестре пальцем. Тонкий кожаный ремешок от часиков у нее на запястье буквально впился в плоть. — Да,

Люси, меня тошнит от тебя. Меня тошнит каждый раз, как я смотрю в компьютере твои выступления и вижу, как же здорово ты научилась играть свою роль!

Пит уставился на новый ковер. Ему казалось, ковер кричит: «*Какой же ты кретин, что купил меня!*»

Прошло много времени, прежде чем Люси тихо произнесла:

— Что ж, и меня от этого тошнит. И на самом деле во время любой из подобных программ, какую бы из них ты ни смотрела, — а кстати, зачем ты вообще смотришь передачи с моим участием? — мне больше всего хочется крикнуть: «Да пошли вы все к чертовой матери!»

Пит поднял голову.

— Ого! И кому это тебе хочется такое крикнуть?

— Ну, — сказала Люси, проводя рукой по волосам, — чаще всего это бывает во время выступления какой-нибудь особы, которой мои книги не нравятся, вот она и желает заявить об этом во всеуслышание. Или репортера, которому непременно хочется разузнать подробности моей личной жизни.

— А что, — удивился Пит, — неужели кто-то

действительно встает и говорит, что ему твои книги не нравятся?

— Иногда бывает.

Пит даже чуть подвинулся вперед вместе с креслом.

— Но тогда зачем эти люди приходят на передачу? Почему они дома не остаются?

— В том-то все и дело. — Люси слабо отмахнулась. — Да пошли они все…

— Бедная Люси! — съязвила Вики.

— Да, бедная я, — кивнула Люси и снова села.

— Любимица нашей мамочки! — тем же тоном прибавила Вики, и Люси встрепенулась:

— Что?

— Я сказала, что ты была ее любимицей. Вот только много *тебе самой* это дало?

Люси растерянно посмотрела на Пита, потом переспросила:

— Я была ее любимицей? — Пит был поражен ее искренним изумлением. — Это правда? — Он только плечами пожал, а Люси сказала: — Я и не знала, что кто-то вообще *мог быть* ее любимцем.

— Это потому, что ты вообще почти ничего не знала о том, что у нас в доме происходит! Ты ведь почти каждый день в школе после уроков торчала, а она тебе это позволяла. — Вики смотрела

прямо на сестру, и подбородок у нее дрожал.

— К сожалению, я даже чересчур много знала о том, что происходит у нас в доме! — жестко отрезала Люси. — И ничего она мне не позволяла. Я просто оставалась в школе — и все.

— Оставалась, потому что она тебе это *позволяла*! Да-да, Люси. Она ведь тебя очень умной считала. А *себя* она и вовсе считала умнее всех. — Вики яростно одернула блузку на груди, и Пит заметил, что голая полоска ее тела, нависавшая над тугим поясом брюк, стала багровой, почти синей.

— Послушай, Вики, — сказал он, — а Люси видела Абеля. Расскажи, Люси, как ты с ним встретилась.

Но стоило Люси сказать: «С Абелем я встретилась случайно», как Вики прервала ее и, пожав плечами, заявила:

— Я всегда терпеть не могла его сестрицу, эту Дотти. А мама еще вечно старалась сшить ей что-нибудь новенькое.

— Ну и что? Дотти была такая бедная, — сказала Люси.

— Это *мы* были бедные, Люси. — Вики даже вперед наклонилась, словно ей хотелось максимально приблизить свое лицо к лицу сестры.

— Уж это-то я знаю, — сказала Люси и вдруг встала, подошла к окну и, слегка потянув за веревку, подняла жалюзи. В комнату хлынул солнечный свет. А Люси подошла ко второму окну и на нем тоже подняла жалюзи. И в ярких солнечных лучах Питу стала отчетливо видна та грязь, которую он так старательно отскребал от половиц, а потом заметал в углы.

— Слушай, ты вообще хоть что-нибудь ешь? — вдруг спросила Вики, глядя на Люси. Та молча покачала головой, снова уселась на диван и сказала:

— Ем, но мало. Чего у меня нет, так это аппетита.

— У меня тоже, — признался Пит. — Я просто в какой-то момент понимаю, что обязательно должен поесть, потому что от голода у меня странные штуки с головой начинаются. — Этот неожиданно ворвавшийся в дом солнечный свет — такой золотистый, как это обычно бывает ближе к осени, — казался Питу чрезмерным, и на самом деле ему очень хотелось поскорей снова опустить жалюзи. Это было почти нестерпимое желание, почти как чесотка, так что он с трудом себя сдерживал.

— А странно все-таки, — сказала Вики, и в ее

голосе больше не слышалось ни капли былой агрессивности, — даже очень странно, по-моему, что вы оба остались такими худющими и есть не хотите, а я, наоборот, только и делаю, что все время ем. Странно, правда? Я, правда, не помню, чтобы вас, ребята, заставляли пойти и съесть то, что вы потихоньку в уборную или на помойку выкинули. Хотя, может, и заставляли. Кто ее знает… — Вики глубоко вдохнула, отчего ее толстые щеки еще больше надулись, и с силой выдохнула воздух.

А Пит все твердил себе мысленно: «Не делай этого! Ни в коем случае не вставай и не опускай жалюзи!»

Чуть замешкавшись после слов сестры, Люси как-то растерянно переспросила:

— Что ты сказала?

— Просто со мной однажды именно так и поступили, — сказала Вики. — У нас на обед было мясо, — она яростно поскребла шею, — точнее, печенка. А я ее ненавидела, ей-богу, ненавидела! Но мама считала, что у нас в крови чего-то не хватает — ну, не знаю, красных кровяных телец, что ли, а может, чего-то еще, — и где-то раздобыла здоровенный кусман этой проклятой печенки. Это был такой ужас! В общем, я совала куски в

рот, а потом ходила и выплевывала их в уборную, а этот чертов унитаз никак не хотел их смывать, и куски печенки так там и плавали, а когда *они* это увидели…

— Стоп! — Люси и подняла руку ладонью вверх, призывая сестру к молчанию. — Мы все уже поняли.

Но Вики, похоже, разозлил этот жест, и она сказала:

— Что ж, я очень даже хорошо помню, что и тебя, Люси, и тебя, Пити, тоже заставляли доставать из выгребной ямы то, что вы туда выбросили, и съедать это! — Для пущей убедительности Вики даже пальцем дважды потыкала в сторону кухни. — Да-да, я сама видела, как вас заставляли вставать на колени и выбирать из помойки всю еду, которую вы потихоньку туда бросали, а потом и съесть ее прямо там, возле выгребной ямы. А когда вы начинали плакать… Ладно, ладно, я больше не буду. Но послушайте, я не могу понять, почему вы, ребята, есть никогда не хотите. Как, впрочем, не понимаю и того, почему *я* и могу, и хочу есть.

Люси протянула руку и погладила сестру по колену. Но Питу этот жест показался несколько вынужденным, как если бы Вики была ребенком

и ляпнула что-то недопустимое, а Люси, будучи женщиной взрослой, старается это замять.

— Как твоя работа? — спросила Люси у сестры.

— Работа как работа. Довольно вонючая.

— Вот как? Жаль это слышать.

Пит посмотрел на стену: там, где он провел пальцем, стирая слой пыли, остались длинные светлые дорожки и множество грязных отпечатков.

— Еще одна порция правдивых слов? — Вики слегка подвинулась назад и выпрямилась, садясь поудобней. — Хотя, знаешь, на днях у меня забавная штука вышла. У нас есть одна старая дама, ее зовут Анна-Мария, так она с тех пор, как я там работаю, ни разу с инвалидного кресла не вставала и за все эти годы ни одного словечка не произнесла, и естественно, все твердили: ах, Анна-Мария совсем из ума выжила, даже разговаривать разучилась, только и может, что на инвалидном кресле повсюду раскатывать да на людей налетать. А тут стою я возле сестринской и вдруг чувствую, меня кто-то за руку берет. Смотрю, а это Анна-Мария в своем кресле подкатила ко мне и *говорит*, улыбаясь во весь рот: «Привет, Вики!»

Питу рассказ сестры доставил огромное удо-

вольствие. Он прямо-таки чувствовал, как внутри у него теплой жидкостью разливается счастье.

— Какая чудесная история, Вики! — сказала Люси.

— Да, это было очень мило и приятно, — признала Вики. — Хотя вообще-то там никогда ничего приятного не случается, можете мне поверить.

И тут Пит, словно вдруг что-то вспомнив, попросил:

— Вики, расскажи Люси о Лайле. Как она собирается поступать в колледж.

— Ах, это… — Вики снова принялась яростно расчесывать шею, и на коже уже появились красные полосы. Затем она осторожно глянула на собственные пальцы и сказала: — Да, моя младшенькая, Лайла, и впрямь, может, на будущий год в колледж поступит. — Она подняла глаза и посмотрела на Люси. — Оценки у нее очень хорошие, и школьный консультант считает, что у нее есть все основания поступить в колледж со стипендией. В точности как ты в свое время, Люси.

— *Серьезно*? — Люси чуть не свалилась, сдвинувшись на самый краешек дивана. — Вики, но ведь это же здорово!

— Да, наверное, — сказала Вики, задумчиво подергала себя за нижнюю губу, потом слегка ее

прикусила.

— Ну конечно, здорово! — снова воскликнула Люси.

Вики убрала ото рта руку, вытерла пальцы о брюки и сказала:

— Ага, а потом она возьмет и навсегда отсюда уедет, как ты когда-то.

Пит заметил, как мгновенно изменилось лицо Люси — ей словно влепили пощечину, — и она тихо сказала:

— Нет, она не уедет.

— Это почему же? — Вики опять попыталась сесть поудобней и, поскольку Люси промолчала, решила сама ответить на свой вопрос и несколько жеманным тоном, явно изображая сестру, сказала: — Да потому, глупая Вики, что у нее совсем другая мать, чем у тебя! Ну, спасибо тебе, сестрица!

Люси на секунду устало прикрыла глаза и ничего не ответила.

А Вики, оглянувшись на Пита, сказала:

— Знаешь, кто у них школьный консультант? Пэтти Найсли. Младшая из выводка этих «хорошеньких девиц Найсли». Ты их помнишь?

— То есть это Пэтти помогает твоей девочке поступить в колледж? — спросила Люси.

— Угу. Ребятишки в школе ее Толстухой Пэтти прозвали. Хотя, может, теперь и перестали — она ведь сильно похудела.

— Неужели они Пэтти Найсли прозвали Толстухой Пэтти? — нахмурилась Люси.

— Ну да, а что тут такого? Это же дети. — И Вики, помолчав, добавила: — Между прочим, меня на работе прозвали «противная Вики».

— Не может быть! — возмутилась Люси.

— Да нет, как раз может.

— Ты мне никогда об этом прозвище не говорила, — произнес Пит. — Впрочем, что с них взять, они там все старые, и в головах у них давно уже полная труха вместо мозгов.

— Да меня не пациенты так называют, а сотрудники. Я сама дня два назад слышала, как одна… наша медсестра сказала: «Вон идет эта противная Вики». — Вики сняла очки, и по лицу ее покатились крупные слезы.

— Ой, ну что ты, Вики, милая! — И Люси, придвинувшись к сестре, принялась поглаживать ее по колену. — Как это отвратительно с их стороны! Ты же *ни капельки* не противная, Вики, наоборот, ты…

— Нет, я *действительно* противная! Ты только посмотри на меня, Люси! — Слезы у нее продолжа-

ли течь. Они стекали ей на губы и, смешавшись с помадой, текли дальше.

— А знаешь что? — сказала Люси. Она вдруг перестала поглаживать Вики по колену и мягко, но требовательно по нему постучала. — Ты выплачься как следует, милая. Один разок можно и все глаза выплакать, это даже полезно. Господи, ты помнишь, что нам *вообще никогда* не разрешалось плакать?

Пит наклонился к ним.

— Люси права. Давай-ка выплачься хорошенько. Теперь ведь никто не станет твою одежду на куски резать.

Вики повернулась к нему.

— Что ты сказал? — Она вытерла нос рукой, и Люси мгновенно вытащила из кармана жакета бумажный носовой платок и сунула ей.

— Я сказал, что на этот раз никто не станет твою одежду на куски резать, — повторил Пит. — Такого больше никогда не случится.

— О чем это ты? — спросила Вики.

— Разве ты не помнишь? — удивился Пит. — Не помнишь, как однажды ты плакала, а мама, вернувшись домой, увидела это и всю твою одежду на куски разрезала?

— *Правда*? Неужели она действительно?.. —

Люси была потрясена.

— Неужели она действительно это сделала? — следом за сестрой повторила и Вики, промокая бумажными салфетками лицо, мокрое от слез. Потом заодно промокнула и губы и вдруг встрепенулась: — Ой, погодите! О господи, я вспомнила! Да, она именно так и поступила, просто я совсем об этом забыла. — Вики посмотрела на Люси, потом на Пита. Без очков ее лицо выглядело моложе, но было все же слишком жирным, расплывшимся. — Но почему она это сделала? — с искренним удивлением спросила Вики.

— Погоди, — попыталась разобраться Люси, — значит, мама правда порезала твою *одежду*?

— Ну да. — Вики медленно кивнула. — Я тогда очень долго плакала, не помню из-за чего. Наверняка из-за какого-нибудь гнусного происшествия в школе. В общем, я все плакала и никак не могла перестать — ты права, Люси, *они* ненавидели, когда мы плакали, но тогда дома никого из них не было, только Пит, и он видел, как я сижу и все плачу, плачу… Я так сильно плакала, что и не слышала, как она вошла. Да, теперь я и впрямь все вспомнила. — Вики взмахнула зажатой в руке салфеткой, покрытой страшноватыми красными пятнами от размазавшейся помады. — Она очень

тихо отворила дверь, вошла и сказала: «Немедленно прекрати это вытье, Вики», но, понимаете, я никак не могла прекратить… никак… Тогда она еще раз сказала: «Немедленно прекрати выть», взяла в швейном закутке портновские ножницы и прошла в нашу комнату… я помню только, как громко щелкали эти ножницы, но именно ты, Пит, первым понял, — Вики слегка повернулась к нему и снова приложила к лицу салфетку, — что она делает, и ты пошел и встал в дверях, а потом и я подошла, и встала у тебя за спиной, и все кричала: «Мамочка, не надо, не надо, мамочка!», а она все кромсала и кромсала мою одежду, а отрезанные куски швыряла на пол или на кровать. А потом она вышла из нашей комнаты и поднялась на второй этаж. — Вики умолкла, сидя неподвижно и глядя в пол. — О господи, — вздохнула она чуть погодя, — до чего же все-таки… она… меня… ненавидела!

— Но ведь она же сама эти платья для тебя *шила*, — сказала Люси. — Зачем же, скажите на милость, ей было резать их на куски?

— Так она уже на следующий день снова их сшила, прямо из кусков. Взяла и все куски на машинке сострочила. — Вики вяло махнула рукой. — Но куски она составила как попало, так

что выглядела я … ну, не знаю… наверное, даже хуже, чем какая-нибудь оборванка, что сбежала из психушки. — Это Вики сказала, глядя прямо перед собой.

Все трое долго молчали, потом Пит — он по-прежнему сидел в неудобной позе, сильно наклонившись вперед — сказал:

— Послушайте, ребята, я недавно много о ней думал, и вот что мне кажется: по-моему, с ней что-то было не так с самого начала.

Сестры ничего не ответили, и снова все трое долго молчали. Люси нарушила тишину первой:

— Ну что ж, может, и так. И ведь ей еще пришлось с нашим отцом уживаться. Впрочем, — прибавила Люси, — выдержки у нее хватало.

— Что ты имеешь в виду? — спросила Вики.

— Что у нее был сильный характер. И выдержка. Она же все время сомневалась.

— В чем сомневалась? Ей же ничего другого не оставалось. Ей попросту некуда было пойти. — Сказав это, Вики в очередной раз предприняла тщетную попытку заправить блузку в брюки.

— Она вполне могла бы всех нас бросить и уйти. И зарабатывать на жизнь шитьем. *На себя* зарабатывать. Но она этого не сделала. — И Люси умолкла, крепко сжав губы.

— А знаете, что я больше всего ненавидела? — спросила Вики, глядя на брата и сестру. И почти безмятежным тоном сама же ответила: — Те звуки, которые они издавали, занимаясь сексом. Когда наш папаша не бродил поблизости, что-то гнусаво бормоча, они отправлялись туда, — она указала на потолок, — и там этим занимались… в любое время дня и ночи… Меня тошнило, когда я это слышала — жуткий скрип кровати и те *звуки*, которые он издавал. Никогда в жизни я не слышала, чтобы еще кто-то из мужчин, занимаясь сексом, издавал такие звуки! — Вики высморкалась. — Черт побери, попробуй после такого с кем-нибудь нормально трахаться! Когда столько лет купаешься в дерьме…

— А я никогда и не пробовал, — признался Пит. — Даже не пытался. — Он тут же страшно смутился, лицо у него так и запылало, но Вики ободряюще ему улыбнулась, и он прибавил: — Я ведь отлично понимаю, что ты имела в виду. Моя комната была через стенку от их спальни, и ей-богу… — Пит быстро-быстро затряс головой — казалось, его бьет крупная дрожь. — Ей-богу, это было все равно, как если бы я там вместе с ними был.

— Погоди, — сказала Вики. — А знаешь, только

*он* издавал те ужасные звуки. Ее и слышно не было.

Питу явно никогда раньше подобная мысль в голову не приходила, и он воскликнул:

— Эге, а ведь ты права! Ну, точно: она никогда ни звука не издавала.

— О господи! — воскликнула Вики и вздохнула. — Ох, бедная…

— Стоп, — сказала Люси. — Давайте оставим эту тему. Подобные разговоры ни к чему хорошему не приведут.

— Но это же правда, — сказала Вики. — Чистая правда. И с кем же еще нам, по-твоему, говорить об этом? Слушай, Люси, а может, тебе стоит написать историю одной матери, которая режет на куски одежду собственной дочери? Тебе же нужны правдивые слова и темы? Я не шучу. Возьми и напиши об этом.

Люси не отвечала: она обувалась и была занята шнурками туфель. Потом все же сердито буркнула:

— Не хочу я об этом писать!

— Да и кто захочет читать такое? — поддержал сестру Пит.

— Я бы, например, захотела, — возразила Вики.

— А я по-прежнему люблю читать книжки о

той семье, что жила в прериях, — сказал Пит. — Помните, мы эти книжки в детстве читали? У меня вся серия сохранилась там, наверху.

— Я не могу, — сказала Люси. — Просто не могу.

— Ну, так и не надо, не пиши, — пожав плечами, спокойно сказала Вики. — Я же просто так предложила… Ох, боже мой, я еще помню, как…

Люси вскочила.

— Хватит! — Высоко на скулах у нее алели два ярких пятна. — Хватит! — повторила она. — Оставьте эту тему. — Она посмотрела на Вики, затем на Пита. Потом сказала — довольно громко, но голос ее чуточку дрожал: — Все у нас было *не так уж и плохо*. — И она еще громче прибавила: — Нет, я и в самом деле так считаю!

Некоторое время в комнате царила тишина, потом Вики сказала очень спокойно:

— Да нет, Люси. Все было *именно так плохо*.

Люси возвела глаза к потолку, а потом вдруг начала быстро-быстро отряхивать руки, словно только что вымыла их, а рядом не оказалось полотенца.

— Это невыносимо, — бормотала она. — О, Господи, помоги! Это невыносимо, невыносимо, невыносимо…

И Пит понял, что сестре было невыносимо и находиться в этом доме, и приезжать в Эмгаш, и она боялась этого примерно так же, как он боялся идти в парикмахерскую, только ее страх был во много раз сильнее.

— Ладно, Люси, все хорошо, — сказал он. Потом встал и подошел к ней. — Постарайся успокоиться и просто немного расслабиться.

— Да, — сказала Люси. — Да. Нет. Я не знаю, что мне делать. Я не знаю… — Похоже, она начинала задыхаться. — Послушайте, — она, часто моргая, беспомощно смотрела то на Пита, то на Вики, — я просто не знаю, *что мне делать*. Помогите мне… Господи боже мой… — Она все продолжала отряхивать руки, все сильней и сильней трясла ими в воздухе…

— Люси, — Вики с трудом оторвалась от дивана и подошла к сестре, — давай-ка возьми себя в руки и успокойся…

— Но я не могу, — сказала Люси. — Не могу. Просто не могу… Ох, помогите мне! — Она снова села. — Понимаете, дело в том… Нет, я просто не знаю… Боже мой… — Она посмотрела на брата. — Ох, милостивый Боже, пожалуйста, помоги мне! — Она снова вскочила и принялась яростно отряхивать руки. — Я не знаю, что мне *делать*, не

знаю, что мне *делать*…

Вики и Пит переглянулись.

— У меня панический приступ, — вдруг сказала Люси. — У меня сто лет этих приступов не было, а тут вдруг случился, причем какой-то особенно сильный… О господи… Ах, ты боже мой… О'кей, все, все, все, а теперь послушайте меня, ребята. *Послушай* меня, Пит. Ты сможешь повести мою машину? А с тобой, Вики, мне можно будет поехать? Скажите, вы сможете это сделать? Ох, пожалуйста, скажите, вы сможете меня… Я должна… я просто должна…

— Куда ты хочешь со мной поехать? — спросила Вики.

— В Чикаго. В гостиницу «Дрейк». Я должна вернуться назад, я просто должна…

— В *Чикаго*? — переспросила Вики. — Ты хочешь, чтобы я отвезла тебя в Чикаго? Но туда же добрых два с половиной часа езды.

— Да. Скажи, ты можешь это сделать? О господи, мне так жаль, так жаль, так… но я не могу, не могу, не могу…

Вики посмотрела на наручные часы. Глубоко вздохнула, скорбно расширив глаза, потом повернулась, подхватила с пола свою красную сумочку и обратилась к Питу:

— Ладно, поехали в Чикаго.

— О господи, спасибо тебе, спасибо… — Люси уже открывала дверь.

Пит одними губами прошептал на ухо Вики: «Я же там никогда не был». И Вики точно так же прошептала в ответ: «Да, я знаю, но я там бывала». И ткнула пальцем себе в грудь.

* * *

Хотя солнце светило вовсю, день выдался нежарким. И воздух был так прозрачен, как это бывает лишь перед наступлением осени. Пит особенно остро это почувствовал, садясь в белый автомобиль, взятый Люси напрокат. Некоторое время ему пришлось подождать, пока Вики на своей машине развернется, объедет его и направится к шоссе. Автомобиль Люси арендовала почти новый, в салоне хорошо пахло и было очень чисто. Пит следом за сестрой вырулил на основное шоссе и все никак не мог поверить, что ему придется вести *такую* машину до самого Чикаго. У него даже мелькнула мысль: так ведь и умереть недолго. Сперва они ехали по хорошо ему знакомым местным узким дорогам, затем выехали на хайвэй, и он с ровной скоростью поехал следом за Вики. Солнце медленно ползло по небо-

склону, и ехали они уже больше часа. Впереди Пит неизменно видел широченные плечи Вики, которая то и дело поворачивалась и посматривала на Люси, скорчившуюся на пассажирском сиденье. Они все ехали и ехали — мимо дубов и кленов, мимо больших амбаров с нарисованными на стенах американскими флагами, мимо вывески «Продажа и регистрация огнестрельного оружия», мимо большой площадки, забитой грузовиками и тракторами фирмы «Джон Дир», мимо вывески «Зубные протезы за один день, $144», мимо старого торгового мола, которым так давно не пользовались, что на цементной парковке возле него проросла трава. У Пита, крепко сжимавшего руль, сильно вспотели руки, но он понимал, что ехать им еще очень долго.

Вдруг машина Вики замигала, замедлила ход и через разделительную полосу съехала на обочину. Питу пришлось спешно тормозить, но он все равно проехал чуть дальше и остановился прямо перед автомобилем сестры.

Когда он вылез из машины, его чуть не сбило с ног порывом ветра от грузовика, с невероятной скоростью пронесшегося мимо. Люси, открыв дверцу, выбралась наружу и подбежала к брату.

— Все, Пит, теперь я вполне пришла в себя, —

сказала она, но ему показалось, что глаза у сестры отчего-то стали меньше. Она быстро обняла брата за шею, стукнувшись макушкой о его подбородок, и прошептала: — Я так тебе благодарна, от всего сердца! — Потом прибавила: — Вы возвращайтесь, отсюда я и сама доехать сумею.

— Ты уверена? — И сердце Пита вновь исполнилось смятения и ужаса, когда мимо них — да еще так близко! — с чудовищной скоростью пронесся еще один грузовик. — Смотри, Люси, будь осторожна.

— Я люблю тебя, Пит, — сказала Люси и сразу стала устраиваться за рулем своего белого, взятого напрокат автомобиля. Пит стоял рядом и ждал, пока она усядется как следует и переставит сиденье так, чтобы ей было удобно. Потом она высунулась в открытое окно, махнула им рукой и крикнула: — Поезжайте, поезжайте! — и прибавила еще что-то неразборчивое, так что Питу пришлось снова к ней подойти, и она повторила: — Ты передай Вики: пусть она всегда помнит насчет Анны-Марии. Ты обязательно ей это скажи, хорошо, Пит?

Он кивнул, помахал ей на прощание и вернулся к машине Вики. Пассажирское сиденье было еще чуточку теплым, ведь Люси сидела там всего пару

минут назад. На полу валялись пустые жестянки из-под содовой, и Пит старался так ставить ноги, чтобы на них не наступать. Они доехали следом за Люси до ближайшего разворота, развернулись и поехали обратно. Но у Пита перед глазами все еще стоял белый автомобиль Люси, мчащийся по хайвэю в сторону большого города. Он чувствовал себя совершенно оглушенным событиями нескольких последних часов.

Вскоре они уже свернули с хайвэя направо и поехали по знакомой дороге к дому.

— Ну, хорошо, — начала Вики. — Теперь мне ясно, в чем дело. — И она, не отрываясь от руля, быстро глянула на Пита. — Люси-то наша совсем ку-ку.

— Ты это серьезно?

— Абсолютно серьезно. Она совсем ку-ку. Всю дорогу плакала и повторяла: «Мне так жаль, мне так жаль, простите меня». Я наконец не выдержала и говорю: «Люси, перестань извиняться, все нормально». А она снова: «Нет, с моей стороны было ошибкой приезжать сюда, как было ошибкой и то, что я отсюда уехала, я вообще ошибок наделала, я все время вела себя неправильно...», и я сказала: «Люси, прекрати это немедленно! Ты сумела выбраться из ада, ты построила свою

собственную жизнь, вот в ней и оставайся, а в ад больше не суйся, у тебя же *все хорошо».* Но она никак не унималась, все плакала, представляешь, Пит, меня это даже немного пугать стало, и я спросила: «Может, тебе мужу позвонить?» Но она сказала, что он то ли на репетиции, то ли где-то еще, и она потом с ним поговорит, а я тогда предложила: «Ладно, попробуй кому-то из дочек позвонить», но она не согласилась: ох, нет, нельзя, чтобы девочки по ее голосу догадались, что она в таком состоянии.

Слушая сестру, Пит неотрывно смотрел на крышку бардачка, на которой виднелись застарелые потеки, словно от пролитого кофе.

— Вот это да, даже не знаю, что и сказать-то.

— Да что тут скажешь. — Вики ловко обогнала машину и свернула на дорогу, ведущую к их дому. — В общем, она приняла какую-то таблетку и стала рассказывать, как часто у нее случаются эти панические приступы… Я, правда, и не помню толком, что она там говорила. Но вскоре она успокоилась и велела мне съехать на обочину, чтобы нам не нужно было везти ее до самого Чикаго. А все-таки, Пит, до чего это было *печально.* Она такая маленькая и такая… Смотришь на нее в Интернете и… — Вики не договорила. Она села

совсем прямо и теперь вела машину одной рукой, а второй — держалась за подбородок, опершись о подлокотник. Так они ехали довольно долго, потом Вики вдруг сказала, глядя прямо перед собой: — Нет, Пит, и вовсе она не ку-ку. Просто ей оказалось не под силу возвращение сюда. Не смогла она с этим справиться.

Во время поездок на работу в бесплатную столовую Пит не раз замечал, с какой любовью супруги Гаптилл относятся друг к другу. Например, когда Томми вел машину, Ширли часто клала руку ему на плечо. А Пит все пытался понять, каково это — чувствовать себя таким свободным, чтобы в любую минуту позволить себе, когда захочется, коснуться близкого человека. Вот ему сейчас очень хотелось бы — пусть хотя бы мысленно — положить руку Вики на плечо. Да-да, вот этой самой Вики, которая ради встречи со своей знаменитой сестрой зачем-то намазала губы жирной помадой. Но ничего такого Пит, конечно, не сделал и продолжал смирно сидеть рядом.

А его сестра вскоре снова заговорила:

— Зря я вообще эти старые истории вспоминать стала.

— Ну что ты, Вики, откуда ты могла знать? Я тоже насчет твоих платьев не слишком удачно

высказался.

На обратном пути солнце все время светило в бок машины. Они снова миновали амбары с нарисованными на стенах американскими флагами, только теперь эти амбары оказались на противоположной стороне дороги, а потом ту, уже знакомую Питу, огромную стоянку с желто-зелеными грузовиками и тракторами фирмы «Джон Дир». Сидя рядом с Вики, Пит чувствовал себя в полной безопасности, и ему все хотелось как-нибудь сказать сестре об этом. Наконец, не придумав ничего лучшего, он воскликнул:

— Слушай, Вики, ты просто классная!

Она фыркнула — чуть ли не с отвращением — и недоверчиво на него глянула, а он подтвердил:

— Нет, правда, классная. А Люси, кстати, просила напомнить тебе о той женщине, об Анне-Марии.

— *Об Анне-Марии*? — удивилась Вики. Потом, помолчав, спросила: — Интересно, что она имела в виду?

— Думаю, то же самое, что и я: ты классная. Так мне кажется. По-моему, она именно это хотела сказать. — Пит осторожно переставил ноги, стараясь на наступать на пустые жестянки, катавшиеся по полу.

Они еще довольно долго ехали в полном молчании, и Пит все время искоса поглядывал на сестру, думая: как же все-таки здорово она водит машину. Ему нравилось, что она такая большая, что она словно заполняет собой все пространство внутри салона, что она так уверенно держит руль. И ему очень хотелось с ней этими мыслями поделиться. Сказать, что она не просто классная, а… В общем, хотя ему много чего хотелось сообщить сестре, он в итоге сказал так:

— А знаешь, Вики, мы вроде бы не такими уж плохими людьми выросли.

Округлив от удивления глаза, Вики посмотрела на брата и сказала:

— Это точно. Во всяком случае, людей по темным закоулкам мы точно не убиваем, если ты это имеешь в виду. — И она коротко хохотнула, но это был искренний смех, исходивший, казалось, из самых сокровенных глубин ее души.

И Питу очень захотелось, чтобы эта их поездка никогда не кончалась. Вот так бы ехать и ехать, сидя рядом с сестрой.

Но вокруг уже была знакомая с детства местность — знакомая узкая дорога, знакомый клен, на верхушке которого начинали краснеть листья, знакомые поля вокруг амбаров, принадлежав-

ших Педерсонам. Значит, наконец они вернулись домой. Вики въехала на подъездную дорожку, и прямо перед ними оказался их старый усталый домик, и жалюзи на окнах были подняты. Вики сразу же развернулась, готовясь уезжать, и Пит, минутку помедлив, вдруг спросил:

— Слушай, Вики, ты не хочешь забрать у меня этот ковер?

Вики пальцем поправила на носу сползающие очки.

— Почему бы и нет? Конечно, заберу. — Однако и не подумала вылезти из машины; и они еще долго сидели в молчании и смотрели на свой старый дом, где, как ни странно, жалюзи на окнах были подняты.

# Гостиница «B&B»

Они приехали с Востока и носили фамилию Смол[11].

Эту фамилию Дотти запомнила навсегда, потому что мистер Смол был поистине огромных размеров, а на лице у него застыло выражение вечной брюзгливости, что, как показалось Дотти, стало следствием того, что ему постоянно приходилось отвечать на дурацкие комментарии по поводу своей фамилии. Впрочем, сама Дотти, разумеется, никаких комментариев на сей счет не допустила — не дай бог! Миссис Смол забронировала номер заранее, по телефону, так что Дотти уже знала, что ее новые постояльцы отнюдь не молоды. Она догадалась об этом не только по голосу миссис Смол, но и потому, что та предпочла связаться с ней по телефону, хотя сейчас люди в большинстве своем стараются делать это по Интернету. Вообще-то Дотти была даже немного старше миссис Смол, но сама она к Интернету пристрастилась давно и сразу почувствовала себя на его просторах как рыба в воде.

---

**[11] Примечания: 11**

Small *(англ.)* — маленький, мелкий, скромный, тихий.

Да, как шустрая рыбка-веслонос. И всегда очень сожалела, что Интернет не появился, когда она была помоложе, — Дотти не сомневалась, что тогда, безусловно, сумела бы преуспеть в чем-то более интересном и важном, действительно требующем применения всех ее умственных способностей, а не только в том, чем она занималась уже много лет, предлагая своим гостям уютные гостиничные номера. Да, тогда она, наверное, сумела бы даже разбогатеть! Впрочем, Дотти отнюдь не принадлежала к числу тех, кто любит жаловаться. Однажды летом покойная тетя Эдна преподала ей, Дотти, отличный урок — господи, кажется, будто с тех пор сто лет прошло, хотя разговор тот и впрямь состоялся давным-давно. Так вот, тетя Эдна сказала ей тогда, что для женщины жаловаться — все равно, что заталкивать грязь Богу под ногти. И созданный тетей образ навсегда застрял у Дотти в памяти. Сама она была маленькой, аккуратненькой женщиной с хорошей кожей, унаследованной от предков со Среднего Запада. При учете всех составляющих — а учитывать приходилось очень и очень многое — она и в собственных глазах, и в глазах соседей выглядела вполне преуспевающей хозяйкой гостиницы «B&B». Во всяком случае, номер

для мистера и миссис Смол был забронирован заранее, и две недели спустя очень высокий — и очень большой! — седовласый господин, шагнув через порог ее гостиницы, заявил: «У вас должен быть забронирован номер для доктора Ричарда Смола». Очевидно, рамки этого заявления были достаточно широки, чтобы в них оказалась включена и жена доктора, вошедшая следом за ним, хотя он сам о ней упомянуть и не подумал.

Стоя у гостиничной стойки, доктор ужасающе долго каллиграфическим почерком заполнял регистрационные бланки, и раздражение сочилось у него из всех пор. Миссис Смол тем временем — это была особа очень худая и крайне нервная, во всяком случае с виду, — вежливо изучала обстановку, а потом заинтересовалась старыми театральными фотографиями, украшавшими холл, но более всего ее внимание привлекла фотография библиотеки, висевшая там же. Снимок библиотеки был сделан в далеком 1940 году — старомодное кирпичное здание, увитые плющом стены, — и Дотти сразу что-то почуяла в этой женщине, как, впрочем, и в ее муже. Естественно, много лет занимаясь гостиничным бизнесом, она обязана была научиться мгновенно давать своим постояльцам собственную характеристику. Впро-

чем, иногда она, разумеется, ошибалась, причем весьма сильно. Однако не насчет этих людей: доктор Смол немедленно пожаловался, что в их номере нет специальной подставки для чемодана, и Дотти, естественно, ни словом не обмолвилась, что именно так и случается, когда ты требуешь, чтобы жена заранее позвонила в гостиницу и заказала самый дешевый номер. Напротив, она тут же сказала, что им, возможно, больше подойдет другая комната, которая находится чуть дальше, в конце коридора. Это была «комната кролика Банни» — Дотти назвала ее так, потому что когда-то любила коллекционировать мягкие игрушки, особенно кроликов, и муж без конца дарил ей их, и друзья тоже дарили, и впоследствии Дотти собрала все подарки в одной комнате. Многие постояльцы приходили в восторг от этой коллекции. Особенно женщины. И геи. Судя по всему, при виде игрушечных зверюшек у них страшно разыгрывалось воображение, и они «заставляли» кроликов разговаривать разными голосами и всячески с ними забавлялись. Раньше у Дотти даже книга отзывов была, но потом люди начали писать в ней разные глупости — например, что в «комнате кролика Банни» водятся привидения, и прочую ерунду. Но в этой комнате помимо кол-

лекции игрушек имелись две кровати и удобный низкий комод, на который доктор Смол вполне мог пристроить свой драгоценный чемодан. В общем, там чета и устроилась, и весь вечер Дотти слышала непрерывный, доносившийся сквозь стены монолог, произносимый тонким пронзительным голосом миссис Смол и лишь пару раз прерванный весьма краткими ответами мистера Смола. Многих слов Дотти разобрать не сумела, но все же поняла, что он приехал сюда на съезд кардиологов и не стал останавливаться в большой гостинице в том городе, где проходил съезд, по той простой причине — во всяком случае, Дотти решила, что это именно так, — что стал стар и, видимо, должным уважением среди коллег уже не пользовался. Однако смириться с подобным отношением к себе ему оказалось не под силу. Ему крайне неприятно было бы смотреть, как его более молодые коллеги собираются вместе по вечерам, беседуют и смеются, вот доктор и решил остановиться здесь, у Дотти, в гостинице «B&B», где его нынешняя профессиональная незначительность была бы не так заметна. «Я прежде всего врач», — скорее всего, именно так он, как представлялось Дотти, говорил о себе за завтраком, потому что именно так говорят все

мужчины-врачи, когда им не хочется, чтобы их считали «обыкновенными» учеными или преподавателями, ибо по отношению к тем и другим — как она в итоге догадалась — практикующие врачи, по всей видимости, испытывают весьма значительное чувство превосходства. Дотти всегда было абсолютно безразлично, кто как к кому относится и кто чувствует себя выше прочих, но в гостиничном бизнесе многое замечаешь невольно. И, даже если все время старательно зажмуриваться, замечаешь все равно даже слишком много, такая уж это работа. Вот Дотти и догадалась, что пора расцвета для доктора Смола давно миновала, профессиональный интерес к нему, как и его карьера, остались в прошлом, и вынести это ему оказалось не под силу. Она была уверена, что его страшно волнует собственное неумение вести записи с помощью компьютера, ужасает нынешняя стоимость врачебной практики и очень тревожит тот факт, что он больше не зарабатывает столько, сколько зарабатывал когда-то. Но Дотти почему-то особой жалости к доктору не испытывала.

А вот его жена Дотти удивила.

Когда она видела такие пары, как мистер и миссис Смол, то порой чувствовала даже некоторое

удовлетворение собой: несмотря на весьма болезненный развод с мужем, случившийся несколько лет назад, она все же не превратилась в такую вот миссис Смол, то есть в особу нервную и плаксивую, которую супруг попросту игнорирует и тем самым, естественно, делает ее еще более нервной и плаксивой. А ведь с такой ситуацией то и дело сталкиваешься. И каждый раз, наблюдая это, Дотти вспоминала, что, как ни странно — впрочем, удивительно, что это казалось ей странным! — но без мужа она стала куда более сильной, хотя, надо признаться, она до сих пор по нему скучала.

Вышло все из-за того, что во время завтрака миссис Смол, поджидая, когда поджарится заказанный ею тост, вдруг запела. Ее муж, видимо, не считая нужным развлекать ее разговорами, просматривал какие-то бумаги, доставая их из папки и явно готовясь к предстоящему заседанию, а она перебирала пачку старых театральных программок, которые Дотти по привычке складывала в корзинку, и вдруг громко воскликнула: «О, как я люблю Гилберта и Салливана!», а потом про-

пела мелодию хора из «Крейсера „Пинафор“»[12], хотя за соседним столиком сидели двое других постояльцев гостиницы. Дотти думала, что доктор Смол остановит жену, но он не только ее не остановил, но и пропел несколько куплетов с ней вместе. У Дотти даже на душе потеплело, хотя она, конечно, встревожилась — она вечно тревожилась по любому поводу, — опасаясь, что пение несколько нарушает покой остальных постояльцев и может им не понравиться, однако люди, сидевшие за соседним столиком, ничуть, похоже, не возражали, а может, просто ничего не заметили, поскольку — это Дотти знала отлично — всех в первую очередь интересуют их собственные дела и проблемы.

Итак, была подана овсянка для доктора Смола и большой тост из пшеничной муки для его жены, одетой, как Дотти, естественно, заметила, во все черное, а через несколько минут миссис Смол сказала:

— Ричард, посмотри-ка, Энни Эплби! Здесь говорится, что восемь лет назад она играла роль

---

**[12] Примечания: 12**

Имеются в виду популярные комические оперы композитора Артура Салливана и либреттиста Уильяма Гилберта, впервые поставленные в лондонском театре «Савой» в 1875–1896 гг. Опера «Крейсер „Пинафор“» одна из наиболее известных и возобновляется время от времени.

Марты Кретчит в «Рождественской песне»[13]. Нет, ты только посмотри! — И она протянула ему программу, в которой что-то отметила ногтем на полях. Он взял программу и тут же углубился в ее изучение.

— Надеюсь, у вас все в порядке? — спросила Дотти, ставя на стол еду. Прозвучало это почти по-британски, Дотти всегда нравилось так выражаться, хотя в Англии она ни разу в жизни не была.

Миссис Смол с сияющими глазами повернулась к ней.

— Когда-то Энни Эплби входила в число наших друзей. Ну по крайней мере она была нашей доброй знакомой и часто бывала у нас в… — Она не договорила: еле заметным жестом муж заставил ее умолкнуть. Подобными жестами часто пользуются супружеские пары, долгое время прожившие вместе. Завтрак Смолы закончили в молчании.

Позже они вместе вышли из гостиницы. Собственно, они поступили точно так же, как и все прочие постояльцы, покидавшие этот гостеприимный приют, чтобы заняться делами. И каждый

**[13] Примечания: 13**

Знаменитая история Ч. Диккенса (1812–1870) из цикла «Рождественские повести» (1843–1846).

раз Дотти напоминала себе: люди приезжают сюда, чтобы с кем-то повидаться, или — как, например, Смолы, — чтобы принять участие в совещании представителей своего бизнеса, или, что бывает чаще всего, чтобы проведать детей, которые учатся в колледже. В любом случае они связаны узами с чем-то, находящимся в этом маленьком городке Дженнисберге, штат Иллинойс. Так что из гостиницы они выходят утром с вполне определенной целью. И каждый раз тяжелая дубовая дверь закрывается за ними, как бы подчеркивая необходимость и обусловленность их ухода. О том же свидетельствуют и постепенно затихающие голоса на крыльце, которые неизбежно сменяет тишина покинутого людьми помещения, где словно слышится еще некий невнятный шепот. Что ж, ничего не поделаешь, таковы составляющие любого гостиничного бизнеса.

* * *

Миссис Смол вернулась в гостиницу сразу после ланча. Она сняла намотанный на шею шарф и некоторое время бродила по холлу, разглядывая старые фотографии на стенах. Дотти тем временем возилась у себя за стойкой с разными

документами.

— Меня зовут Шелли, — любезно представилась миссис Смол. — Не помню, называла ли я вам свое имя.

Дотти сказала, что ей очень приятно, и продолжила свое занятие. Люди иной раз не знают, насколько дружелюбно или, наоборот, высокомерно им следует вести себя по отношению к персоналу таких гостиниц невысокого полета, как «B&B», и это вызывает у них смущение. Дотти прекрасно их понимала и всегда старалась делать определенную скидку. В детстве и юности Дотти была чрезвычайно бедна, а когда стала взрослой, то в течение многих лет (гораздо дольше, чем следовало бы) заходя в любой магазин — готового платья, мясной, молочный или универсальный, — испытывала абсолютную уверенность в том, что за ней внимательно наблюдают и вскоре попросят уйти. Пережитые в юности унижения оставили в ее душе такой глубокий след, что она дала себе обещание: никто из постояльцев ее гостиницы никогда не испытает ничего подобного. А Шелли Смол — хотя, судя по ее виду, она вряд ли когда-либо страдала от голода и холода, да и вообще испытывала нужду хоть в чем-то, но никогда ведь не знаешь наверняка — и впрямь

отчего-то страшно нервничала. Дотти сразу это почувствовала. Помолчав несколько минут, Шелли вновь завела разговор об этой актрисе, Энни Эплби. По-прежнему стоя у стены и изучая фотографию местного театра, она, не глядя на Дотти, промолвила: «Знаете, я часто думаю об Энни. Гораздо чаще, чем мне следовало бы, пожалуй. Да, наверное, можно сказать и так», и, вскинув на Дотти глаза, быстро ей улыбнулась. На лице ее в этот момент промелькнуло такое выражение, что у Дотти сразу что-то шевельнулось в душе, словно там плеснула хвостом маленькая рыбка и поплыла себе дальше. Это ощущение Дотти было очень хорошо знакомо, она считала его неким симптомом… ну, скажем, *почти жалости*, хотя такая вещь, как откровенная жалость, вполне способна и рассердить человека, и смутить его до потери сознания. Сама Дотти ненавидела, когда ее жалели, хотя прекрасно знала, что в прошлом это случалось не раз.

Вот почему сейчас она решила вдруг отложить все свои дела и спросила у этой Шелли Смол, не хочет ли она выпить с ней чаю. Шелли обрадовалась: «О, с удовольствием! Это было бы чудесно!», и женщины устроились прямо в холле, который служил также и гостиной. Впрочем, Шелли, сде-

лав один-единственный глоток, словно сразу о чае и позабыла. Казалось, эта чашка с чаем — для нее реквизит, как называют подобные вещи представители театрального мира, или часть определенной декорации, или просто предлог, дающий ей возможность спокойно сидеть осенним днем у Дотти в гостиной и следить за тем, как скудный дневной свет постепенно переползает с одной стены на другую. Короче, как догадалась Дотти, эта чашка как бы давала миссис Смол разрешение говорить.

Далее следует примерное изложение того, о чем в тот день говорила Шелли Смол, — Дотти, разумеется, в силу своих возможностей постаралась воспроизвести ее слова с максимальной точностью, хотя с тех пор прошло немало времени.

Много лет назад доктор Смол служил во Вьетнаме вместе с еще одним врачом, которого звали Дэвид Сьюэл. Нет-нет, сразу предупредила Шелли, никакой опасности они там не подвергались, и, если честно, служба там оказалась довольно скучна. Оба они работали в госпитале в безопасном районе, да и война близилась к концу. Кроме того, они имели полное право при первой же опасности покинуть страну. Нет, они, разумеется, не спускались с вертолета по веревочной

лестнице, когда был взят Сайгон, ничего подобного с ними ни разу не случалось. Впрочем, и в госпитале им довелось столкнуться с крайне немногочисленными случаями, которые можно было бы назвать «действительно ужасными». Шелли явно не хотелось, чтобы у Дотти сложилось впечатление, будто ее муж и его друг были травмированы этой войной, хотя со многими такое случалось… Ну, вы же понимаете, Дотти, что я имею в виду прежде всего тех, кто служил в армии… Вы ведь это понимаете, не так ли? Вот и хорошо. И Шелли удовлетворенно похлопала себя по бедрам, туго обтянутым черными слаксами. Итак, вернувшись на родину, Ричард сел в поезд, идущий в Бостон, и там познакомился с Шелли, а через год они поженились. Дэвид по-прежнему был их лучшим другом. Впоследствии он переквалифицировался в психиатры и женился на очень хорошенькой женщине по имени Иза. У них родилось трое сыновей. Смолы и Сьюэлы продолжали дружить семьями — они жили в одном городе неподалеку от Бостона, вместе принимали участие в сборе средств на местный оркестр. В общем, как вы понимаете, у всех супругов со временем появляются общие друзья, и Сьюэлы, безусловно, стали таковыми.

Правда, жена Дэвида, Иза, всегда была немножко странной, загадочной, не от мира сего и, пожалуй, чересчур сдержанной. Но тем не менее очень милой. А Дэвид слишком много пил, и всем об этом было известно, но он как-то ухитрялся не появляться на работе, если от него хотя бы пахло спиртным. Ведь, как известно, врач и министр — две профессии, где абсолютно недопустим даже запах спиртного. Их сыновья… впрочем, это совершенно не важно, сыновья как сыновья, двое вполне удачные, а третий не очень. Изе всегда было свойственно состояние тревоги, а Дэвид частенько бывал излишне строг и требователен, и кончилось тем, что после тридцати лет брака Дэвид и Иза развелись. Все были буквально потрясены этим разводом. Насчет других пар можно было с самого начала держать пари, что они в скором времени разведутся, но в данном случае никому и в голову не пришло бы рисковать своими деньгами и утверждать, что развод не минует и Сьюэлов. И вот вам, пожалуйста! Шелли Смол только руками развела, повернув их ладонями вверх и демонстрируя тонкие запястья. А потом, посерьезнев, пожала плечами и сказала: «Знаете, ведь и мы с Ричардом столкнулись с подобными трудностями. Я в течение нескольких лет даже

хранила в письменном столе визитную карточку юриста, специализирующегося на разводах, и не выбрасывала ее вплоть до того дня, когда мы наконец завершили обновление нашего коттеджа на берегу озера. Нам хотелось, чтобы этот дом стал для нас последним приютом, когда Ричарду придется выйти на пенсию». Дотти понимающе кивнула.

Собственно, инициатором развода Сьюэлов была Иза. Она нашла другого мужчину, когда ходила на занятия живописью — по иронии судьбы Дэвид прямо-таки заставил ее на эти занятия записаться, потому что ему казалось, что у жены развивается депрессия. А после развода Дэвид долгое время не мог прийти в себя, он буквально погибал. Иногда он сидел у Смолов и плакал, а Шелли приходилось на все это смотреть, что, честно говоря, было нелегко. Возможно, она, Шелли, чересчур старомодна, но ей всегда было неприятно смотреть на плачущих мужчин. Ричард держался молодцом, хотя его, разумеется, это тоже и раздражало, и утомляло. Но в целом он воспринимал излияния Дэвида спокойно, как и подобает настоящему другу.

А года через два — о, за это время Дэвид успел привести к ним немало самых разных женщин,

но она, Шелли, не намерена сейчас углубляться в детали, потому что дело отнюдь не в этих многочисленных женщинах — появилась Энни. Энни Эплби. Она-то и была главной в этой истории. Шелли выпрямилась, потом слегка наклонилась к Дотти и сказала: «Энни действительно была особенной».

И Дотти ничего не оставалось, как выслушать характеристику Энни.

«Главное в ней, — вещала Шелли, — это, во-первых, ее рост. Поймите, она ведь действительно очень высокая. Около шести футов! И очень худая, что еще больше прибавляет ей роста. И у нее длинные темные волнистые волосы, почти курчавые — я, честно говоря, думаю, что в ней смешалось несколько разных кровей и у нее есть предки не только среди североамериканских индейцев. Она ведь родом из штата Мэн. Но лицо у нее было прелестное, просто прелестное — тонкие черты, голубые глаза и… как бы получше выразиться? В общем, даже просто смотреть на нее было приятно и радостно. Она любила всё и всех. И когда Дэвид впервые привел ее к нам…»

Дотти спросила, как они познакомились.

У Шелли на щеках вспыхнул румянец. «Ох, Ричард убьет меня за то, что я вам все рассказала,

но Энни была пациенткой Дэвида. Он запросто мог тогда потерять лицензию, но он поступил достаточно умно, заявив, что больше не может быть ее лечащим врачом… Понимаете, такое иногда случается между врачом и пациенткой, вот и с ними случилось, а он еще и к нам ее привел… хотя все это надо было хранить в строгой тайне… В общем, они придумали целую историю о том, как им случайно удалось познакомиться: якобы мать Энни знала Дэвида еще по колледжу, хотя уж это, ей-богу, полнейшая чушь. Ее родители были фермерами в штате Мэн, картошку выращивали. Но Энни с шестнадцати лет чувствовала себя актрисой, а однажды взяла да и уехала из дома. Родителям, похоже, до намерений дочери никакого дела не было. Энни была на двадцать семь лет моложе Дэвида, но для них это абсолютно никакого значения не имело. Они были действительно очень счастливы. Даже находиться с ними рядом было необычайно приятно».

Шелли помолчала, покусала губу. Ее волосы — в данный момент она была светлой блондинкой с этаким странным земляничным оттенком, хотя раньше явно была рыжей — начинали редеть, что часто случается с пожилыми женщинами, поэтому она сделала себе «соответствующую воз-

расту» стрижку (именно это выражение пришло Дотти на ум): короткий «боб», спереди чуть выше линии подбородка. В целом, пожалуй, в облике Шелли теперь не осталось ровным счетом ничего привлекательного и уж тем более вызывающего. Дотти показалось, что ничего такого в ее облике и не было никогда.

«А знаете, — сказала вдруг Шелли, — Ричард ведь вовсе не был уверен, что ему так уж хочется переезжать на озеро».

Дотти удивленно подняла брови. Она всегда считала жителей восточного побережья достаточно разговорчивыми, и их вовсе не нужно дополнительно поощрять и подталкивать — в отличие, кстати, от жителей Среднего Запада, из которых обычно и лишнего слова не вытянешь. Несдержанность здесь была не в цене.

«Но это уже совсем другая история, — заметив ее удивление, прибавила Шелли. — По крайней мере отчасти».

По непонятной причине — она, во всяком случае, так и не поняла, почему это произошло, может, просто на лиственничный пол так легли косые солнечные лучи — Дотти вдруг вспомнилось лето, когда ее, еще совсем маленькую, на несколько недель отправили в город Ханнибал,

штат Миссури, к престарелой родственнице, совершенно ей не знакомой. Дотти ехала туда одна — ее обожаемый старший брат Абель сумел получить в местном театре работу в качестве билетера и остался дома, — и эта самостоятельная поездка очень ее страшила. Но она, как и все дети, привыкшие к лишениям, мало что понимала и предпочитала делать то, что ей велят. Почему ее не смогла взять к себе славная тетя Эдна, как это часто бывало раньше, Дотти и по сей день не знала. Из той поездки в Ханнибал она привезла с собой одно-единственное воспоминание: о статье из «Ридерз Дайджест», стопки которого лежали вместе со стопками других столь же бессмысленных журналов на пыльном подоконнике в доме ее родственницы. В этой статье рассказывалась история женщины, муж которой служил в армии и был послан в Корею. А его жена — та самая женщина, что и написала эту статью — по-прежнему жила с детьми в Соединенных Штатах, растила малышей и с нетерпением ждала писем от мужа. Он наконец вернулся домой, и целый год все были очень счастливы, но однажды, когда супруг этой женщины был на работе, а дети — в школе, в дверь их дома кто-то постучался. На пороге стояла маленькая кореянка с ребенком на руках. Дотти,

читая статью, находилась в столь нежном возрасте, когда от сильных переживаний ее наивное сердечко готово было выпрыгнуть из груди, хотя она уже успела кое-что узнать о жизни, а, точнее, успела *впитать* кое-какие сведения, ибо люди сперва все впитывают, а уж потом чему-то учатся, если, конечно, вообще способны чему-то учиться. Так вот, Дотти была в том самом возрасте, когда у нее от волнения комок стоял в горле, стоило ей представить себе, как та женщина открыла дверь и обнаружила на пороге кореянку. Муж сразу во всем признался. Он искренне сожалел, что доставил жене столько горьких переживаний. Однако было решено, что он со своей верной женой разведется, женится на той кореянке, и они будут вместе воспитывать рожденного ею младенца; а верная жена, хоть сердце ее и было разбито, стала им всячески помогать. Она разрешала своим детям ходить в гости к отцу и его новой жене, давала этой молодой женщине множество различных советов, помогла ей поступить на курсы английского языка, а когда ее муж внезапно умер, то первая жена взяла к себе в дом и молодую кореянку, и ее ребенка, помогла им встать на ноги и обзавестись собственным жильем, а потом они от нее съехали и как-то

устроили свою жизнь. Но даже и тогда — в то время она уже написала эту статью — женщина продолжала им помогать: помогла, например, ребенку кореянки поступить в колледж и благополучно его окончить. В общем, это была самая обыкновенная рождественская история, однако на Дотти она произвела необычайно сильное впечатление. Девочка молча обливалась слезами, орошая ими страницы журнала. Эта благородная женщина, преданная мужем и обладавшая таким большим сердцем, стала для Дотти настоящей героиней. Эта женщина была способна простить всех на свете.

Когда же и у самой Дотти беда неожиданно постучалась в дверь, ей, естественно, сразу вспомнилась та история. Вот тогда она впервые по-настоящему поняла, что на самом деле каждый вынужден сам решать, как ему жить дальше.

* * *

Шелли Смол с несчастным видом сидела в кресле и смотрела в пол, так что Дотти решилась спросить:

— А где находится ваш дом, Шелли?

— В штате Нью-Гэмпшир, на одном из озер. —

Шелли заметно оживилась и села прямее. — Мы много лет назад его купили. Тогда это был небольшой, но совершенно очаровательный коттедж, и мы обычно ездили туда на выходные. Я обожала это чудесное место. Особенно я любила смотреть, как меняется цвет воды в зависимости от цвета неба. А в апреле там расцветали лавровые деревья, и как же это было прекрасно! Мне так хотелось поселиться там насовсем, когда мой муж выйдет на пенсию…

— А почему бы и нет? — сказала Дотти.

— Я вам расскажу почему. Ричард был против. Его моя идея совсем не привлекала. Ну а потом, со временем… — Шелли, не вставая с кресла, наклонилась вперед, чтобы быть ближе к Дотти, — со временем, видите ли… Ну да ладно. Я скажу лишь, что быть женой врача — это отнюдь не сахар. Честно говоря, все врачи считают себя страшно важными. Ну, а я сидела дома, занималась воспитанием детей, и он постоянно твердил мне, что я это делаю неправильно, но вот вопрос: где, например, он был, когда нам позвонили из школы и сказали, что нашу Шарлотту поймали за отвратительным занятием: она мазала стены в туалете для девочек… ну, тем самым? Разумеется, он сразу же самоустранился. — Шелли вдруг рассмеялась:

— В общем, впервые за все время нашего брака я топнула ногой и заявила: «Если ты не желаешь вместе со мной заняться переустройством этой хижины и превращением ее в нормальный дом, где можно было бы отлично жить после твоего выхода на пенсию, значит, ты не тот человек, за которого я тебя принимала, и не тот, кто мне нужен!» А впрочем, — и Шелли отмахнулась тощей ручонкой, — все это дела минувших дней. Короче говоря, я самостоятельно составила чудесный план дома и учла все, что требовалось в рамках зональных законов, — главным было оставить *исходные размеры фундамента*. Я сама привозила архитекторов из Бостона, и в целом на ремонт у меня ушло почти два года, зато теперь у нас есть прекрасный дом! А площадь его мы сумели увеличить за счет этажности — там целых четыре этажа, знаете ли! — да еще и из-под дома какое-то количество земли вынули, и получилось, что в нем даже не четыре, а *четыре с половиной* этажа, и выглядит он потрясающе. И по выходным мы теперь можем принимать сколько угодно друзей. А вскоре мы туда переселимся, как только на пенсию выйдем. Да, вскоре. Ричард очень устал от сложившейся ситуации. К тому же теперь за счет медицины толком не проживешь.

— Давайте вернемся к этой вашей девушке, к Энни, — сказала Дотти.

Выражение лица у Шелли мгновенно стало иным.

— Ну, ее вряд ли можно было назвать девушкой, хотя выглядела она молодо. Да, она действительно выглядела как юная девушка. — И Шелли, помолчав, неторопливо продолжила рассказ об Энни Эплби. Уже темнело, когда в холл гостиницы вошел мистер Смол, и Дотти сразу заметила, как неприятно он был поражен тем, что его жена столь непринужденно болтает с хозяйкой гостиницы «B&B», а перед ними на столике чашки с нетронутым остывшим чаем. Он что-то быстро сказал Шелли и сразу прошел к себе в номер. Шелли, украдкой улыбнувшись Дотти, мгновенно собрала вещички и последовала за ним.

* * *

Энни Эплби в значительной степени соответствовала тому описанию, которое дала ей Шелли: Дотти отыскала в Интернете интервью с ней, несколько посвященных ей статей и отзывы в блогах, а также, разумеется, фотографии. Эта девушка, безусловно, обладала исключительной внешностью. У нее не было того открытого

сияющего выражения лица, которое часто свойственно актрисам, словно они хотят, чтобы это активно излучаемое ими сияние непременно добралось до сердца каждого — пусть даже и с фотографии. В этом смысле актеры очень похожи на детей, думала Дотти. Во всяком случае, те актеры, которых она видела на экране телевизора или в сети, когда они давали на редкость глупые ответы на еще более глупые вопросы интервьюеров. Но на тех актеров Энни была совсем не похожа. На нее, казалось, можно было бы смотреть вечно, но так и не узнать того, что тебе очень хочется в ней понять, поскольку она не собирается тебе это позволить. Дотти находила подобное свойство натуры весьма привлекательным. Она чувствовала, как, должно быть, мучаются психотерапевты с такими пациентами, как Энни, — когда, скажем, каждую неделю пациент просто молча смотрит на врача, сидя в противоположном углу, или лежа на кушетке, или делая еще что-то, что там обычно полагается делать тем, кто посещает психотерапевтов. Актрисой, впрочем, Энни перестала быть уже давно. И Дотти не сумела найти никаких сведений о том, чем она занимается в настоящее время.

* * *

Шелли рассказывала, что они с Энни много гуляли по берегу озера — особенно в тот день, когда Энни и Дэвид в последний раз приехали к ним в гости. Тогда они, собственно, впервые и увидели их новый дом. В нем для гостей предназначалась отдельная квартирка внизу, и Энни с Дэвидом сразу отнесли туда свои вещи, а потом Энни сказала: «Какая красота, Шелли! Ты проделала поистине удивительную работу!» И после этих восторженных отзывов они и отправились на прогулку по берегу озера. Мужчины шли впереди, а женщины сзади, и Шелли рассказывала Энни «всякую всячину». Дотти, естественно, поинтересовалась, какую именно «всякую всячину», и Шелли, естественно, принялась подробно все это излагать, хотя о подробностях ее никто и не спрашивал.

«Ну, я, например, — призналась Энни, — постарев, чувствую, как моя жизнь становится совершенно иной».

— Понимаете, — сказала Шелли, поправляя пояс брюк, — Энни обладала дивным свойством: казалось, ей можно рассказать все на свете, поведать о себе самое сокровенное, вот я и рассказала

ей — в тот последний день, в тот самый последний раз, когда они приезжали к нам на озеро, — об одном случае, который произошел со мной много лет назад. Я тогда была совсем молоденькой, и ко мне в перерыве между отделениями концерта подошел мужчина и сказал: «Ах, какая же вы хорошенькая!» Вот об этом я и рассказала Энни и прибавила: «Теперь, увы, больше никто и никогда таких слов мне не скажет!»

Дотти минутку помолчала, как бы давая столь важному сообщению глубже проникнуть ей в душу, а потом спросила:

— И что же вам ответила Энни?

Шелли качнула головой:

— Я толком и не помню… У нее особый дар был: она всегда очень мало говорила, но очень внимательно слушала. Расскажешь ей что-нибудь, и сразу кажется, будто теперь все у тебя будет хорошо.

А Дотти подумала: ведь Шелли тогда поставила Энни в весьма затруднительное положение, пожаловавшись, что больше никто не скажет ей, какая она хорошенькая. Сама Дотти, правда, так и не сумела обнаружить у Шелли Смол ни малейших остатков былой красоты. Возможно, в те времена какие-то остатки еще сохранялись, но

теперь ничего заметить было невозможно.

— Я еще много чего ей рассказала, — продолжала между тем Шелли. — Например, как сильно меня беспокоит супружеская жизнь моих детей. Моя младшая дочь… она, в общем… в общем, вес у нее немного избыточный, и я долгое время никак не могла понять, отчего она поправляется, правда, не могла. И лишь случайно, когда они как-то приехали к нам на озеро на все выходные, я заметила, что зять *побуждает* мою дочь есть как можно больше. Я поведала об этом Энни и спросила, почему, как ей кажется, он так поступает? Но она ответила, что не знает. Потом я рассказала, как отчаянно моя вторая дочь мечтает сменить работу… Ну, в общем, я разные личные вещи ей рассказывала.

— Да, я понимаю, — кивнула Дотти.

— Но дело в том, что… — Шелли плотно сдвинула ноги и наклонилась вперед, сцепив руки на тощих коленях. — После того как Энни и Дэвид разошлись, я позвонила Энни и сказала, что она и одна может приезжать к нам на озеро в любое время, мы будем счастливы ее принять. Я оставила ей сообщение на автоответчике, но она мне так и не перезвонила. И когда Дэвид снова явился к нам в уже знакомом нам слезливом состоянии

— он все глаза себе выплакал, как и после развода с Изой, — я сказала ему, что Энни мне почему-то так и не перезвонила, а он и говорит: «Но это же естественно, Шелли! Станет она тебе перезванивать! Она всегда считала тебя особой довольно жалкой и совершенно неадекватной. Да что там, она полной дурой тебя считала!»

Шелли, конечно, стала возражать, сказала, что этого не может быть, и даже Ричард вмешался: «Ты все-таки полегче, Дэвид». «Но она именно так и говорила!» — стоял на своем Дэвид, и Шелли — о, она, разумеется, была потрясена до глубины души — не выдержала: «Ах, Дэвид, нам ваши отношения с самого начала, собственно, казались несколько нереальными. Уже и одной разницы в возрасте, пожалуй, хватило бы…» А Ричард, глядя вдаль, на озеро, еще подлил масла в огонь: «Вот именно — разница в возрасте… А знаешь, Дэвид, что я понял насчет разницы в возрасте? Согласно общему мнению, девушкам нравятся мужчины постарше, потому что им не хватает отцовской любви. Это, можно сказать, классическая теория. Но на самом деле девушки предпочитают немолодых мужчин потому, что обретают возможность управлять ими, а в случае чего и обвести вокруг пальца. И мужик в таких союзах — именно де-

вушка, это я тебе точно говорю. Ну, а Энни твоя была самой обыкновенной шлюхой».

По мнению Шелли, это прозвучало слишком резко, ей как-то сразу стало не по себе, и она, извинившись перед мужчинами, сказала, что ей пора заняться обедом, и собралась уходить, но потом, поколебавшись, все же сказала: «Дэвид, я отнесла твои вещи вниз, в гостевую комнату, хотя тебе, возможно, неприятно будет там оставаться, потому что… ну, ты понимаешь… ведь именно там…»

«Ведь „именно там“ ничего такого не было! — резко прервал ее Дэвид. — „Именно там“ Энни с отвращением от меня отпрянула и заявила, что ненавидит этот ваш огромный новый дом. А потом еще прибавила: „Этот дом для Шелли — все равно что мужик с пенисом. Он ее ублажает“. Да, именно так она и сказала».

На этом месте Шелли прервала свое повествование; в глазах у нее стояли слезы.

А Дотти вдруг страшно захотелось громко рассмеяться. Она едва сдержалась. История, рассказанная Шелли, показалась ей очень смешной, одной из самых смешных среди тех, какие ей довелось услышать за многие годы. Однако, мельком глянув на Шелли, она поняла, что та в ярости — видимо, она все же почувствовала, что Дотти

разбирает смех, хотя самой Дотти всегда казалось, что чисто внешне она всегда исключительно спокойна, сдержанна и даже, пожалуй, безмятежна. Ну что тут поделаешь, подумала Дотти, раз она сумела догадаться, что мне смешно, то и должна была прийти в ярость. В конце концов, смысл рассказанной Шелли истории в том, что Энни ее унизила, а смеяться над тем, кого унизили, — последнее дело. Это Дотти понимала отлично.

И все же…

Дотти машинально поправила на подлокотнике кресла сбившуюся салфетку, связанную крючком. В душе у нее боролись весьма противоречивые чувства: с одной стороны, она Шелли сочувствовала, а с другой — хотя бы по тому, как изменилось освещение в комнате, — ей было ясно, что Шелли проговорила не менее двух часов. И все о себе. Нет, она, разумеется, рассказывала еще и об Энни с Дэвидом, и о своих дочерях, но на самом деле речь все время шла о ней самой. Если бы Дотти вздумала столько времени вываливать кому-то подробности своей личной жизни, у нее в итоге, пожалуй, возникло бы ощущение, что она нечаянно обмочилась. Да, дело было исключительно в различии культур. Это Дотти хорошо понимала, помня о том, как много лет ей потре-

бовалось, чтобы в данной проблеме разобраться и в итоге прийти к выводу, что эта проблема у них в стране как бы несколько размыта, а многие и вовсе о ней позабыли. А ведь понятие «культура» прежде всего включает в себя понятие определенной классовой принадлежности, о чем, разумеется, никто у них в стране никогда даже не упоминает, потому что это считается некорректным. Но Дотти казалось, что люди избегают упоминать о классовой принадлежности, поскольку просто не понимают по-настоящему, что же это значит. Интересно, как бы теперь люди относились к ней, Дотти, и к ее брату Абелю, если б узнали, что они в детстве частенько искали еду в помойных баках? А ведь Абель уже давно живет в огромном дорогом особняке в пригороде Чикаго и возглавляет фирму по производству кондиционеров. Да и Дотти всегда выглядит ухоженной и опрятной, всегда осведомлена насчет того, что происходит в мире, а ее гостиница «B&B» процветает. Так что бы все-таки сказали люди, узнав, как Дотти и Абель в детстве добывали себе пропитание? Может, сказали бы, что эти брат и сестра являют собой истинное воплощение американской мечты? А значит, и многим из тех, кто по-прежнему ищет еду в помойных баках,

светит тот же прекрасный путь? И ведь наверняка втайне многие именно так и подумали бы. В частности, и эта начинающая лысеть Шелли Смол со своим мужем-великаном могли бы испытывать аналогичные чувства.

Шелли Смол была воспитана так, чтобы всегда говорить о себе любимой как о самом интересном явлении в мире. Слушая ее, Дотти почти восхищалась этой ее способностью. Ведь даже если Шелли и сумела уловить — а скорее всего она его действительно уловила — желание Дотти расхохотаться, то это ее отнюдь не остановило. Женщина продолжала говорить! И теперь рассказывала о жителях того городка, в котором находится их «дом на озере», и о том, какими эти люди были любезными и гостеприимными, пока Смолы дом не перестроили. А теперь ближайшие соседи проезжают мимо не здороваясь. Даже рукой не махнут в знак приветствия. Один, правда, как-то остановился, опустил окошко с водительской стороны и, не вылезая из машины, принялся обвинять Шелли в том, что она своим «сооружением» всем жителям испортила вид на озеро. «Ей-богу, и как только у него язык повернулся сказать подобную глупость! — возмущалась Шелли. — Вы только представьте себе! Ведь мы даже

прежние размеры фундамента сохранили!»

И тут Дотти не выдержала: встала, подошла к своей конторке и склонилась над бумагами, притворяясь, будто они срочно требуют ее внимания, — только бы Шелли не увидела ее лицо и ничего не сумела по нему прочитать.

— Извините, Шелли, — сказала она, — но если я немедленно не найду один очень важный счет и не выложу его на самый верх вот этой стопки скопившихся документов, он так и не будет оплачен. — Дотти пошуршала счетами, помолчала, а потом сказала, не поднимая головы: — А все же мне не верится, что Энни действительно могла отзываться о вас подобным образом. Судя по вашим рассказам, ее никоим образом нельзя отнести к числу тех людей, которые способны сказать такое. Она совсем на них не похожа.

— Да нет, уверяю вас, она сказала именно так! — горестно воскликнула Шелли.

— Сказала, что ваш дом ублажает вас… как мужик с пенисом? — Дотти нечасто доводилось произносить слово «пенис», и ей это даже понравилось. Выйдя из-за конторки, она снова подошла к Шелли и села рядом. — Неужели для вас это действительно звучит вполне правдоподобно? Неужели ваша Энни могла сказать: «Дэвид, для

Шелли ее новый дом — все равно что мужик с пенисом»?

Щеки Шелли Смол окрасились ярким румянцем, и она пробормотала:

— Ну, я не знаю…

— Вот именно, вы не знаете, — спокойно подтвердила Дотти. — И мне кажется — а если вы *хорошенько* подумаете, то так покажется и вам, — что подобное высказывание насчет дома, якобы способного кому-то заменить «мужика с пенисом», весьма свойственно психиатрам. Подумайте об этом хорошенько, миссис Смол. Кто из людей *способен* мыслить в подобных терминах? Конечно, все мы, в том числе и я, и мои друзья, можем порой сказать о ком-то самые разные вещи, но столь странным образом мы все же не изъясняемся и не пытаемся окольным путем объяснить, что чей-то дом — это его пенис. Вот взгляните на этот дом. Это мой дом. Вот вы бы сказали мистеру Смолу… вы бы сказали *доктору* Смолу, беседуя с ним перед сном, что этот дом, эта гостиница «B&B» — «пенис» для ее хозяйки?

Как раз в эту минуту дверь отворилась, вошел доктор Смол, а вместе с ним в холл гостиницы ворвались и все осенние ветра Иллинойса.

— Как вы тут, дамы? — спросил он, расстегивая

пальто, и тут же неприязненным тоном, точно окликая собаку, бросил: — Шелли! — словно его бедной жене ни в коем случае не полагалось сидеть и болтать с хозяйкой какой-то жалкой гостиницы. И Шелли тут же послушно побежала за ним следом.

* * *

Пока к Дотти в гостиницу не пожаловали эти Смолы, она, пожалуй, толком и не понимала, что именно благодаря своему бизнесу регулярно оказывается в таких ситуациях, которые вынуждают ее чувствовать себя либо тесно связанной с тем или иным человеком, либо попросту используемой в чьих-то чужих целях. Однажды, например, у нее остановился человек, который стал ей очень-очень дорог. Он зашел в гостиницу поздним вечером, примерно ко времени ужина — он был, пожалуй, почти ровесником Дотти, но все же не совсем, — взял ключ, поднялся в отведенный ему номер, но потом, видно, решил, что лучше посмотрит телевизор, и снова спустился в гостиную. И они тогда долго сидели вместе и смотрели какую-то английскую комедию — английские комедии Дотти всегда находила очень смешными, но в тот вечер старалась смеяться не

слишком громко, потому что ее новый постоялец вообще не смеялся, — и лишь через некоторое время до нее дошло, что у него, видно, случилась какая-то беда и он сильно расстроен. А потом он и вовсе стал издавать какие-то на редкость странные звуки — Дотти никогда ничего подобного не слышала. Было в них даже, пожалуй, что-то сексуальное, но более всего они походили на стоны, вызванные ужасной болью. Невыносимой и невыразимой болью, как она часто думала впоследствии. Если она тихонько задавала ему какой-нибудь вопрос, он старался отвечать, но не словами, а с помощью жестов и знаков, и ей казалось удивительным, как много они оказались способны понять друг о друге, общаясь столь странным образом. Во-первых, она, естественно, спросила, не нужно ли позвать врача, но мужчина только головой помотал и так безнадежно махнул рукой, словно хотел сказать: никакой врач тут не поможет. А потом вдруг по его лицу, изборожденному морщинами, ручьем потекли слезы. И впоследствии, вспоминая о нем, Дотти всегда думала: благослови, Господи, его бедную душу. Ну, не надо врача и ладно, сказала она и села на диван с ним рядом, а он посмотрел на нее таким ищущим, таким глубоким взглядом, каким

на нее никогда не смотрел ни один мужчина, да и сама она, пожалуй, никогда таким проникновенным взглядом ни на одного мужчину не смотрела. А он, похоже, совсем дара речи лишился, хотя до этого выяснял у нее насчет номера, а потом еще попросил разрешения телевизор посмотреть, значит, разговаривать он наверняка умел. Впрочем, Дотти вела себя спокойно и старалась говорить такими предложениями, на которые можно было ответить и без слов — скажем, утвердительно кивнуть или, наоборот, помотать головой. Она, например, сказала: «Знаете, я пока тут рядышком посижу, хочу убедиться, что с вами все в порядке», и он просто кивнул и так посмотрел на нее несчастными, страшно усталыми глазами, словно надеялся найти в ее взгляде ответ. Тогда она осмелилась заметить: «С вами, похоже, беда приключилась, но, думаю, вскоре все наладится». И, помолчав, прибавила еще: «И знайте на всякий случай: меня ваше поведение ничуть не пугает». После этих слов у незнакомца снова ручьем полились слезы, и он в знак благодарности так стиснул ей руку, что чуть не сломал, а потом поднес ее руку к губам. Дотти сочла этот жест извинением и поспешно сказала: «Ничего, не беспокойтесь, я понимаю,

что вы вовсе не хотели сделать мне больно», а он лишь печально покивал в знак согласия. Теперь Дотти трудно было припомнить все подробности того вечера, но у нее осталось четкое ощущение, что они тогда сумели неплохо понять друг друга, да и общались вполне нормально — при учете всего прочего, разумеется, хотя учитывать и впрямь пришлось много чего! Она, например, сумела, осторожно задавая ему вопросы, выяснить, что если он в полночь примет таблетку, то почти наверняка спокойно проспит часов до пяти. «Ну, вот и ладненько, — обронила Дотти. — Вы ведь не станете злоупотреблять этими таблетками, верно?» Он кивнул. В общем, примерно так они и общались в течение всего этого поистине замечательного вечера, и за несколько часов постоялец, как ни странно это было при его «немоте», сумел раскрыть перед ней всю душу. А в полночь она принесла ему воды, чтобы запить таблетку, проводила в номер и на всякий случай объяснила, где находится ее комната, если вдруг ему что-то понадобится. Но потом предупредила, назидательно подняв указательный палец: «Вы, я надеюсь, понимаете, что это отнюдь не приглашение? Впрочем, во всем лучше полная ясность». И после этих ее слов мужчина сразу по-

веселел, даже почти заулыбался, и на лице у него было написано огромное облегчение. Во всяком случае, так показалось Дотти. А еще ей показалось, что *внутренне* он хохочет над ее строгим предупреждением. Этот высокий и очень привлекательный, как оказалось, постоялец уехал в семь утра. Лицо его словно ожило, промытое недолгим сном. А Дотти он сказал на прощание немного смущенно и очень искренне: «Я очень вам благодарен». Она даже спрашивать не стала, не хочет ли он позавтракать, прекрасно понимая, как неловко он будет себя чувствовать, когда яичницу и тосты ему станет подавать женщина, еще вчера вечером ставшая свидетельницей такого, чего ни ей, ни кому бы то ни было еще видеть не полагалось.

И вот постоялец от нее уехал. Они всегда от нее уезжали.

Она сохранила его регистрационный листок — так ребенок хранит обрывок билета как напоминание об особенном дне своей жизни. Честной и чистой, словно ручей весной, была эта история с незнакомцем. Дотти никогда не искала его в Интернете, у нее даже соблазна такого ни разу не возникло. Его звали Чарли Маколей. Человек, который пришел к ней с невыносимой, невыра-

зимой болью.

* * *

А на следующее утро за завтраком Шелли вела себя так, словно с Дотти вообще не знакома. Даже «спасибо» не сказала, когда та принесла ей великолепный тост из чистой пшеничной муки. Дотти была не просто удивлена этим. У нее слезы на глазах выступили, так больно ее ужалило столь внезапное пренебрежение со стороны Шелли. А потом она все поняла. Точнее, Шелли заставила ее вспомнить одну старую африканскую поговорку: «Человек сначала наестся досыта, а потом начинает стесняться». Господи, до чего же Шелли была похожа на человека из поговорки: она сперва удовлетворила свою потребность излить душу, а теперь ей стало неловко. Она ведь явно рассказала Дотти куда больше, чем следовало бы и чем хотелось бы ей самой, и теперь, как ни странно, винила в этом именно Дотти. А хозяйка гостиницы металась между кухней и столовой, думая о том, что Шелли Смол сейчас представляется ей женщиной, страдающей всего лишь самым обычным и весьма распространенным недугом: разочарованием, вызванным тем, что жизнь оказалась совсем не такой, какой она ее когда-то

представляла. Стараясь преодолеть разочарование жизнью, Шелли полностью сосредоточилась на строительстве дома, однако и дом этот — несмотря на разумно подобранных и весьма умелых архитекторов, ухитрившихся не только выстроить нечто новое на старом фундаменте, но и полностью остаться в рамках, разрешенных законом — все-таки неизбежно превратился в монстра столь же чудовищных размеров, сколь велики были потребности Шелли. Она даже не прослезилась, рассказывая Дотти о чрезмерной, явно болезненной, полноте дочери. Зато, стоило ей упомянуть о предполагаемом покушении на ее тщеславие, слезы полились ручьем. Видимо, ей было мало того, что в своей «войне за дом» она одержала победу над мужем. Впрочем, Дотти не стала говорить ей — это было бы совершенно неуместно, да и кто она такая, чтобы говорить подобные вещи, — что если ее муж способен запеть за столом во время завтрака, когда рядом хозяйка гостиницы, а за соседним столиком сидят незнакомые люди, то это, простите, отнюдь не мелочь.

Слушать чью-то исповедь — вовсе не пассивное времяпрепровождение. Настоящий слушатель всегда активен, а Дотти слушала по-настоящему. И считала, что проблемы Шелли и испытанные

ею унижения не так уж велики, если сравнить их с тем, что творится в мире. Если вспомнить, что во многих странах люди умирают от голода, или их вышвыривают с работы без объяснения причин, или их преследует собственное правительство. В сравнении с этими несчастьями история Шелли Смол может показаться сущим пустяком. И все же Дотти испытывала к ней пусть незначительное, вровень с ее фамилией Смол, но сочувствие. И прекрасно понимала, почему Шелли теперь неловко даже в глаза ей посмотреть. Впрочем, на подобные вещи Дотти старалась не обращать особого внимания, да и с какой, собственно, стати ей обращать на это внимание!

Когда же Шелли, чуть повернувшись к ней, через плечо поинтересовалась, нельзя ли принести еще немного джема, Дотти сказала, что, разумеется, можно, и вышла на кухню. И пусть это считается одним из самых старых и банальных способов мести, но она, положив в вазочку джем, смачно туда плюнула, затем перемешала и еще раз плюнула, собрав всю слюну, какую только смогла. И чуть позже с нескрываемым удовлетворением отметила, что к тому времени, как Смолы встали из-за стола, вазочка с джемом опустела. Наверняка еще с начала времен люди плевали в

пищу тем, кому служат, и Дотти по собственному опыту знала, что это приносит весьма кратковременное облегчение. Хотя, с другой стороны, любое облегчение длится недолго: так устроена наша жизнь.

Шелли в гостинице не было целый день. Супруги Смол вернулись к себе в номер лишь поздно вечером. А ночью Дотти услышала — и это очень ее удивило — взрывы с трудом сдерживаемого смеха, доносившиеся из «комнаты кролика Банни». Она даже встала с постели и прямо в тапочках вышла в коридор. И, стоя там, услышала, как Шелли Смол ее, Дотти, высмеивает, причем в таких недопустимых выражениях, что Дотти пришла в ярость. Основной темой этих ядовитых шуток служили те части тела Дотти, которые, по мнению Шелли, давно «заржавели», потому что «ими никто не пользуется», и доктор Смол, что было отнюдь не удивительно, тоже весьма активно участвовал в этом мерзком злословии, и оба они страшно веселились, словно Дотти была клоуном и бегала по арене, то и дело спотыкаясь носками своих чересчур больших ботинок, — во всяком случае, шутки их носили примерно такой характер. А затем, как и предполагала Дотти, началось *то самое*, и послышались звуки, какие

люди обычно издают, «когда любят друг друга», как деликатно формулировала это воспитанная тетя Эдна. Вот только никакой «любви» в тех звуках, что долетали до Дотти, не чувствовалось. Это было противное сопение и хрюканье, издаваемое мужчиной, и она невольно подумала, что, пожалуй, не зря некоторые женщины считают мужчин свиньями. Сама Дотти никогда мужчин свиньями не считала, но сейчас звуки раздавались и впрямь свинские. То, что она слышала, было одновременно и отвратительно, и интригующе, но в целом на редкость противно. Стоя в коридоре, она еще некоторое время продолжала подслушивать, но так и не уловила ни одного из тех сладострастных вздохов, какие издает женщина, от души наслаждаясь любовной игрой с собственным мужем. Зато до нее доносились отвратительные повизгивания женщины, явно готовой на что угодно, лишь бы почувствовать превосходство над той «старухой-пуританкой», всего несколько минут назад столь ядовито обрисованной супругами Смол в своих шутках насчет того, что Дотти якобы всю жизнь твердила «нет» на любое «непристойное» предложение со стороны мужчин. Иными словами, поняла Дотти, любые беды и несчастья Шелли Смол способна

запросто облегчить с помощью секса, поскольку считает себя женщиной в высшей степени сексуальной — в отличие, разумеется, от «старухи» Дотти. Вот только Дотти была абсолютно уверена, что ни капли сексуальности в Шелли нет и, возможно, никогда не было. Об этом свидетельствовало хотя бы то, что сразу после секса Шелли бросилась в душ, а для Дотти это всегда служило верным признаком того, что женщина не испытала ни малейшего наслаждения от любовных игр со своим мужчиной.

А наутро к завтраку спустился только доктор Смол.

— Ваша жена присоединится к вам позже? — спросила Дотти.

— Она укладывает вещи, — сказал доктор, развертывая салфетку. — Мне опять овсянку, а для нее ничего готовить не нужно.

Дотти кивнула, принесла ему кашу и пошла принимать номер у только что выписавшейся из гостиницы пары. Когда она вернулась, доктор Смол вставал из-за стола, и она заметила, что он швырнул скомканную салфетку прямо в мисочку с недоеденной овсянкой. Дотти вдруг охватило чувство глубочайшего отвращения — да ведь ее же попросту использовали, как Смол эту сал-

фетку!

И она, опершись руками о спинку стула, очень спокойно сказала:

— Видите ли, доктор Смол, я отнюдь не проститутка. У меня совсем другая профессия.

В отличие от миссис Смол, которая, будучи сильно удивленной или растерянной, мгновенно краснела, доктор Смол вдруг резко побледнел, а Дотти знала — ей вообще многое в этой жизни было известно, — что это куда худший признак.

— Что вы имеете в виду? Объясните, ради бога, в чем дело! — раздраженно бросил он. И прибавил, явно не в силах сдержаться: — Господи боже мой, мадам, я вас совершенно не понимаю!

И Дотти, оставаясь на том же месте, спокойно пояснила:

— Я имею в виду ровно то, что сказала. Я предлагаю своим постояльцам ночлег и завтрак. Но я не даю им советов ни относительно той жизни, которую они находят невыносимой, — она на мгновение прикрыла глаза, но сразу же продолжила, — ни относительно тех браков, которые превращают их, по сути дела, в живых мертвецов, ни относительно тех разочарований, которые они испытывают из-за заявлений своих никуда не годных друзей, воспринимающих их дом как

заместитель пениса или вагины. Так вот: ничем таким я не занимаюсь.

— Господи, — промолвил доктор Смол, пятясь от нее. — Вы же чокнутая! — Он налетел на стул и чуть не упал. Затем, выпрямившись, погрозил Дотти трясущимся пальцем. — Боже мой, вам же ни в коем случае нельзя работать с людьми! — И, уже поднимаясь по лестнице, прибавил: — Странно, что до сих пор на вас никто в полицию не заявил! Хотя, подозреваю, что сигналы все-таки были. Но ничего, я сам непременно всем о вас сообщу! Богом клянусь! Я сам выйду в сеть!

Дотти убрала со стола и принялась мыть тарелки. Спокойствие она восстановила быстро и как-то незаметно. На нее никто и никогда не жаловался, ни разу в жизни ей не предъявляли обвинений. Впрочем, и доктор Смол их вряд ли предъявит. Да он, скорее всего, и Интернетом-то пользоваться толком не умеет — она вспомнила, как в самое их первое утро здесь он за завтраком выложил на стол самую обыкновенную папку со своими рабочими бумагами.

Дотти специально дождалась, когда Смолы начнут спускаться по лестнице, и демонстративно распахнула перед ними дверь гостиницы, заботливо ее придержав. Она не сказала даже:

«Счастливо долететь», потому что ей было абсолютно безразлично, долетят они или сразу рухнут в море. Однако, увидев красный нос Шелли и свисающую с его кончика мутную каплю, она слегка опечалилась, но печаль эта была мимолетной, потому что доктор Смол, проталкиваясь мимо нее со своим чемоданом, злобно пробормотал: «Черт побери, она и впрямь чокнутая, господи боже мой!», и Дотти вновь охватило прежнее чудесное спокойствие. Она даже ухитрилась вежливо сказать им в спину: «Ну что ж, до свиданья», и закрыла за ними дверь.

А затем хозяйка гостиницы прошла к себе за стойку и опустилась на стул. В доме стояла полная тишина. Через несколько минут она увидела, как машина, взятая Смолами напрокат, выбралась со стоянки на подъездную дорожку. И тогда Дотти извлекла из глубин верхнего ящика конторки листок бумаги, на котором стояло имя того милого человека: Чарли Маколей. Чарли Маколей, который пришел к ней со своей невыносимой, невыразимой болью. Дотти поцеловала два пальца и нежно коснулась ими его подписи.

# Снежная слепота

Раньше эта дорога была грунтовой, а их дом находился в самом конце, и до него от шоссе № 4 предстояло проехать еще с милю. Жили они тогда на севере, в картофельной стране, и в те стародавние времена, когда все дети в семействе Эплби были еще маленькими, зимы там стояли холодные, снежные, и порой дорога, ведущая к их дому, на несколько месяцев превращалась в узкую тропу и становилась непроезжей. Тогда, впрочем, и погода была совсем другой, да и относились к ней иначе — точно к члену семьи, от которого все равно никуда не денешься. Так что приходилось принимать эту погоду такой, какая она есть, и особенно на сей счет не задумываться. Элджин Эплби прицеплял к самому мощному своему трактору самый прочный снежный плуг и таким образом успешно мог расчистить дорогу и отвезти детей в школу. Элджин вырос в этом фермерском краю и хорошо разбирался и в погоде, и в сортах картофеля, и в том, кто в округе любит, продавая картошку, подложить в мешок камней для веса. Он был человеком замкнутым, хозяй-

ство вел бережливо и экономно, но в семье его понимали и знали, что более всего он презирает обман и недобросовестность, причем в любой форме. Впрочем, временами у Элджина случались внезапные удивлявшие всех приступы веселья. Он, например, мог абсолютно точно изобразить старую мисс Ларви, заведовавшую местным крохотным музеем Исторического общества. «Самый первый смывной унитаз в Арустук-каунти, — вещал он старческим голосом, ссутулив узкие плечи так, словно они согнулись под тяжестью невероятно большой и тяжелой груди, — принадлежал судье, прославившемуся тем, что он регулярно избивал жену». Или Элджин вдруг притворялся бродягой, ищущим, чего бы поесть, и умоляюще смотрел на каждого голубыми глазами, так робко протягивая руку за подаянием, что дети хохотали до упаду, пока не вмешивалась их мать, Сильвия, и не призывала всех к порядку. Зимним утром Элджин обычно заранее включал двигатель автомобиля и, пока тот грелся на подъездной дорожке, счищал снег с крыши и стекол, а изо рта у него вырывались целые облака пара. Вскоре из дома выбегали дети, кубарем скатывались по заснеженным и посыпанным солью ступенькам крыльца и усаживались в машину, а по дороге

Элджин подхватывал еще троих ребятишек из семейства Дейгл — двух мальчиков и их сестру Шарлин, которая была почти ровесницей младшей дочки Эплби, странной маленькой девочки по имени Энни.

Живая и шустрая худышка Энни была такой невероятной болтушкой, что ее мать не слишком расстраивалась, когда девочка одна на несколько часов уходила в лес и играла там с веточками или лепила из снега ангелов. В семье Эплби одна лишь Энни унаследовала от матери и бабушки оливковый оттенок кожи, свойственный многим жителям Луизианы, и роскошные темные волосы. Впрочем, для местных жителей появление среди безлюдных заснеженных полей этой малышки в красной шапочке на темных кудрях давно стало столь же привычным, как прилет поползня в кормушку к любителю птиц. И вот однажды утром пятилетняя Энни, которая еще ходила в детский сад, сообщила всем, что там, в лесу, с ней разговаривал сам Господь Бог. В машине, как и всегда с утра, было полно детей — брат и сестра Энни, братья Дейгл, их сестра Шарлин, — и старшая сестра сказала Энни: «Ну до чего ты еще глупая! Заткнись-ка лучше». Энни, которая всегда сидела рядом с отцом, так и подскочила

от обиды. «А все-таки Он со мной разговаривал! Разговаривал!» — возмущенно закричала она. Тогда сестра насмешливо спросила, как именно Он это делал, и Энни уверенно ответила: «Он просто вкладывал мне свои мысли прямо в голову». И тут, подняв глаза на отца, Энни увидела, что он слишком внимательно на нее смотрит, а в его глазах словно промелькнуло нечто такое, что она запомнила навсегда. Это «нечто» было совсем не свойственно ее отцу и показалось ей очень и очень нехорошим. «А ну, быстро выметайтесь из машины, — сказал Элджин, останавливаясь у ворот школы, — мне с Энни поговорить нужно». И как только за школьниками захлопнулись дверцы, он спросил у младшей дочери: «Ну, рассказывай, что ты в лесу видела?»

И девочка, немного подумав, сказала: «Деревья. И еще синичек-гаичек».

Элджин долго молчал, держа руки на руле и глядя куда-то вдаль. Отца Энни никогда не боялась — в отличие от Шарлин, которая своего отца очень даже боялась, — не боялась она и матери, которая была еще более уютной и доброй, чем отец, хотя, пожалуй, все же играла в семье менее важную роль. «Ну ладно, ступай», — сказал наконец Элджин и ободряюще кивнул дочери.

Энни поспешно сползла с сиденья, шурша своими непромокаемыми зимними штанами, а он, протянув руку, открыл для нее дверцу и предупредил: «Осторожней, пальцы не прищеми», захлопнул дверцу и, как всегда, покатил прочь.

* * *

В тот год Джейми почему-то очень не нравился его учитель.

— Меня от него тошнит, — как-то заявил он, швыряя ботинки на пол в прихожей. Вообще-то Джейми пошел в отца, то есть был не особенно разговорчив, и Сильвия, глядя на возмущенного сына, почувствовала, как ее лицо заливает нервный румянец.

— Мистер Поттер плохо с тобой обращается?

— Нет.

— Тогда в чем дело?

— Не знаю.

Джейми учился в четвертом классе, и Сильвия любила сына куда больше, чем дочерей. При одном лишь взгляде на него она испытывала прилив почти невыносимой, переполнявшей ее душу нежности. Мысль о том, что кто-то причиняет ее любимцу страдания, была для нее совершенно нестерпимой. Впрочем, Энни она тоже нежно лю-

била, потому что малышка была хоть и немного странной, но совершенно безобидной. А вот среднюю дочь, Синди, Сильвия любила, так сказать, с умеренной щедростью. Синди — самая тупая из троих детей Эплби — внешне больше всех, пожалуй, походила на мать.

Это был тот самый год, когда Джейми, накопив денег, подарил отцу на день рождения магнитофон. Однако его затея неожиданно закончилась плачевно: отец аккуратно развернул подарок, даже оберточную бумагу нигде не порвал — он всегда так разворачивал вещи, — и сказал:

— Но ведь это же тебе больше всех хотелось получить магнитофон, Джеймс. Неприлично дарить другим то, что нужно тебе самому, хотя многие именно так постоянно и поступают.

— Элджин… — предостерегающе прошептала Сильвия. Но Джейми понял, что отец сказал чистую правду: мальчик действительно давно хотел магнитофон, и сейчас его бледные щеки вспыхнули ярким румянцем. В итоге магнитофон был убран на самую верхнюю полку шкафа для верхней одежды.

Энни, хоть и была чрезвычайно разговорчивой, никогда никому об этом не рассказывала, даже своей бабушке, жившей с ними рядом в малень-

ком домике с квадратной комнаткой. В долгие зимние месяцы этот домик выглядел среди белых полей голым и окоченевшим, а его окна, точно широко открытые глаза, застывшим взглядом смотрели прямо на их ферму. Бабушка Энни была родом с юга, из долины реки Сент-Джонс, и, как говорили, в свое время слыла настоящей красавицей. Мать Энни тоже когда-то была очень красивой, это и фотографии подтверждали. Но теперь бабушка была худая, как щепка, а ее лицо сплошь покрывали мелкие морщины.

— Я бы хотела умереть, — лежа на диване, равнодушным тоном сообщила она Энни, которая сидела, скрестив ноги, в большом кресле с нею рядом. Затем, нарисовав в воздухе пальцем что-то непонятное, бабушка прибавила: — Хорошо бы прямо сейчас закрыть глаза да и отдать Богу душу. — И она, приподняв седую голову, внимательно посмотрела на внучку, потом призналась: — Хандрю я что-то. — И снова положила голову на подушку.

— А я бы по тебе очень скучала, — сказала ей Энни.

В тот день, это была суббота, с самого утра крупными хлопьями шел мокрый густой снег, и на нижних стеклах окон и наличниках наросли

мощные извилистые белые слои.

— Не будешь ты по мне скучать, — сказала бабушка. — Ты и навестить-то меня заходишь только потому, что тебя здесь всегда ждет либо кусок пирога, либо еще что-нибудь вкусное. И потом, у тебя же есть брат и сестра, с которыми можно и поиграть, и поговорить. Не понимаю, почему вы трое никогда не играете вместе.

— Просто у нас аппетита нет, — сказала Энни. Как-то раз она попросила брата поиграть с ней в карты, а он ответил, что у него нет аппетита. Заметив у себя в носке дырку, Энни поковырялась в ней и сообщила: — А наша учительница говорит, что если сразу после снегопада при ярком солнце смотреть на поля, то можно ослепнуть. — И девочка, вытянув шею, выглянула в окно.

— Ну, так и не смотри, — посоветовала бабушка.

* * *

Когда Энни перешла в пятый класс, она стала все чаще пропадать у Шарлин Дейгл. Энни по-прежнему была очень живой и болтала без умолку, но с тех пор, как произошла та история с давным-давно позабытым магнитофоном — эту тайну Энни делила только с Джейми, — ей стало

казаться, что всю их семью словно заключили в звуконепроницаемую оболочку или плотно завернули в толстую теплую шкуру. И внутри этой оболочки оказалась и их ферма, и тихий, молчаливый брат Энни, и ее вечно надутая сестра, и улыбчивая мать, которая частенько повторяла: «Жалко мне этих Дейглей. Отец у них вечно всем недоволен, постоянно на жену ворчит, а на детей и вовсе кричит. Все-таки повезло нам, ведь у нас такая дружная, счастливая семья». Однако слова матери только усиливали у Энни то неприятное ощущение, будто все они, такие счастливые и сплоченные, засунуты в тесную оболочку, точно колбаса в баранью кишку. Вот Энни и постаралась проковырять в этой «колбасной шкурке» маленькую дырочку, чтобы увидеть, что же все-таки там, снаружи. И увидела, что на самом деле мистер Дейгл на своих детей не кричит. Мало того, когда Энни и Шарлин вместе принимали ванну, он частенько заходил к ним и с удовольствием сам их мыл махровой салфеткой. А вот отец Энни был уверен, что и человеческое тело, и все его проявления — это очень личное, потайное и даже стыдное; недавно, например, он, побагровев, страшно орал на Синди, потому что та забыла завернуть использованную прокладку в туалет-

ную бумагу и просто кинула ее в мусорное ведро. Он заставил Синди вытащить прокладку и завернуть как следует. Глядя на это, Энни чувствовала, что внутри у нее все дрожит. Получалось, что «шкурка» на их семейной «колбасе» — стыд. И вся их семья заключена в непроницаемую оболочку из стыда. Впрочем, она скорее чувствовала это, чем была способна подобным образом сформулировать свои мысли, как это обычно и бывает у детей. Однако девочка решила про себя, что когда и с ее телом станут каждый месяц происходить столь ужасные вещи, то она все эти штуки станет сама хоронить подальше от дома, в лесу.

В общем, после школы она чаще всего шла к Шарлин, и они вместе лепили огромных снеговиков, которых мистер Дейгл поливал из шланга водой, так что те, заледенев за ночь, утром замечательно сверкали. А когда было слишком холодно, чтобы играть на улице, Энни и Шарлин сидели дома и придумывали разные истории, представляя их в лицах, будто на сцене. Когда отец Энни заезжал за ней, чтобы отвезти домой, он порой подолгу стоял вместе с миссис Дейгл и смотрел на разыгравшихся девочек. Миссис Дейгл красила губы ярко-красной помадой, и вообще, в ее облике было нечто свирепое. У Элджина Эплби

каждый раз, когда он с ней разговаривал, в глазах плясали веселые огоньки. А вот разговаривая со своей женой Сильвией, он смотрел на нее совсем не так. И однажды днем в субботу Энни, заметив, как отец болтает с миссис Дейгл, вдруг заявила: «Знаешь, Шарлин, какая-то дурацкая пьеса у нас с тобой получилась! И вообще, я домой хочу». А когда они с отцом уже подходили к своему дому — и Энни, как всегда, крепко держала отца за руку, — она вдруг выпалила, глядя на бескрайние белые поля, обрамленные темными елями, ветви которых под тяжестью снега склонились почти до земли:

— Пап, а что для тебя самое главное?

— Ты, конечно, — сразу и очень спокойно ответил он, даже не замедлив широкого шага. — И все вы. Вся моя семья.

— И мама?

— Она важнее всего.

И Энни показалось, что из этих его слов на нее так и брызнуло счастье, ярким светом озарив все вокруг, и даже много лет спустя эта минута сохранилась в ее памяти именно такой: счастливой и солнечной. Она всегда с наслаждением вспоминала, как они шли с отцом к дому, как она держала его за руку, а вокруг расстилались

поля, такие умиротворяющие в своей белизне, и темно-зеленые ели на этом белом фоне казались почти черными, и сквозь облака просвечивало бледно-молочное солнце, почти сливавшееся со снегом.

Как-то раз, вернувшись из школы домой, Энни тихонько постучалась в комнату старшего брата — он тогда учился в старших классах, а на верхней губе у него пробивались маленькие усики, — и, закрыв за собой дверь, сказала ему:

— Нана — злобная старая ведьма! Ее никто не любит! Ни один человек!

Брат, не отрываясь от раскрытой книжки комиксов, буркнул:

— Не понимаю, о чем ты. — Но, когда Энни, огорченно вздохнув, повернулась, чтобы уйти, он все же смилостивился. — Ну, разумеется, наша бабка — старая карга. Но ты насчет нее особенно не беспокойся. И вообще, ты всегда все преувеличиваешь. — Собственно, Джейми повторил слова матери, которая вечно твердила, что Энни свойственно все преувеличивать.

Раньше их ферма принадлежала отцу Сильвии. А Элджин жил за три города отсюда, хотя был родом из Иллинойса. Он вырос в трейлере, и у его родителей не было ни денег, ни фермы, ни

религии. Но работать на фермах ему доводилось не раз, так что во всех фермерских делах он разбирался неплохо, и после женитьбы на Сильвии и смерти тестя бразды правления на ферме он, естественно, взял в свои руки. Вскоре после смерти деда — это было еще до того, как Энни начала что-то помнить, — отец построил для бабушки отдельный домик, а до этого она жила в большом доме вместе со всеми.

А через несколько дней Джейми, заглянув к Энни перед ужином, сказал ей:

— Послушай-ка, что я записал! — Они потихоньку пробрались в амбар, да еще и на чердак залезли, чтобы прослушать запись, и Джейми объяснил: — Понимаешь, я спрятал магнитофон у Наны под кроватью, а потом туда мама пришла, и весь их разговор сохранился. — Сначала из магнитофона доносилось только щелканье и жужжанье, но потом стал ясно различим голос бабушки. «Сильвия, — говорила она, обращаясь к дочери, — я просто дышать из-за этого нормально не могу! У меня эти дела словно кость в горле. Вот лежу я здесь, и мне блевать хочется. А впрочем, дорогая моя, ты сама себе эту постель постелила, сама в ней теперь и лежи!» Потом они услышали, как плачет их мать. А потом она шепотом спро-

сила у бабки: «Может, мне стоит со священником поговорить?» И бабушка ей ответила: «Знаешь, я бы на твоем месте постеснялась».

* * *

Казалось, так будет вечно: вечно вокруг будут расстилаться белые снега, вечно ее бабушка, лежа за соседней дверью, будет говорить о том, что мечтает умереть, вечно Энни будет единственной в семье, кто болтает без умолку. Она очень выросла, ей всего дюйм не хватало до шести футов, но осталась тонкой и гибкой, как проволока, а волосы у нее были чудесные — темные, длинные, ниспадавшие красивыми волнами. Однажды отец отыскал ее за амбаром и сказал:

— Ты, пожалуйста, прекрати свои походы в лес, пора уже. Просто не понимаю, зачем ты туда ходишь, да и не собираюсь тебя об этом спрашивать. — Энни, собственно, удивили не столько слова отца, сколько то выражение отвращения и гнева, которое появилось у него на лице. Она пролепетала, что ходит в лес просто так. — Я же сказал, — повторил отец, — что не собираюсь тебя об этом спрашивать. Я говорю о том, чтобы ты немедленно перестала туда ходить, иначе мне самому придется предпринять соответствующие

меры, только тогда ты и носа из дома высунуть не посмеешь. — Энни открыла рот, чтобы возмущенно воскликнуть: «Ты что, совсем спятил?», и вдруг ее осенило: а что, если это действительно так? Что, если отец и впрямь спятил? При одной мысли об этом она ужасно испугалась. Она даже не подозревала, что может до такой степени испугаться.

— Хорошо, — пообещала Энни отцу.

Но оказалось, что она не в состоянии держаться вдали от леса — особенно в те дни, когда ярко светит солнце. Физический мир леса с рассыпанными по земле пятнышками солнечных зайчиков с раннего детства стал для нее самым первым и самым лучшим другом. Лес всегда был прекрасен, всегда ждал ее, всегда готов был раскрыть ей свои объятия и с пониманием принять тот восторг, который, собственно, только он у нее и вызывал. Энни пришлось выучить дневной распорядок каждого из членов семьи. Она теперь точно знала, кто и когда бывает дома, да и сама старалась незаметно ускользнуть в лес не рядом с фермой, а где-нибудь на другом конце города или сразу за зданием школы. Стоило ей оказаться в лесу, и она от избытка нежности и самого искреннего восторга начинала петь незамысловатую

песенку, которую сама же много лет назад и сочинила: «Я так рада, что живу, ну просто о-о-очень рада, что живу…» И уже тогда она чего-то ждала.

И вскоре Энни больше не пришлось ждать, потому что их учитель, мистер Поттер, увидев ее в одном школьном спектакле, помог ей устроиться в летний театр, а потом руководители этого летнего театра увезли ее с собой в Бостон, и домой она больше не вернулась. Ей было всего шестнадцать, и она далеко не сразу сообразила, почему родители не возражали против ее отъезда, почему они не попросили ее хотя бы школу окончить. В то время ей на жизненном пути встретилось немало разных мужчин, в основном, правда, толстых и добрых. Пальцы их украшали крупные перстни, и они, прижимая ее к себе в затененных кулисах, шептали, как она очаровательна, как похожа на олененка в лесу, а потом посылали ее на всевозможные прослушивания и находили ей покровителей, у которых она жила, с которыми ездила по разным городам и которые, как ей тогда казалось, тоже были невероятно, неправдоподобно добры к ней. У нее было такое ощущение, будто и на этих незнакомых людей распространилось то физически ощутимое божественное присутствие, какое она испытывала в лесу, и поэтому

все они так ее любят. И Энни странствовала с ними по всей стране, переходя со сцены на сцену, а когда все же вернулась и вновь посетила свой дом в самом дальнем конце знакомой дороги, то была по-настоящему удивлена тем, каким он показался ей маленьким и тесным, какие в нем низкие потолки. А ее родных, похоже, сильно смутили привезенные ею подарки — свитеры, украшения, бумажники, часы, купленные по дешевке у лоточников в большом городе. Впрочем, смутил их и сам приезд Энни.

— Ну, ты прямо настоящей комедианткой стала, — с явной неприязнью пробурчал отец, и дочь возмутилась:

— Ничего подобного! — Ей показалось, что отец назвал ее «настоящей лесбиянкой».

Черты лица у отца как будто несколько потяжелели, но сам он был по-прежнему стройным. Подаренные ему часы он небрежно оттолкнул, и они скользнули по столешнице обратно к Энни.

— Ты их лучше кому другому подари — тому, кто такие часы носить станет. Когда это ты видела, чтоб я часы носил?

Зато бабушка Энни — она, кстати, ничуть не изменилась — сказала ей, садясь на диване:

— Ты стала настоящей красавицей, Энни. Как

же так получилось? Расскажи-ка мне все-все. — И Энни, как всегда устроившись в большом кресле, принялась рассказывать бабушке о театральных гримерках, о тех маленьких квартирках, где ей доводилось жить в разных городах, о том, как все они в театре друг о друге заботятся, о том, что она еще ни разу не забыла слова роли. И бабушка, внимательно ее выслушав, сказала: — Только сюда не возвращайся. И замуж не выходи. И детей не рожай. Все это ничего, кроме душевной боли, тебе не принесет.

* * *

И Энни долгое время домой не приезжала. Иногда ее, правда, одолевала тоска по матери. Ей казалось, что через многие мили до нее докатывается волна грусти, исходящая от Сильвии, и лижет, лижет ей сердце. Но, когда Энни звонила домой, мать всегда разговаривала с ней очень спокойно. «Да у нас тут, в общем, все по-старому», — говорила она, не проявляя, похоже, ни малейшего интереса к тому, чем занимается ее младшая дочь. А сестра вообще никогда Энни не писала и не звонила. Впрочем, и Джейми делал это крайне редко. На Рождество Энни посылала домой целые ящики подарков, пока однажды во

время очередного телефонного разговора мать не сказала ей со вздохом: «Твой отец спрашивает, что нам делать со всем этим хламом?» Энни тогда очень обиделась, но страдала ненадолго: те, с кем она теперь рядом жила и работала, кого хорошо знала по сцене, всегда относились к ней очень тепло и доброжелательно, переживали за нее и никому из ее обидчиков спуску не давали. А старшие актеры в труппе любого театра, где Энни доводилось играть, и вовсе настоящую нежность к ней испытывали. Так девушка, сама того не сознавая, в значительной степени и пребывала во всех театральных труппах на положении ребенка. «Тебя защищает твоя невинность», — как-то сказал ей один режиссер, а она тогда даже толком не поняла, что он имел в виду.

Говорят, каждая женщина должна иметь трех дочерей, поскольку потом среди них найдется только одна, которая действительно станет о ней, своей матери, заботиться в старости. Энни Эплби побывала везде — в Калифорнии, в Лондоне, в Амстердаме, в Питтсбурге, в Чикаго, — но единственное место, где Сильвия сумела ее отыскать, это полный сплетен желтый журнал, который она купила в аптеке. На его страницах имя Энни было связано с именем одной знаменитой

кинозвезды, что привело Сильвию в страшное замешательство. Женщина настолько смутилась и испугалась, что жители их городка в итоге научились при ней даже не упоминать о ее младшей дочери. С Синди, старшей дочерью Сильвии, все было в порядке. Она жила неподалеку в Нью-Гэмпшире, была замужем, быстро нарожала кучу детей, а ее мужу всегда нравилось, чтобы жена сидела дома. Так что из всех детей Сильвии на ферме остался только Джейми. Женат он не был и молча работал рука об руку с отцом, который, несмотря на возраст, был все еще полон сил. Джейми — все так же молча — заботился и о бабушке, которая по-прежнему жила с ними рядом. Сильвия часто говорила: «Господи, и что бы я без тебя делала, Джейми?» А он в ответ только головой качал. Он знал, какой одинокой чувствует себя его мать. Видел, что отец все реже и реже с ней разговаривает. Замечал, что отец в последнее время стал очень неаккуратно вести себя за столом, да еще и начал чавкать за едой, чего за ним раньше никогда не замечалось. Он порой так чавкал, что это было слышно всем, и ронял кусочки пищи изо рта прямо на рубашку. «Боже мой, Элджин, ешь аккуратней», — говорила, вставая, Сильвия и подавала ему салфетку, но отец с

раздражением отшвыривал салфетку и ворчал: «Отстань от меня ради бога, женщина!»

Когда Сильвия и Джейми оставались наедине, она порой спрашивала: «Да что с ним такое, с твоим отцом?», но Джейми в ответ только плечами пожимал, и какое-то время мать эту тему больше не поднимала. Но Джейми, роясь в книгах, сумел понять, что происходит. Как ни ужасно, но все это имело определенный смысл — и постоянное недовольство отца, и его ворчливость, и его бесконечно повторяющиеся вопросы «Где Энни? Где эта девчонка? Она что, опять в лес ушла?» И понимание происходящего упало в душу Джейми с беззвучностью камня, падающего в темноту бездонного колодца. Не прошло и года, как у них не осталось сил, чтобы справиться с Элджином. Он убегал из дома, он развел в амбаре огонь и устроил пожар, он всех сводил с ума своими вопросами «Где Энни? Она что, опять в лес ушла?» В итоге они были вынуждены подыскать ему соответствующее пристанище, и он пришел в ярость, когда понял, что в лечебнице ему придется остаться надолго. Через некоторое время Сильвия совсем перестала его навещать, потому что каждый ее визит вызывал у Элджина приступ неописуемого гнева, а однажды он прилюдно назвал ее коровой.

Она сообщила дочерям о случившемся, и Синди сумела приехать на несколько дней, а вот Энни не смогла и пообещала навестить их только весной.

Свернув с шоссе № 4, Энни с удивлением обнаружила, что их грунтовую дорогу значительно расширили, заасфальтировали, и на ней даже появились тротуары, а рядом с домом Дейглов построено много новых больших домов. Энни с трудом узнавала родные места. На кухне, которая, как ей показалось, стала еще меньше, чем в ее прошлый приезд, она увидела Синди и наклонилась, чтобы поцеловать сестру, но та не сделала ни одного ответного движения — как стояла, так и осталась стоять. Джейми сказал, что мама наверху и обещала спуститься после того, как они, трое ее детей, сами все обсудят. И Энни сразу охватило ужасное, почти физически ощутимое, чувство тревоги. Тревога вспыхивала в ней подобно электрическим разрядам, и она, буквально рухнув в кресло, забилась в него поглубже и принялась медленно расстегивать пуговицы на пальто. Джейми заговорил первым. Он прямо, хотя и в довольно осторожных выражениях, сообщил, что их попросили забрать отца из той лечебницы, в которой он до сих пор находился, поскольку он постоянно нарушал тамошние

порядки, оскорбительно вел себя по отношению к санитарам и, как выразился Джейми, приставал буквально к каждому мужчине, лапая его за промежность. Отца водили на консультацию к психиатру, и он якобы дал разрешение, чтобы во время его бесед с психиатром присутствовал кто-то третий, хотя Джейми так и не понял, как мог человек с диагнозом «старческая деменция» дать подобное разрешение. Зато в результате этих бесед Сильвия узнала, что Элджин давно состоял в интимной связи с Сетом Поттером, они много лет были любовниками. Впрочем, у нее, как она призналась, давно возникали подобные подозрения. Сам Элджин очень четко охарактеризовал себя — хотя вроде бы и считалось, что он страдает слабоумием, — как ярого гомосексуалиста и весьма живописно, в мельчайших деталях, принялся описывать свои отношения с разными мужчинами. В результате, сказал Джейми, им, скорее всего, придется поместить его в куда менее приятное место, чем предыдущая лечебница, хотя бы потому, что у них нет тех денег, какие требуются на его содержание. Единственный выход — это, конечно, продать ферму, вот только кому нынче придет в голову покупать картофельную ферму?

— Ну, ладно, — сказала наконец Энни, поскольку-

ку ее брат и сестра уже давно молчали, и их лица казались ей сейчас очень юными и печальными, хотя это были лица людей не таких уж и молодых, со свойственными их возрасту первыми морщинами. — Ладно, это мы как-нибудь уладим. — И она ободряюще кивнула Джейми и Синди. А потом пошла в маленький домик по соседству, чтобы повидаться с бабушкой. И, как ни удивительно, ей снова показалось, что бабушка ни капли не изменилась. Она по-прежнему лежала на своем диване и смотрела, как внучка ходит по дому и включает повсюду свет. Потом спросила:

— Ты, наверно, приехала, чтобы с отцом разобраться? Да уж, жизнь у твоей матери была сущий ад, скажу я тебе.

— Угу, — согласилась Энни и уселась с нею рядом в большое кресло.

— Если хочешь знать мое мнение, то твой отец спятил из-за собственного поведения. Он ведь извращенец. Я всегда знала, что он гомик, а это вполне может человека с ума свести, вот он и спятил. Я, во всяком случае, так считаю, если тебе это, конечно, интересно.

— Интересно, но не очень, — мягко сказала Энни.

— Тогда расскажи мне что-нибудь действитель-

но интересное. Что-нибудь увлекательное. Где ты побывала? В каких замечательных местах?

Энни посмотрела на нее. На лице старухи было написано совершенно детское ожидание, и Энни вдруг охватило непрошеное и почти невыносимое чувство — мощная волна сочувствия к этой женщине, столько лет одиноко живущей в своем жалком домишке.

— Представляешь, — начала она, — в Лондоне я побывала дома у нашего посла! Мы им показывали спектакль целиком по случаю торжественного обеда. Вот это было действительно очень интересно.

— О, расскажи-ка мне поподробней, Энни, все-все мне расскажи!

— Погоди, дай сперва посидеть минутку спокойно. — И обе умолкли, а бабушка даже послушно легла, точно ребенок, который очень старается вести себя хорошо и быть терпеливым, а Энни, которая вплоть до этого дня всегда чувствовала себя ребенком — кстати, именно по этой причине она и не могла выйти замуж, не могла стать чьей-то женой, — вдруг почувствовала себя невероятно старой. Она сидела и думала о том, что многие годы на сцене эксплуатировала собственные детские воспоминания — как они с отцом шли по

дороге к их дому, как она держала его за руку, как вокруг расстилались заснеженные поля, и лес виднелся вдали, и счастье переполняло ее душу. Этих воспоминаний ей всегда было достаточно, чтобы в любой момент вызвать у себя слезы, таким невероятным счастьем, теперь навсегда утраченным, были наполнены те мгновения. А теперь она даже не могла точно сказать, происходило ли все это на самом деле, была ли их дорога такой узкой и грязной, брал ли отец ее когда-нибудь за руку, говорил ли, что для него самое важное на свете — это семья?

А чуть раньше, перед визитом к бабушке, она сказала своей сестре: «Все это так и есть», потому что Синди в ярости крикнула, что если бы то, о чем говорит Джейми, было правдой, то они бы тоже об этом знали. Энни не стала объяснять ей, что существует множество способов не знать чего-то, если ты этого знать не желаешь. Свой собственный многолетний опыт она воспринимала сейчас как вязанье, разложенное на коленях, в котором сплетено множество разноцветных нитей — одни потемнее, другие посветлее. Теперь Энни перевалило за тридцать. Она не раз любила и не раз страдала от разбитого сердца. И повсюду вокруг нее буто пробивались тонкие

нити предательства и обмана. И ее всегда поражало, сколько разнообразных форм способны принимать и предательство, и обман. Но и друзей у нее было много, и у них тоже случались свои разочарования, и тогда дни и ночи без сожалений тратились на то, чтобы оказать кому-то поддержку или, наоборот, обрести ее самому. Театральный мир — это как религия, думала Энни. Он всегда заботится о своих адептах, даже если порой и причиняет им боль. Ей, впрочем, с недавних пор стали приходить в голову фантазии на тему «хорошо бы стать такой, как все» — так это называлось в ее среде, — то есть иметь дом, мужа, детей, сад. И ощущать покой, исходящий от этого. Только что ей делать со всеми чувствами, что текут сквозь нее, подобно маленьким рекам? Ведь театр привлекал Энни отнюдь не громом аплодисментов — честно говоря, она чаще всего вообще едва слышала их, — а теми волшебными, самыми главными для нее, мгновениями на сцене, когда она отчетливо понимала, что не просто покинула обыденный мир, а полностью окунулась в мир иной. И тогда она испытывала почти такое же чувство восторга, что и когда-то в детстве, оказавшись в лесу.

А ведь отец тогда наверняка беспокоился из-

за того, что в лесу она может нечаянно на него наткнуться, подумала Энни. Она чуть шевельнулась в своем большом кресле, и бабушка тут же спросила у нее:

— А о Шарлин они тебе рассказали?

— О Шарлин Дейгл? — Энни повернулась и удивленно посмотрела на бабушку. — А что с ней?

— Она создала настоящее движение тех, кто пострадал от инцеста. «Выжившие после инцеста» — так, по-моему, они себя называют.

— Ты это серьезно?

— Она все это затеяла вскоре после смерти отца. Опубликовала статью в газете, в которой заявляла, что каждый пятый ребенок подвергается в семье сексуальному насилию. Ей-богу, Энни, что это за мир такой!

— Как это ужасно! Бедная Шарлин!

— На фотографии она выглядела очень даже хорошо. Немного располнела, правда. Да, пожалуй, она несколько располнела.

— Боже мой! — тихо промолвила Энни.

«Над нами, должно быть, весь округ смеялся», — ужаснулась Синди во время того их семейного разговора, а Джейми повернулся к ней и сказал: «Нет. Все свои связи и действия он самым тща-

тельным образом скрывал».

И Энни вдруг стало заметно, какой след оставила на их лицах эта беда, хотя они оба, конечно, очень старались сдерживаться, и в ней проснулось поистине материнское желание как-то их защитить. «Да какая нам разница, что там подумают другие, — возразила она. — Это совершенно не важно».

Но это было важно! Ох, как это было важно!

Когда Энни вернулась в большой дом, то оказалось, что Сильвия все же спустилась вниз и даже решила поужинать на кухне вместе со своими детьми.

— Я слышала о Шарлин, — сказала Энни. — Все это невероятно печально.

— Если это правда, конечно, — заметила Сильвия.

Энни вопросительно посмотрела на брата и сестру, но те смотрели только в собственные тарелки и молча ели. Потом Джейми сказал:

— А почему бы этому и не быть правдой? С какой стати кто-то стал бы выдумывать такое? — И он так равнодушно пожал плечами, что Энни поняла — хотя, может, ей просто показалось, что Джейми пожал плечами, — что горести Шарлин для них никакого значения не имеют; единствен-

ное, что для них сейчас важно, — это судьба их собственного крохотного мирка, который недавно, точно взбесившись, вдруг сорвался с якоря. После ужина Сильвия сразу же снова ушла наверх, сказав, что хочет лечь спать, а они втроем, брат и две сестры, еще долго сидели у теплой дровяной плиты и разговаривали. Джейми был как-то особенно возбужден, все говорил и никак не мог остановиться. Их отец, прежде весьма молчаливый, теперь, видимо, вследствие развития деменции, оказался не в состоянии удерживать в себе все то, что долгие годы хранил в глубочайшей тайне, и рассказывал об этом буквально всем и каждому. И Джейми, по характеру тоже молчаливый и замкнутый, сейчас, мучительно запинаясь, выкладывал сестрам все, что узнал из безумных рассказов отца.

— Один раз, Энни, они заметили тебя в лесу, и после этого отец всегда боялся, что в следующий раз ты на них наткнешься. — Энни молча кивнула, и Синди тут же обиженно на нее посмотрела, словно сестре полагалось отреагировать на подобное сообщение куда более бурно. Энни на минутку ласково коснулась ее руки, надеясь успокоить, а Джейми между тем продолжал отчитываться: — Но мне самым странным из того,

о чем он рассказывал, показалось, пожалуй, то, что он и в школу нас возил только затем, чтобы хоть несколько минут побыть рядом с Сетом Поттером! Хотя он ведь даже толком увидеть его не мог, когда нас у школьных ворот высаживал. Но ему было приятно сознавать, что он каждое утро находится всего в нескольких шагах от Сета, который, разумеется, был в это время в здании школы.

— О господи, да меня ото всего этого просто тошнит! — не выдержала Синди.

А Джейми посмотрел, прищурившись, на старую дровяную плиту и сказал:

— А для меня это просто загадка и только.

И все же у них обоих на лицах была написана такая внутренняя уязвимость, что Энни лишь с трудом удалось скрыть нараставшее беспокойство. Она оглядела знакомую маленькую кухоньку — обои в водяных потеках, кресло-качалка, в котором всегда сидел их отец, диванная подушка с дырой, из которой торчит набивка, старый чайник на плите, занавеска, прикрывающая лишь верхнюю часть окна, могучая паутина между занавеской и оконной рамой… Потом она снова посмотрела на Джейми и Синди. Они, может, и не испытали того ежедневного ужаса, в

котором пришлось жить бедной Шарлин, но ведь от правды никуда не денешься; а правда была в том, что все они, все трое, с самого детства росли с ощущением стыда. Стыд как бы служил питательным веществом для взрастившей их почвы. И все же, как ни странно, именно своего отца она, Энни, понимала лучше всех. И на мгновение ей пришла в голову мысль о том, что ни ее брат, ни ее сестра — хорошие, добрые, правильные люди — никогда не знали той страсти, которая побуждает человека рискнуть всем, что он имеет, и бездумно подвергнуть опасности все, что ему дорого, для того лишь, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя ослепленным волшебным белым сиянием солнца на снегу и словно улететь с ним вместе, оставив позади эту землю.

# Подарок

Абель Блейн опаздывал.

Встреча с директорами предприятий штата Иллинойс затянулась, и весь день Абелю пришлось провести в конференц-зале за роскошным столом вишневого дерева, который подобно темному ледяному катку расстилался в центральной части зала, и было заметно, что люди, сидящие вокруг этого стола, уже очень устали и тщетно пытаются сесть прямее. Но какая-то девушка из Рокфорда — Абель невольно отметил, что она очень тщательно подбирала одежду, видимо, готовясь к своему первому выступлению на собрании директоров, и его это почему-то тронуло — никак не могла завершить свою речь и все говорила и говорила, так что присутствующие со все возраставшей паникой начали поглядывать на Абеля, председательствовавшего на этом собрании: *Да заставьте же ее наконец замолчать!* Он даже слегка вспотел от волнения, когда ему все же пришлось встать, поблагодарить ее за выступление и демонстративно начать складывать в папку свои бумаги. Девушка — да нет,

женщина, теперь ведь их нельзя называть просто девушками, господи ты боже мой! — вспыхнула, села и несколько минут не знала, куда девать глаза. Она так и сидела, красная от смущения, пока участники конференции, устремляясь к выходу, не начали подходить к ней с ласковыми напутствиями. Точно так же поступил и сам Абель. Затем он наконец-то сел за руль, промчался по автостраде, свернул на узкие извилистые улочки родного городка, засыпанные снегом, и, как всегда, ощутил глубочайшее удовлетворение, увидев перед собой свой просторный кирпичный дом, в котором сегодня неярким белым светом светилось каждое окошко.

Дверь ему открыла жена, которая тут же с упреком сказала:

— Ох, Абель, ты что, забыл? — На ней было красное платье, а над воротником покачивались маленькие зеленые шарики — «рождественские» сережки.

— Но, Илейн, я выехал сразу же, как только смог, — попытался оправдаться он, — и я действительно очень быстро сюда добрался.

— Ну точно, он забыл, — сказала жена, оборачиваясь к Зоэ, и та тут же решительно заявила:

— Значит, так, пап, поесть тебе уже не удастся,

потому что нам еще малышню покормить надо, а мы и так опаздываем.

— Да не буду я есть! — поспешил отказаться Абель.

Однако поджатые губы дочери вызвали у него в животе неприятное ощущение, и он понял, что есть ему, пожалуй, все-таки хочется, но тут внуки завопили: «Дедушка! Дедушка!», окружили его, захлопали в ладоши, да и жена принялась его поторапливать — *ну пожалуйста, пожалуйста, поторопись ради бога!* Абель давно вступил в тот период жизни, когда становится ясно, что рождественские праздники способны вызвать у человека одно лишь раздражение. И все-таки он по-прежнему не мог предать того, возникшего еще в детстве, ощущения Рождества и по-прежнему испытывал потребность в том, чтобы на елках сверкали разноцветные лампочки, вокруг сияли от счастья дети, а с каминной полки тяжело свисали чулки с подарками.

А войдя в вестибюль театра «Литтлтон», Абель понял, что ему и не нужно ничего предавать и ни от чего отказываться, потому что праздник был здесь, и снова, как и на каждое Рождество, все жители города собрались вместе, и девочки нарядились в очаровательные клетчатые платьица, а

мальчики, тараща от возбуждения глаза, надели рубашки с твердыми воротничками, в которых стали похожи на крошечных мужчин. В толпе виднелся и местный священник епископальной церкви — ему, правда, вскоре предстоял выход на пенсию, и его должна была сменить некая лесбиянка, с чем Абель, в общем, готов был смириться, хотя ему, конечно, больше хотелось бы, чтобы отец Харкрофт навсегда остался на своем посту. Абель заметил в театре и главу местного школьного совета, а также Элеонору Шоутак, которая, широко улыбаясь, махала ему рукой — они с ней сегодня уже виделись на совещании директоров. Зрители рассаживались по местам, в зале слышались шепот и шушуканье — последние затихающие звуки перед началом спектакля. На ухо Абелю прошептали: «Дедушка, у меня платье мнется», и он повернулся к своей чудесной маленькой внучке Софии, крепко сжимавшей в руках подаренную ей пластмассовую лошадку с розовой гривой. Он слегка подвинул слегка затекшую ногу, помог девочке оправить пышную юбочку и даже успел сказать ей тихонько, что она здесь самая хорошенькая. София, разумеется, тут же сообщила ему, хотя, пожалуй, чересчур громко: «А мой Снежок никогда еще на рожде-

ственском представлении не был!», и усадила игрушечную лошадку себе на колени. Наконец свет в зале померк, и представление началось.

Абель прикрыл усталые глаза, и перед его мысленным взором тут же возникла Дотти, его сестра, жившая в двух часах езды отсюда, в Дженнисберге, недалеко от Пеории. Интересно, подумал он, чем Дотти займется в рождественские праздники? Он всегда самым искренним образом о ней беспокоился и очень ее любил, хотя, пожалуй, теперь то чувство ответственности за нее, которое жило в нем с детства, начинало немного его утомлять, а порой и вызывать протест. Впрочем, в этом он никогда и никому ни за что не признался бы. А все из-за того, что Дотти одинока и несчастлива, подумал Абель и открыл глаза. Хотя, возможно, она вовсе не так уж несчастлива и отнюдь не одинока, ведь она все-таки хозяйка гостиницы «B&B», которую, как он предполагал, можно на праздники и не закрывать. Ладно, завтра он непременно позвонит Дотти с работы, потому что жена ее совершенно не выносит.

Абель сжал ручонку Софии и постарался привлечь ее внимание к действу на сцене, которое было ему столь же хорошо знакомо, как и праздничная церковная служба. Сколько же лет они

приходят сюда смотреть «Рождественскую песнь»? Сначала со своими детьми, с Зоэ и ее братьями, а теперь вот с внуками, детьми Зоэ — очаровашкой Софией и ее старшим братом Джейком. Разум Абеля, казалось, пребывал в смятении: он никак не мог связать воедино воспоминания о юности его собственных детей и мысли о сестре и ее жизни; его охватило странное мимолетное ощущение — ему словно удалось поймать неуловимое мгновение, а точнее, ухватить суть концепта быстротечности времени. Со сцены донеслось энергичное, но звучащее довольно фальшиво «Веселого Рождества, дядюшка!»[14]. Затем хлопнула тонкая дверь — Абелю показалось, что от этого вполне могла рухнуть вся декорация, — и прозвучал ворчливый ответ Скруджа: «Вздор! Чепуха!»

Голод обрушился на Абеля внезапно. Он представил себе жареные свиные ребрышки и с трудом сдержался, чтобы не застонать. Перед глазами поплыли фантастические картинки — жареный картофель и даже вареный лук… Абель положил ногу на ногу, потом снова поставил ноги прямо, нечаянно толкнув коленом

**[14] Примечания: 14**

Здесь и далее цитаты и имена героев «Рождественской песни» Ч. Диккенса (1812–1870) даны в переводе Т. Озёрской.

женщину, сидевшую впереди. Он наклонился к ней, прошептал: «Ох, извините, пожалуйста!», и заметил, что она слегка поморщилась. Пожалуй, я перестарался с извинениями, подумал он и даже головой слегка покачал в полумраке зала.

Ему казалось, что действо на сей раз разворачивается как-то невероятно медленно.

Он быстро глянул на Софию, но та внимательно следила за происходящим на сцене. Тогда он посмотрел на Зоэ, и она тут же ответила ему странно холодным взглядом, хотя ему было совершенно не понятно, в чем причина подобной холодности. На сцене Скрудж как раз собрался подняться к себе в спальню, когда к нему явился призрак Марли в цепях. «Ты в цепях, — сказал Скрудж призраку. — Скажи мне, почему?»

И тут вдруг Абеля осенило — и эта мысль ворвалась в его сознание подобно летучей мыши, стремительно сорвавшейся из-под свеса крыши: Зоэ несчастлива. Затем эта мысль обрела форму, превратившись в нечто темное, что он обязан был держать на коленях, крепко прижимая к себе.

Да нет, не может быть!

Разумеется, у Зоэ маленькие дети, из-за которых она всегда страшно занята, но какое же это несчастье?

Правда, муж ее сегодня вечером не приехал, а остался в Чикаго, потому что сейчас вынужден особенно много работать, но так и следует поступать молодому юристу, который вот-вот станет полноправным партнером фирмы. Нет, ничего плохого в жизни Зоэ не происходит. Она принадлежит к привилегированному слою общества — к тому самому, которое теперь обозначают, как *один процент населения*, — и это отчасти благодаря тяжкому труду и упорству ее отца. Порядочность — вот главная причина того, что он, Абель, достиг своего нынешнего положения. Люди всегда знали, что ему можно доверять, а доверие в бизнесе — это все. Зоэ выбрала себе в мужья человека, который будет способен поддержать и сохранить для них ту же принадлежность к высшему общественному слою, и в этом нет *ровным счетом ничего* плохого или неправильного. Абель лишь однажды поспорил с зятем, когда тот предложил ему способ избежать выплаты больших налогов. «Мне просто показалось…» — начал молодой человек, и Абель с гневом подхватил: «Что я республиканец и не верю в „большое правительство“? И ты прав. Но налоги я непременно уплачу!» И каждый раз, вспоминая об этом, Абель не мог понять, почему его тогда вдруг охватила

такая ярость.

Он глубоко и, пожалуй, немного судорожно вдохнул, сел попрямее и украдкой проверил пульс, который, как оказалось, здорово частил.

А на сцене Скрудж сперва долго вглядывался в грязное ночное окно, затем долго лежал на кровати, слушая перезвон колоколов, затем все-таки встал, возбужденно приговаривая: «Не может быть! Не может быть!», и вот тут-то Абель и вспомнил, что несколько дней назад за завтраком жена сунула ему под нос газету и даже потыкала пальцем в одну из колонок. Впрочем, актер Линк Маккензи, тот самый, что сейчас изображал Скруджа, возможно, и был горячо любим жителями города, а также студентами, которые занимались у него по программе MFA[15] в «Литтлтон-колледж», однако у критиков он был далеко не в фаворе. Например, автор опубликованной в той газете статьи писал, что мистеру Линку Маккензи повезло в том смысле, что он оказался единственным человеком в театре, которому не пришлось смотреть на сцену и «наслаждаться» собственной игрой.

И Илейн, и Абелю эта статья тогда показалась

---

**[15] Примечания: 15**

В магистратуре. Master of Fine Arts — магистр искусств *(англ.)*.

беспричинно злобной. А потом Абель и вовсе о ней позабыл. Но сейчас ему вдруг припомнились ядовитые слова автора, потому что сегодняшний Скрудж и впрямь выглядел каким-то на редкость нелепым, да и весь спектакль, пожалуй, тоже. Абеля не покидало ощущение, словно артисты не играют, а просто громко *повторяют по памяти слова роли*, как у доски на уроке. Это вызывало у него неприятные опасения, что после подобного спектакля он каждый раз будет думать, будто все его знакомые или те, с кем ему приходится встречаться, тоже всего лишь декламируют наизусть слова выбранной для них роли. Но ведь театр, подумал он, ни в коем случае, разумеется, не должен оказывать на человека подобное воздействие, и снова посмотрел на свою любимицу Софию. Малышка тут же одарила его мимолетной ответной улыбкой, довольно, впрочем, сдержанной, как и подобает вежливой юной леди, и Абель ласково пожал ее теплую коленку, а София, опять мгновенно превратившись в маленькую девочку, благодарно ему кивнула и одной рукой стиснула руку деда, а второй еще крепче прижала к себе пластмассового пони.

На сцене Святочный Дух Прошлых Лет сказал Скруджу: «Какой-то бедный мальчик, позабы-

тый всеми, остался там один-одинешенек», и Скрудж заплакал. Но плач был явно притворный, и Абелю очень хотелось, чтобы этот плач поскорее прекратился. Он даже глаза закрыл. Ручонка Софии незаметно выскользнула из его руки, и вскоре он, уютно сложив руки на груди, начал засыпать. Абель понимал, что засыпает, что мысли путаются у него в голове, но, пожалуй, испытывал даже благодарность за эту возможность чуточку отдохнуть, позволив приятной усталости одеялом навалиться ему на плечи. И тут он вдруг вспомнил — и это воспоминание подобно яркому желтому свету вспыхнуло под его сомкнутыми веками, — как в прошлом году встретился с Люси Бартон, приехавшей в Чикаго на презентацию своей книги. Люси Бартон — дочь двоюродной сестры его матери — была из очень бедной семьи. И вот эта бедная девочка вдруг возникла перед ним в облике немолодой знаменитой писательницы, когда он, войдя в книжный магазин, был вынужден встать в очередь, чтобы подписать у нее свой экземпляр книги. Но стоило ему протянуть Люси книгу, как она радостно воскликнула: «*Абель!*», вскочила и бросилась к нему, и на глазах у нее были слезы — все это сейчас вдруг снова ему вспомнилось, и он, уже

проваливаясь в сон, вдруг испытал такой же, как тогда, прилив счастья. Затем ему приснилось, что он тщетно пытается отыскать свою мать и все ездит вверх-вниз на каком-то странном лифте, который не желает останавливаться, на какую кнопку ни нажимай; потом он вдруг оказался в темном узком коридоре и все продолжал искать мать, шел то в одну сторону, то в другую и постоянно чувствовал во тьме ее присутствие… а потом понял, что она совсем исчезла, и даже во сне вновь ощутил ту старую неутолимую тоску по ней, то страстное желание вновь ее увидеть. Его охватило странное, близкое к панике, но все же не совсем паническое чувство… и тут Абеля разбудили громкие испуганные возгласы, раздававшиеся в зале со всех сторон.

Свет в зале не горел. И сцена тоже была объята тьмой. И актеры умолкли. Лишь над дверями светились надписи «Выход», да еще в полу горели огоньки, похожие на яркие блестящие пуговицы и обозначавшие начало каждого ряда. Абель почти сразу почувствовал, как вокруг него темными волнами вздымается людской страх. София заплакала, и многие дети вокруг тоже плакали. «Мамочка, ты где?» — позвала София, и Абель посадил ее к себе на колени и крепко обнял. «Ш-

ш-ш, — успокаивал он, беря в ладонь ее теплый затылок. — Это же ерунда, скоро все снова будет в порядке». Но девочка все плакала, и рядом послышался голос Зоэ: «Детка, я тут».

Как долго в зале царила темнота, Абель, пожалуй, не смог бы с точностью определить. Пожалуй, не более нескольких минут. И во время этого странного затемнения его больше всего поразило то, что очень многие начали яростно спорить и ссориться друг с другом, и, надо сказать, его родственники исключения не составили.

— Абель, немедленно выведи нас отсюда! — нервно приказала Илейн. — И следи за детьми.

Впрочем, многие в темноте уже пытались пробраться к проходу, светя себе мобильниками, и их руки, освещенные этим призрачным светом, казались бестелесными промельками загадочной эктоплазмы.

— Мама, перестань, — сказала Зоэ. — Именно так людей и затаптывают до смерти. Пап, ты держи Софию, а я — Джейка.

— Я хочу, чтобы мы *немедленно отсюда вышли*, Абель, — отчеканила его жена. — И если ты…

После многих лет брака, в течение которых они успели столько наговорить друг другу и пережить немало разных, в том числе и не самых приятных,

сцен, кумулятивный эффект, безусловно, имел место, и в голове у Абеля вдруг пронеслась мысль о том, что существовавшие между ними супружеская любовь и нежность давно уже истощились, и теперь, вероятно, придется все оставшиеся дни жить без этого. Горестный вздох невольно вырвался из его уст, и Зоэ с тревогой спросила, направив на него свет своего мобильника:

— Пап, ты что? У тебя все в порядке?

— Все хорошо, детка, — быстро сказал он. — Однако нам, пожалуй, лучше подождать. Впрочем, как хочешь.

Чей-то голос со сцены громко призывал зрителей сохранять спокойствие. А вскоре зажегся свет, застигнув взбудораженных детей и взрослых в том или ином состоянии паники и смятения. Все члены семейства Блейн, правда, так и остались сидеть на своих местах, но подобным образом поступила далеко не каждая семья. Теперь же все снова уставились на сцену, ожидая возобновления спектакля, однако людей не отпускало напряжение, вызванное столь неприятным инцидентом, и когда в зале наконец снова погасли огни, раздались бурные аплодисменты, вызванные тем облегчением, которое испытывали сейчас абсолютно все.

В машине по дороге домой все подавленно молчали, и лишь когда они уже почти приехали, Абель все-таки спросил у Софии, глядя в зеркало заднего вида, получила ли она удовольствие от спектакля, несмотря на досадную неприятность.

— Что такое неприятность? — спросила малышка.

— Это когда что-то идет не так, как нужно, — ответила Зоэ. — Как, например, сегодня, когда в зале вдруг погас свет.

— А *почему* все-таки он погас? — тихо спросил Джейк.

— Ну, этого мы не знаем, — сказал Абель. — Может, просто пробки вылетели. Ничего ведь страшного не случилось, правда?

— Слава богу, что хоть указатели выхода освещаются с помощью генератора! — внесла свою лепту Илейн. — Есть даже закон, согласно которому в чрезвычайных ситуациях такие указатели подключаются к отдельным источникам питания.

— Мам, давай лучше оставим эту тему, — устало произнесла Зоэ. Возможно, она, как это очень часто случается с повзрослевшими детьми, была недовольна тем, как изменились с годами отношения между ее отцом и матерью, и с явной

неприязнью замечала постепенное уменьшение нежности в их отношениях. *Мой брак никогда не будет таким, как у тебя, папа,* — так она, наверное, могла бы сказать. Ну и прекрасно, мог бы он на это ответить, это же просто прекрасно, детка.

Хоть Абель и чувствовал, что страшно голоден, он все же немного посидел с внучатами, пока те переодевались в пижамы и ложились спать. Он даже заставил их хохотать, изображая Скруджа, — ему хотелось избавить их даже от малейших следов страха. Вдруг София соскользнула с его колен, куда-то ринулась и почти сразу пронзительно закричала. Это был поистине ужасающий вопль, и с этим воплем она обежала всю спальню — на Рождество внуки всегда ночевали в спальне Илейн и Абеля, — и ее крики сменились рыданиями.

Пони по имени Снежок бесследно исчез.

Тут же тщательно обыскали автомобиль, но и там пластмассовой лошадки с ярко-розовой гривой не оказалось.

— По-моему, пап, она ее в театре забыла, — извиняющимся тоном сказала Зоэ и посмотрела на Абеля. Он тут же взял ключи от машины и сказал, повернувшись к внучке:

— Ничего, я скоро вернусь и привезу твою ло-

шадку.

У него уже голова кружилась от голода и усталости.

— Еще одна неприятность, да, дедушка? — робко промолвила София.

— Ложись-ка спать. — Абель наклонился и поцеловал внучку. — А утром проснешься, и все опять будет хорошо.

* * *

Пока Абель ехал по темным улицам города и перебирался по мосту через реку, он все время беспокоился, что театр окажется закрыт. Машину он поставил прямо на улице у самого входа в театр и попытался войти, но тяжелая дверь не поддавалась, а сквозь темное стекло разглядеть что-либо внутри было невозможно. Абель стал рыться в карманах в поисках мобильника и понял, что второпях забыл его дома. Он выругался себе под нос и тут же прижал пальцы к губам, заметив, как из боковой двери театра вышел какой-то молодой человек. «Подождите!» — крикнул ему Абель, и этот парень, должно быть, студент театрального колледжа, улыбнулся и придержал дверь. Абель принялся поспешно объяснять, что его внучка забыла внутри свою игрушечную лошадку, и

парень сообщил, что режиссер, кажется, еще не ушел и сумеет, наверное, отыскать потерянную игрушку.

Итак, войти в театр Абелю удалось, но там было так темно, что он никак не мог толком понять, где именно находится. Видимо, та боковая дверь, через которую он сюда проник, вела куда-то за кулисы. Абель осторожно ощупал стену в поисках выключателя, но так его и не обнаружил и медленными шажками двинулся вперед. И тут — ха! — его пальцы все-таки нащупали выключатель, он хлопнул по нему ладонью, но слабый свет вспыхнул лишь где-то на дальнем конце длинного узкого коридора, простиравшегося перед ним. Впрочем, теперь Абель по крайней мере видел по обе стороны от себя кирпичные стены, выкрашенные желтой краской и украшенные граффити. Он постучался в первую же дверь, но она оказалась запертой. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» — бодрым тоном взывал он, но ответа не получал. Вокруг царили знакомые, бесспорно театральные, запахи.

От голода коридор показался Абелю каким-то уж очень длинным. Затем он наконец уперся в черный занавес, а в щель между его половинками разглядел то, что, по всей видимости,

было сценой. Сверху нависали темные ряды осветительных приборов — незажженные, они походили на гигантских жуков, поджидавших добычу. «Эй! Есть здесь кто-нибудь?» — снова крикнул Абель, и снова никакого отклика не последовало, хотя он определенно чувствовал рядом чье-то присутствие. «Эй! Добрый вечер! Мне бы режиссера найти… Видите ли, моя внучка забыла здесь свою…»

И вдруг, повернув направо, он прямо в коридоре увидел перед собой несчастного пони, в петле из бельевой веревки свисавшего с голой электрической лампочки. Лампочка, естественно, не горела. Бедный Снежок с торчащими в разные стороны негнущимися ногами и розовой гривой вид имел в высшей степени растерянный и испуганный. Глаза лошадки были широко раскрыты, а длинные черные ресницы кокетливо распахнуты.

Вдруг Абель услышал у себя за спиной скрип открывающейся двери, резко обернулся и увидел стоящего там Линка Маккензи, или же Скруджа, но уже без парика, хотя все еще в гриме, отчего вид у него был полубезумный.

— Здравствуйте, — сказал Абель, протягивая руку. — Моя внучка забыла здесь свою лошад-

ку… — И он мотнул головой в сторону висевшего на лампочке пони. — Полагаю, кто-то из студентов решил повеселиться. Но, видите ли, мне нужно непременно снять ее оттуда и принести домой, иначе, боюсь, моя девочка утратит ко мне всякое уважение.

Скрудж пожал Абелю руку. У него самого рука оказалась костлявой, сильной и очень сухой.

— Входите, — предложил он, словно приглашая Абеля в свой роскошный кабинет, и распахнул дверь в маленькую комнатушку, которую, по всей видимости, использовали для хранения реквизита. Абель разглядел старый театральный занавес, несколько старых светильников и столик без одной ножки.

— Боюсь, так мне ее не достать, — посетовал Абель. — Тут нужна стремянка или хотя бы стул… А вот, кажется, и что-то подходящее… — В углу и впрямь стояло весьма старомодного вида кресло с резными подлокотниками.

Скрудж вошел в комнатку, закрыл за собой дверь и сказал:

— Ну что ж, кресло здесь только одно, вот это, так почему бы вам не присесть?

— Ох, нет, нет, мне необходимо…

Но Скрудж, резко мотнув головой в сторону

кресла, уже более жестким тоном потребовал:

— А я хочу, чтобы вы сели.

Только тут Абель понял: стоящий перед ним человек пребывает в весьма нестабильном состоянии, однако это, как ни странно, лишь усугубило его собственную слабость, практически лишив его воли, и он вежливо ответил Скруджу:

— Спасибо, но я лучше постою. Кстати, не могу ли и я чем-либо вам помочь? — Он доброжелательно улыбнулся, но Скрудж не ответил и продолжал стоять, прислонившись к двери. На самом деле Абелю хотелось сердито спросить у него: «И как долго, по-вашему, это еще будет продолжаться?» Мысль об этом не давала ему покоя, и он вдруг отчетливо почувствовал, что странным образом как бы раздваивается, теряя контакт с самим собой.

— Видите ли, мне бы хотелось вам кое-что *рассказать*, — наконец промолвил Скрудж. — А потом, как только я закончу, вы сможете сразу же уйти. Думаю, вы вполне с этим справитесь. Вы производите впечатление одного из тех стариков, которые уверены, что до сих пор пребывают в отличной форме, потому что инфаркта у них еще не было. — И Скрудж с грустной улыбкой стал рассматривать костюм Абеля. — Ну, костюм на

вас дорогой, — и он покивал, словно подкрепляя этим собственное утверждение, — а организацией вашего распорядка дня занимается преданная секретарша. Хотя больше от вас *по-настоящему* никто ничего не ожидает, и руководитель вы практически номинальный. Впрочем, кое-какие качества истинного руководителя у вас еще сохранились. А вот насчет физических сил я сильно сомневаюсь: их у вас, по-моему, уже маловато. Так что вы, пожалуйста, лучше присядьте.

Но Абель остался стоять, хотя чувствовал, что задыхается от волнения, — ведь почти все, что сказал сейчас этот жалкий тип, было правдой кроме, пожалуй, замечания насчет инфаркта. Инфаркт Абель пережил всего год назад, и это здорово его напугало. Поколебавшись, он все же шагнул к креслу, плюхнулся в него и несколько удивился тому, что кресло тут же отъехало назад, как на шарнирах.

— Вот видите, у вас уже слабость в коленях, — с пониманием заметил Скрудж. — Сам-то я крепкий, как проволока, хотя тоже почти добрался до конца своей веревки. А ведь вообще-то вредно находиться в одном помещении с тем, кто уже болтается на конце собственной веревки! — И он засмеялся, показывая многочисленные пломбы,

но у Абеля его смех вызвал приступ самой настоящей тревоги. Интересно, подумал он вдруг, сколько времени пройдет, прежде чем моя жена — или, возможно, Зоэ, — взволнованная моим чрезмерно долгим отсутствием, сядет в машину и поедет в театр? Господи ты боже мой!

— Значит, этот пони принадлежит вашей внучке? — спросил Скрудж.

— Да, и девочка очень к нему привязана.

— Ненавижу детей! — Скрудж соскользнул по стене вниз и уселся прямо на полу, по-турецки скрестив ноги. Он был отнюдь не молод, и Абеля удивила его гибкость. — Они такие маленькие, шустрые и *чересчур* рассудительные. Вас, кажется, удивили мои слова?

— Все это вообще весьма удивительно… — Абель попытался изобразить улыбку, но Скрудж улыбаться и не думал, и Абель почувствовал, что во рту у него пересохло от волнения. — Послушайте, — предпринял он новую попытку, — мне очень жаль, но нельзя ли все же…

— Чего вам жаль?

— Ну, мне кажется…

— Вам жаль, что вы теряете время и вынуждены торчать в одном помещении с каким-то безумцем? Вы за это извиняетесь?

— Я понимаю, что вы хотите сказать. Вы правы, я бы и впрямь хотел поскорее уйти, если вы сочтете…

— Я *счел* желательным для себя небольшой разговор с вами. Я ведь вам уже говорил об этом. Во-первых, мне хотелось бы вам сообщить, что я чрезвычайно устал от театра. Я и служить-то здесь стал только потому, что театр принимает всех, а это особенно важно, если ты родился гомосексуалистом да еще в те стародавние времена, когда мне довелось появиться на свет. Театр большой ложкой зачерпывает тебя вместе со всеми остальными и дарит ощущение принадлежности к некой общности — хотя ощущение это абсолютно фальшивое, да и вообще полная глупость. А во-вторых, я хотел бы признаться, что затемнение сегодня вечером в театре устроил именно я. Мне без труда удалось сделать это всего лишь с помощью мобильника, спрятанного под ночной рубашкой. Здесь же управление электронное, и скоро, знаете ли, с помощью одного-единственного телефона можно будет хоть во всей стране свет потушить. Но я точно следовал инструкции и, надо сказать, был весьма удивлен достигнутым результатом. Мне хотелось создать хаос, и я его создал. А вот рассказать об этом мне было

некому, хоть я и был в высшей степени доволен собой. Впрочем, теперь мне эта победа кажется довольно бессмысленной.

— Вы это серьезно?

— Насчет бессмысленности моей победы?

— Насчет устроенного вами затемнения?

— Абсолютно. Просто жуть, как сказали бы дети. — Скрудж медленно покачал головой. И, как бы желая подчеркнуть смысл своих слов, направил на Абеля указательный палец. — Нам *всем* нужна аудитория. Разве интересно, когда мы что-то совершили, а никто даже не догадывается, чьих это рук дело? В таком случае, пожалуй, и огород городить не стоило, верно? — Его лицо вдруг осветила несколько удивленная улыбка. — Ну вот. Теперь я обо всем вам рассказал и вполне удовлетворен. Хотя, если честно, я получил несколько меньше удовольствия, чем ожидал. Но как же нам с вами теперь быть? Ведь вы, выйдя отсюда, немедленно сообщите обо всем в полицию или по меньшей мере жене своей расскажете, и вскоре Линк Маккензи станет еще большим посмешищем, чем прежде. И весь город с удовольствием будет наблюдать за его окончательным падением.

— Но я-то в вашем падении совершенно не

заинтересован, — возразил Абель.

— Это пока. А завтра, возможно, будете заинтересованы. Или послезавтра.

— Нет, я заинтересован только в одном: поскорее вернуть моей маленькой внучке ее игрушечного пони.

Скрудж долго молчал, потом сказал:

— Это в высшей степени странно. Однако ваши слова буквально заставляют меня *страдать* от мук ревности. А вам, вероятно, хочется сейчас сказать: «Вот если бы у вас самого были внучата, мистер Эксцентричный театральный гомик, то вы бы поняли мои чувства», не так ли?

— У меня и в мыслях не было ничего подобного. То есть совсем. Я думал о Софии. О том, как она ждет возвращения своей лошадки. Надеюсь, ей все же удалось уснуть.

Скрудж нахмурился.

— София? Полагаю, эта крошка из обеспеченной семьи?

Абель чуть замешкался с ответом.

— Да, семья у нее вполне обеспеченная.

— А вы в ее возрасте тоже были из богатой семьи?

— Нет, наша семья даже отдаленно под подобное определение не подходила.

— Значит, вы разбогатели благодаря тяжкому труду?

Абель снова заколебался было, потом ответил:

— Да, я очень много работаю. И всегда очень много работал.

Скрудж хлопнул в ладоши.

— Ха! Пари держу, вы *женились* на богатой невесте! Не краснейте, старина. Это ужасно по-американски, но, с другой стороны, нормально и даже по-своему прекрасно. Вам совершенно нечего стыдиться. О, я, кажется, по-настоящему вас смутил? Тогда давайте поскорей сменим тему. Эта ваша София… Как вы думаете, ей тоже будет свойственно очень много работать? Меня, знаете ли, подобные вещи страшно интересуют. Я этим прямо-таки озабочен. Мне кажется, в наше время никому уже не свойственно ни тяжко трудиться, ни просто очень много работать. А уж нынешние дети… Я слышал, какой-то детсадовец получил золотую звезду всего лишь за то, что целую неделю вел себя хорошо, лучше всех остальных! Господи, мой дорогой, да вы же красный, как свекла!

Скрудж огляделся, обнаружил искомое — пластмассовую бутылку с водой — схватил ее и сунул Абелю. Тот не сопротивлялся. Ему действительно вдруг стало невыносимо жарко в этом костюме

из дорогой шерсти. Он с наслаждением напился и предложил Скруджу сделать то же самое, но тот лишь покачал головой и снова уселся на пол, привалившись спиной к стене.

— Каким бизнесом вы занимаетесь? — спросил Скрудж и, взяв со стола зубочистку, стал ковыряться в зубах.

— Оборудованием для кондиционеров. — И Абель вдруг на мгновение вспомнил ту молодую девушку, что сегодня выступала на совещании и показалась ему чересчур тщательно одетой и подготовившей чересчур подробную речь для своего первого подобного выступления. Она ведь, кажется, была из Рокфорда, из моего родного города, в котором я вырос… — А зря вы так сказали, — возразил он, — многим людям по-прежнему свойственно работать в полную силу.

— Значит, вы занимаетесь кондиционерами? — не унимался Скрудж. — Небось кучу денег зарабатываете?

— Да. И каждый год делаю немаленькие отчисления в пользу искусства.

Скрудж, склонив голову набок, посмотрел на Абеля. Губы у него были совершенно бесцветные, и кое-где на них виднелись болезненные трещины.

— Ох, пожалуйста, — тихо сказал он. — Не будьте таким.

Абель промолчал. Стыд, его личный шип стыда, так и впился ему в сердце. Он чувствовал, что весь покрылся испариной, вспомнив, *что* некоторое время назад он думал о тех людях, которые всего лишь произносят слова выученной ими роли. А ведь сейчас и он ведет себя, как один из них!

— Послушайте, — снова завел свою шарманку Скрудж, — мне просто нужно, чтобы вы меня выслушали, а потом вы сразу сможете уйти.

Абель покачал головой, чувствуя, как где-то в желудке вращается отвратительный диск тошноты, а во рту скапливается слюна. Зато в голове у него полностью прояснилось, и он окончательно понял, что его дочь Зоэ *действительно* несчастлива.

— Я вас напугал, — сказал Скрудж таким голосом, который, похоже, испугал и его самого.

— Моя дочь несчастлива, — тихо промолвил Абель.

— Сколько ей лет? — спросил Скрудж.

— Тридцать пять. Замужем за очень успешным адвокатом. У нее чудесные дети.

Скрудж медленно выдохнул и сказал:

— Ну, на мой взгляд, это звучит как смертный

приговор.

— Почему? — искренне изумился Абель. — Ведь подобный брак должен вроде бы считаться практически идеальным.

— Идеальным — с точки зрения полнейшего одиночества, — возразил Скрудж. — Ведь этого ее успешного адвоката рядом с ней никогда не бывает. Она, конечно, любит своих детишек, но ей все это смертельно надоело. И все эти бесконечные заботы ее раздражают, ее раздражают и нянька, и уборщица, а муж о ее проблемах и слышать не хочет, и в результате ее теперь даже в постель с ним совсем не тянет, потому что и это тоже превратилось в некую *домашнюю работу*. И она, оглядываясь на прожитые годы, думает: господи, что это за жизнь? А потом ее дети вырастут, и она окончательно погрузится в уныние. Возможно, покупка очередного браслета или новых туфель минут на пять и сможет облегчить ситуацию, но ее внутреннее беспокойство будет только усиливаться, и очень скоро ее посадят на успокоительное или антидепрессанты — ведь нашему обществу свойственно годами накачивать женщин подобной дрянью…

Абель поднял руку, призывая Скруджа к молчанию, и тот сказал:

— Я понимаю, что вам хочется поскорее уйти. Уйдете, уйдете. Расслабьтесь. — Скрудж широко раскрыл рот, что-то выковырял из зуба, вытащил ошметок, рассмотрел его и с глубоким вздохом произнес: — Извините. Я веду себя неприлично.

Абель почти незаметным жестом дал понять, что ничего не имеет против.

Не так давно, меньше месяца назад, Абель праздновал свой день рождения, благодаря которому оказался ровно посреди седьмого десятка. Ты отлично выглядишь, говорили ему. Ты выглядишь просто чудесно. Но никто не сказал: чем больше ты стареешь, тем крупней выглядят твои искусственные зубы — а ведь когда-то они вызывали у тебя такую гордость и радость, — нет, Абель, что-то с твоими вставными зубами не так. Нет, ни один этого не сказал, и, возможно, ни один так даже не подумал.

— До чего же все-таки *глупо*, — сказал вдруг Скрудж, — говорить кому-то «расслабьтесь». Вот вы хоть когда-нибудь были способны расслабиться только потому, что кто-то предложил или велел вам это сделать?

— Не знаю.

— Скорее всего, никогда. — Теперь Скрудж разговаривал с Абелем мягко, доверительно, как

с хорошим знакомым, которого знает давным-давно.

Если бы у Абеля осталось чуть больше сил, он, возможно, рассказал бы этому странному человеку с истерзанной душой, что много лет назад в Рокфорде он тоже работал в театре, правда, всего лишь билетером, и тот театр находился в нескольких шагах от реки Рок, и сегодня, во второй раз за вечер приехав в театр и войдя в него через боковой служебный вход, он сразу почуял и узнал тот самый тайный театральный запах. Ведь учась в старших классах школы, он постоянно подрабатывал в театре. Ему было всего шестнадцать, когда его младшую сестру выставили у доски на посмешище всему шестому классу, потому что у нее на платье сзади красовалось кровавое пятно, и заявили, что «в наше время» нет настолько бедных людей, которые не имели бы возможности купить хотя бы обычные прокладки. После этого случая Дотти наотрез отказалась возвращаться в школу, но Абель все же ее уговорил, что-то пообещав. Сейчас он, правда, никак не мог вспомнить, что именно он пообещал сестренке, зато хорошо помнил, какое впечатление производило на него самого могущество чеков на предъявителя. Да, к шестнадцати годам он уже успел познать удиви-

тельную силу денег. Единственное, чего деньги не могли купить, это друзей — ни для Дотти, ни для него самого (хотя тогда это для них обоих особого значения не имело). Зато деньги помогли им купить для Дотти звенящий браслет! И она тогда прямо-таки сияла от счастья! Но чаще всего деньги использовались просто для покупки еды.

Воспоминания об этом снова привели Абеля к мыслям о Люси Бартон; и о том, как ужасно бедна была когда-то ее семья; и о том, как она вместе с ним — а он в детстве ездил к ним почти каждое лето и месяцами жил у них — ходила на помойку позади кондитерской Четвина и рылась в отбросах в поисках еды. Ох, какое лицо было у Люси, когда в прошлом году она вдруг после стольких лет увидела его в том книжном магазине! Она тогда буквально вцепилась обеими руками в его руку и никак не хотела отпускать.

Абеля всегда озадачивало то, сколь многое в жизни человек способен начисто забыть, а потом как-то продолжать жить дальше, испытывая, наверное, некие фантомные ощущения по поводу забытого — ему казалось, что примерно такие же фантомные ощущения испытывают люди с ампутированными конечностями. Вот он, например, теперь вряд ли смог бы сказать, что

именно чувствовал, когда ему удавалось найти на помойке еду. Радость, наверное. Особенно если попадались достаточно большие куски стейка, которые можно было дочиста отскрести. Знаешь, рассказывал он жене много лет спустя, в итоге подобные вещи начинаешь воспринимать как нечто вполне разумное. А она, выслушав его, с почти нескрываемым ужасом спросила: «*Но неужели тебе не было стыдно?*» И ему захотелось сказать ей в ответ — собственно, это он понял сразу, когда она еще только начала произносить свой вопрос: «*Видишь ли, Илейн, ты так говоришь, потому что никогда настоящего голода не испытывала*». Но вслух он этого так и не сказал. А вот стыдно ему после вопроса жены действительно стало. Да, тогда он испытал настоящий стыд. А Илейн попросила его никогда не рассказывать детям, что их папа в юности был настолько беден, что искал еду в мусорных баках.

— …в итоге меня от этого просто тошнить стало, — донесся до него голос Скруджа, который все продолжал говорить о чем-то своем. — По-моему, я прямо-таки заболевать начал. Ведь я целых двадцать восемь лет учил этих распроклятых чертенят!

— Неужели вам эта работа совсем не нравит-

ся? — Абель имел представление о различиях в когнитивных аппаратах людей и надеялся, что задал правильный вопрос.

— О, об этой работе существует самое превратное представление на свете! — воскликнул Скрудж и даже раздраженно отмахнулся. — Мы ведь, как вам, должно быть, известно, предпочитаем принимать студентов, способных платить за обучение, то есть с деньгами. Или с высокопоставленным заступником-покровителем. Но бывает, что кто-то ухитряется попросту выплакать себе место. Нам, конечно, всегда нужны такие профессиональные «плакальщики», способные пустить слезу по первому требованию. Но подобные «плакальщики» всегда почему-то считают себя самыми чувствительными и самыми талантливыми среди студентов, хотя обычно они самые настоящие тупицы. — И Скрудж с утомленным видом прислонился головой к стене, глядя в потолок.

— Скажите, я правильно понял… — начал было Абель и умолк, подыскивая нужные слова. — Я так понял, что вас расстроила статья этого обозревателя…

— *Эй*! — Скрудж вдруг вскочил и погрозил Абелю пальцем. — Даже не начинайте! Можете мне

поверить, мистер Модные штаны. Я уже давно приближаюсь к концу своей веревки и отлично его вижу. — Он выудил из кармана рубашки сигарету, но курить не стал, просто постучал ею себе по ляжке. — Я ведь с самого начала вам сказал, что мне хочется просто поговорить. Вот этим мы с вами и занимались. Просто разговаривали. Так ведь? Я хотел *просто поговорить.* И мы с вами *просто разговаривали.*

— Ну да, — кивнул Абель.

— Вот и ладно, — Скрудж тяжко вздохнул, снова медленно сполз на пол и уселся, опираясь спиной о стену. — Итак, на чем мы остановились? Кажется, на том, что вы готовились благодаря браку с вашей нынешней женой проложить себе путь наверх?

— Ради бога! — Абель заставил себя сесть прямее. — Давайте не будем обсуждать мою жену. — Это он сказал почти шепотом. Мысли его беспорядочно метались, не находя покоя. Усталость плотным покрывалом окутывала с головы до ног.

— О'кей. Ее мы обсуждать не будем. — Скрудж немного помолчал, потом вдруг заявил: — Но я всегда был так одинок.

Абель посмотрел на него. Теперь Скрудж, сидя

на полу, смотрел на него снизу вверх; на голове у него в тех местах, где был приклеен парик, виднелись серые потеки.

— Я вас понимаю, — сказал Абель.

— Вы меня понимаете? — удивился Скрудж.

Абель чуть не улыбнулся, хотя и сам не знал, почему ему захотелось улыбнуться. А потом вдруг ни с того ни с сего — и это было ужасно! — едва не заплакал и лишь с трудом сумел сдержаться, хотя голос его все же дрогнул, когда он, запинаясь, пробормотал:

— Да, ведь и я… тоже очень одинок. — Скрудж только кивнул в ответ, и Абелю показалось, что он видит в его глазах простое ясное понимание и сочувствие, а потому он прибавил: — Знаете, я бы, наверное, тоже мог бы стать у вас «профессиональным плакальщиком».

— Нет, — отрезал Скрудж, — вы для этого недостаточно тупы. Но вы честный человек. О, хвала моим *богам!* Мне так хотелось поговорить с настоящим человеком, и вот вы здесь, и вы настоящий человек, и вы даже не представляете себе, как это на самом деле трудно — отыскать настоящего человека.

Некоторое время оба молчали, словно переваривая сказанное. Затем Скрудж спросил:

— А вы любили свою мать? — Его голос — в восприятии Абеля — снова звучал почти по-детски.

— Любил, — услышал Абель свой собственный голос. — Очень любил.

— Вы без отца росли?

Странно, но эта фраза напомнила Абелю о тех насмешках и издевательствах, которые ему приходилось терпеть на школьном дворе, однако сейчас в словах Скруджа никакой насмешки не было. И все же он почувствовал, что краснеет. Да, без отца, объяснил Абель, потому что отец умер, когда они были совсем еще маленькими. Потом, правда — но как-то уж очень ненадолго, может, всего на несколько дней? — у них в семье появился мужчина, но Абель помнил об этом в основном из-за того, что после ухода этого мужчины Дотти купили «настоящее магазинное» платье, а Абелю — новые брюки. Он, правда, очень быстро из них вырос, но все равно потом еще почти целый год в них ходил. Зато именно эти ставшие чересчур короткими брюки позволили ему получить работу билетера — но лишь после того, как двоюродная сестра его матери, мать Люси Бартон, которая была портнихой, ухитрилась как-то его брюки удлинить, когда он приехал к ним на каникулы.

— О, я вижу, это слишком болезненный для вас

вопрос, — сказал Скрудж. — Я порой и впрямь проявляю чудовищную бестактность. С другой стороны, мне в высшей степени насрать на чужое мнение, я вообще людей обычно сторонюсь, дабы не страдала моя собственная чрезмерная чувствительность. Хотя сам я чувствительных людей не люблю — особенно тех, кто проявляет чувствительность только по отношению к себе.

— Вы меня извините, но, видите ли… — пробормотал Абель, моргая, потому что перед ними вдруг повисла странная пелена, — …я не очень хорошо себя чувствую. У меня, знаете ли, в прошлом году инфаркт был…

Скрудж тут же снова вскочил.

— Так что же вы мне *сразу-то не сказали*? — вскричал он. — Господи! Сейчас я вам помогу или кого-нибудь позову на помощь.

— Не стоит, не беспокойтесь, — сказал Абель. — Скажите лучше, вы сумеете достать *оттуда* пони моей внучки?

Скрудж так внимательно на него посмотрел, что Абель невольно отвел глаза. Вот уже много лет на него никто не смотрел так внимательно — и так *интимно*.

— Не стоит беспокоиться? — Теперь в голосе Скруджа звучала почти нежность. — Кто же вы

*такой*?

— Просто человек, который хорошо одевается, — отвечал Абель, во второй раз испытывая странное желание улыбнуться. — Человек, который не жульничает и вовремя выплачивает налоги. — И снова странное желание улыбнуться сменилось не менее странным желанием заплакать.

— Да, одеваетесь вы *действительно* хорошо! — Скрудж отпер дверь и вышел в коридор, так что Абель его теперь не видел, зато отлично слышал, как он оттуда кричит. — Я всегда могу с первого взгляда отличить костюм, сшитый на заказ! Ну, сейчас я попробую достать вашу лошадку, так что вы пока не выходите! Стойте, где и стоите, и не двигайтесь!

Костюмы Абелю шил один лондонский портной по имени Кит, и дважды в год Абель отправлялся на встречу с ним в гостиницу «Дрейк», в номер с роскошным видом на озеро. В этом жарко натопленном номере под шипение перегревшихся радиаторов Кит снимал с Абеля мерки, ловко манипулируя матерчатым сантиметром, а затем такими же ловкими, легкими, уверенными движениями набрасывал ему на плечи, на грудь и на всю длину рук куски муслина, делая на них

мелом какие-то пометки. В соседней комнате лежали рулоны тканей, и почти всегда в итоге Абель останавливался на том, что предлагал ему Кит. Лишь раз или два ему захотелось выбрать ткань более приглушенного тона и с более узкими полосками. «Мне совсем не хочется быть похожим на гангстера», — пошутил он, и Кит воскликнул: «О, разумеется!»

Когда Абелю сообщили, что Кит умер от рака, это известие его потрясло. Он был потрясен даже не самим фактом смерти, а тем, как она, смерть, попросту сметает человека с жизненного пути, и живым остается лишь озираться с растерянностью, пытаясь осознать, что этот человек исчез навсегда. Впрочем, с «простотой» подобного исчезновения людей Абель сталкивался уже не раз. Он все-таки был уже не молод и пережил немало смертей близких людей, начиная с собственного отца. Но на этот раз испытанное им потрясение повлекло за собой мучительное, иссушающее душу чувство стыда, словно все эти годы Абель совершал нечто непристойное, отвратительное, заставляя Кита шить ему одежду. Он заметил, что то и дело невольно бормочет вслух, сидя за рулем автомобиля, или находясь в полном одиночестве у себя в кабинете, или одеваясь по

утрам: «Господи, как мне жаль, как жаль! Прости меня, Господи!»

Несмотря на то, что голосовал Абель за консерваторов, несмотря на то, что он ежегодно получал премии от министерства, несмотря на то, что ел в лучших ресторанах Чикаго и несмотря даже на то, что про себя думал именно так, как решил думать много лет назад: «Я не стану извиняться за то, что богат!», на самом деле он все же извинялся, сам толком не понимая, перед кем, собственно, извиняется. Волны стыда могли обрушиться на него внезапно — примерно так его жена в последние годы страдала от жарких приливов, когда лицо ее вдруг сильно краснело, а на висках выступал пот, стекая вниз ручейками. В подобных явлениях она ничего веселого не находила и шутить на эту тему не любила — в отличие, кстати, от некоторых женщин из офиса Абеля. Зато он теперь куда лучше понимал, как тяжело ей приходится во время этих неконтролируемых атак странного жара, ибо и сам то и дело вынужден был терпеть столь же неконтролируемые атаки собственного непонятного стыда, прекрасно сознавая при этом, что для подобного чувства у него нет никаких реальных оснований. И потом, должен же был Кит иметь какую-то работу? Конечно, должен. И он

свою работу выполнял очень хорошо. И платили ему за нее тоже неплохо. (Хотя, пожалуй, все же недостаточно хорошо.)

Но однажды в Министерстве промышленности Абель случайно подслушал разговор двух мужчин, и один из них бросил довольно-таки подлое замечание о том, что «чувствует себя частью компании, пораженной чисто корпоративной алчностью», а второй, удивленно округлив глаза, возразил: «Что за глупости, ты ведь уже не какой-то циничный молокосос!» Абеля привели в ярость именно эти последние слова, и он, не сдержавшись, сказал: «Но нам *необходим* цинизм юности! Это здоровый цинизм. И ради бога перестаньте снижать ценность усилий человечества, называя их глупыми!» Впоследствии он весьма сожалел о своей несдержанности, потому что данное учреждение давно перестало быть таким, как во времена его молодости, когда он еще только строил карьеру. Теперь министерство превратилось в древнюю окаменелость, связанную текущими и потенциальными судебными исками, так что его гуманитарные службы были постоянно загружены до предела, хотя, пожалуй, в компании Абеля нечто подобное наблюдалось все же в значительно меньшей степени. На са-

мом деле сотрудники компании Абеля уважали. Даже любили. Особенно нежно и бескорыстно любила Абеля секретарша, работавшая у него с незапамятных времен.

Но дело в том, что чувство стыда и желание извиниться так никуда из его души и не исчезли; а постоянно нести это бремя оказалось весьма утомительно.

— Да, путь наверх я действительно проложил благодаря браку, — громко сказал Абель, и его по какой-то причине вдруг стал разбирать смех. — О да, вы были совершенно правы! Мне она показалась столь же очаровательной, как… рождественская елка. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что она была похожа на дерево, просто она как бы представляла собой все то…

— А вот и мы, вот и мы! — Линк Маккензи вернулся и что-то протянул Абелю.

— О, благодарю вас! — сказал Абель. Он видел, что в дверях стоит именно Линк Маккензи, слышал, как Линк говорит ему: «А знаете, вы очень хороший человек», и вдруг…

Вдруг его словно со всех сторон окутала тьма, подступая постепенно и застилая поле зрения, а затем грудь пронзила резкая боль, и еще через мгновение ему показалось, что он, видимо,

сползает с кресла на пол. И, услышав, как Линк Маккензи кричит в телефонную трубку: «Скорей! Приезжайте, пожалуйста, скорей!», он вспомнил, что совсем недавно и его тоже кто-то просил: «Приезжай, пожалуйста, скорей!», но никак не мог вспомнить, кто его об этом просил и почему. А потом на него обрушилось множество каких-то звуков, грохот открывающихся и закрывающихся дверей, и перед глазами у него возникла странная оранжевая полоса, и он лишь через некоторое время догадался, что это носилки, на которые его сейчас и положат.

Ему запомнилась на редкость крупная и мускулистая женщина в медицинской «пижаме» — он сперва даже принял ее за мужчину, тем более что и волосы у нее были пострижены очень коротко, по-мужски, — которая все старалась ему помочь. Потом он услышал, как кто-то назвал ее «глыбой», и это прозвище тоже осталось в его памяти. С Абелем эта женщина обращалась с поистине восхитительной авторитарностью. Она заботливо уложила его на оранжевые носилки, спросила, помнит ли он, как его зовут, и он, должно быть, назвал ей свое имя, потому что она тут же принялась о чем-то говорить с ним и все время просила: «Вы только никуда от меня не уходите,

мистер Блейн, оставайтесь тут, рядышком».

— Мне очень жаль, что так получилось, — все повторял ему на ухо Линк Маккензи. А может, это он сам, Абель, повторял? Ему очень хотелось произнести слово «налоги». Он не был уверен, что сумел это сказать, но ему все же хотелось объяснить этой потрясающей женщине, сильной, как мужчина, что именно для таких, как она, и следует использовать собранные налоги.

— Мистер Блейн, у меня тут лошадка вашей внучки. Вы помните, как зовут лошадку вашей внучки? — спросила у него эта огромная, почти квадратная, женщина.

Должно быть, Абель правильно назвал имя лошадки, потому что она сказала:

— Вот и хорошо. Держите своего Снежка, а мы вас сейчас в больницу отвезем. Вы хорошо меня понимаете? — И он почувствовал, что ему в руки сунули нечто твердое, пластмассовое.

Лицо Линка по-прежнему было рядом, и он вроде бы все еще что-то говорил, даже когда дверцы «Скорой помощи» уже закрылись.

Абель покачал головой. То есть ему показалось, что он покачал головой, однако уверен в этом он не был. Ему хотелось сказать Линку Маккензи — смешно, но Абелем вдруг овладело ощущение

абсолютной свободы, — что они чудесно провели время в пустом театре, хотя это и может кому-то показаться странным, но на самом деле ничего странного в этом нет. Затем он почувствовал, что в вену ему вливают какую-то холодную жидкость — должно быть, его подключили к капельнице и стали вводить лекарство, — но никак не мог найти нужные слова, чтобы спросить… А потом машина «Скорой помощи» поехала еще быстрее, и Абель почувствовал не страх, а некую изысканную радость, даже блаженство, потому что все наконец-то необратимым образом вышло у него из-под контроля, разорвало привычную оболочку и продолжает от нее освобождаться. И все же оставалась еще некая нить, связывавшая его с чем-то близким, но все же недосягаемым, подобным тому мерцанию света, какое он в детстве видел в витрине с рождественским вертепом. Это одновременно и озадачивало, и радовало его. И он, испытывая странную смесь усталости и восторга, почувствовал, как светящееся нечто приблизилось к нему почти вплотную, и услышал, как Линк Маккензи говорит: «Вы очень хороший человек». Эти слова вызвали у Абеля улыбку, хотя в груди он чувствовал такую тяжесть, словно на нее навалили целую гору тяжеленных камней. Затем

снова раздался спокойный голос той чудесной большой женщины: «Держитесь, мистер Блейн! Главное держитесь!», и он подумал, что, наверное, они приняли его улыбку за гримасу боли, но какое это имело значение, ведь сейчас он очень быстро и очень легко от них удалялся, оставляя их, улетая все дальше и дальше — как же все-таки быстро он летел! — мимо полей с зелеными ростками сои и испытывая поистине восхитительное чувство: у меня есть друг! Он бы с удовольствием сказал это вслух, если б мог, да, он бы непременно сказал это вслух, только никакой необходимости в этом не было: просто теперь у него, как и у его милой Софии, которая так любила своего Снежка, тоже был друг. И если столь чудесный подарок он мог получить в такой странный момент, тогда, значит, все на свете… Перед его мысленным взором вдруг снова промелькнула та милая девушка из Рокфорда, тщательно одевшаяся перед своим первым ответственным выступлением на конференции и спешившая куда-то по высокому берегу реки Рок… И Абель, открыв глаза, понял наконец одну прекрасную истину: все на свете возможно — для каждого.